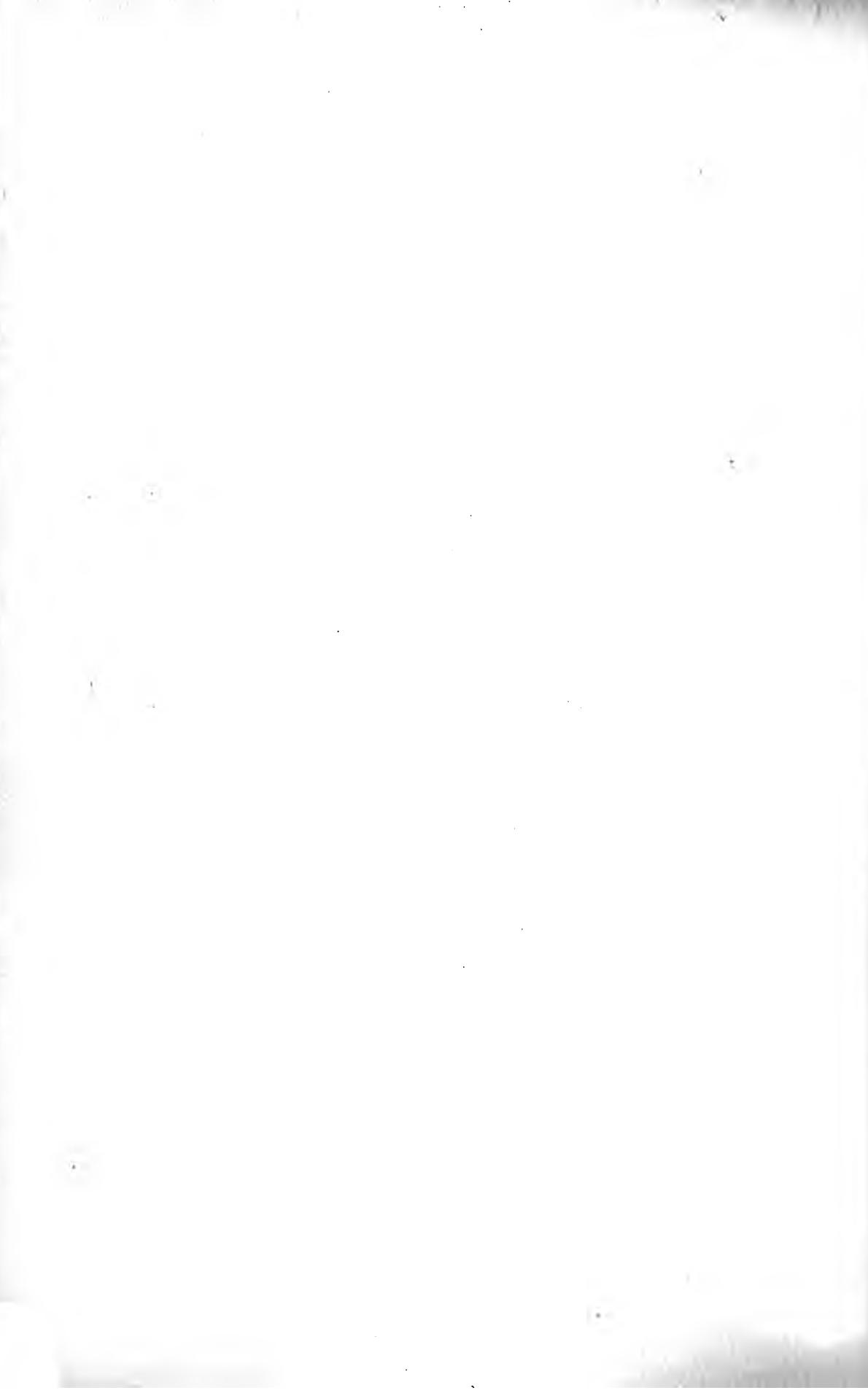


**СОЧИНЕНИЯ  
И. С. НИКИТИНА.**

**ТОМЪ II.**



# СОЧИНЕНИЯ П. С. НИКИТИНА

съ

ЕГО ПОРТРЕТОМЪ, FAC-SIMILE

и

## БІОГРАФІЕЙ,

СОСТАВЛЕННОЙ РЕДАКТОРОМЪ ИЗДАНИЯ

М. О. де-Пулє.

—  
ТОМЪ II.  
—

ИЗДАНІЕ СЕДЬМОЕ.

—  
МОСКВА.

Издание книгопродавца-издателя Никандра Кузьмича Шамова,  
из Москвѣ, на Волх. Грузинской ул., въ собств. домѣ.

1896.

Типографія М. Г. Волчанинова, Кудринская ул., д. Кирѣевої, и Русская Типо-  
Литографія, Москва. Тверская, домъ бывш. Гинцбурга.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

**1857.**

	Стран.
I. Лампадка . . . . .	1
II. «Смеркается день. Въ бору темнѣеть» . . . . .	2
III. «Свѣтить мѣсяцъ въ окна» . . . . .	4
IV. «Первый громъ прогремѣлъ. Яркій блескъ съ си- невъ» . . . . .	5
V. «Въ синемъ небѣ плывутъ надъ полями» . . . . .	6
VI. «Ярко звѣздѣ мерцање» . . . . .	—
VII. « Въ чистомъ полѣ тѣнь шагаетъ» . . . . .	8
VIII. «Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ» . . . . .	9
IX. Соха . . . . .	10
X. «Ахъ, ты, бѣдность горемычна» . . . . .	11
XI. Удалъ и забота . . . . .	12
XII. Безталанная доля . . . . .	13
XIII. «Медленно движется время» . . . . .	14
XIV. «Незамѣтимая, беззѣнная утрата» . . . . .	15
XV. Разговоры . . . . .	16
XVI. Ницій . . . . .	18
XVII. Пахарь . . . . .	19
XVIII. Деревенскій бѣднякъ . . . . .	20

**1858.**

XIX. Ночлегъ въ деревнѣ. . . . .	23
XX. Дѣдушка . . . . .	24
XXI. Пряха . . . . .	25
XXII. Въ альбомъ Е. А. П-вой. . . . .	28
XXIII. Въ альбомъ А. Н. О-вой. . . . .	—
XXIV. «Въ небѣ радуга сіаетъ» . . . . .	30
XXV. «Въ темной чащѣ замолкъ соловей» . . . . .	—
XXVI. «Помнишь?—съ алыми краями» . . . . .	31

	Стран.
XXVII. Горькія слезы . . . . .	32
XXVIII. «Мнѣ, видно, нѣть иной дороги» . . . . .	33
XXIX. «Дѣтство веселое, дѣтскія грезы» . . . . .	34
XXX. «Ахъ, у радости быстрыя крылья» . . . . .	35
XXXI. «Опять знакомыя видѣнья!» . . . . .	36
XXXII. Пѣсня бобыля . . . . .	37
XXXIII. «Ѣхаль изъ ярмарки ухарь-купецъ» . . . . .	38
XXXIV. Мертвое тѣло . . . . .	40

### 1859.

XXXV. Старый слуга . . . . .	46
XXXVI. «Живая рѣчь, живые звуки» . . . . .	48
XXXVII. «Перестань, милый другъ, свое сердце пугать» . . . . .	49
XXXVIII. «И дождь и вѣтеръ. Ночь темна» . . . . .	50
XXXIX. Могила дитяти (Посвящается Н. И. Второву) . . . . .	51

### 1860.

XL. «Бѣдная молодость, дни не веселые» . . . . .	53
XLI. «Я радъ молчать о горѣ старомъ» . . . . .	54
XLII. Поэту обличителю . . . . .	55
XLIII. «Теперь мы вышли на дорогу» . . . . .	56
XLIV. Поминки . . . . .	58
XLV. На пепелищѣ . . . . .	59
XLVI. Портной . . . . .	60
XLVII. «За прыжкою баба въ понявѣ сидѣть» . . . . .	64
XLVIII. Мать и дочь . . . . .	65
XLIX. Погость. . . . .	67

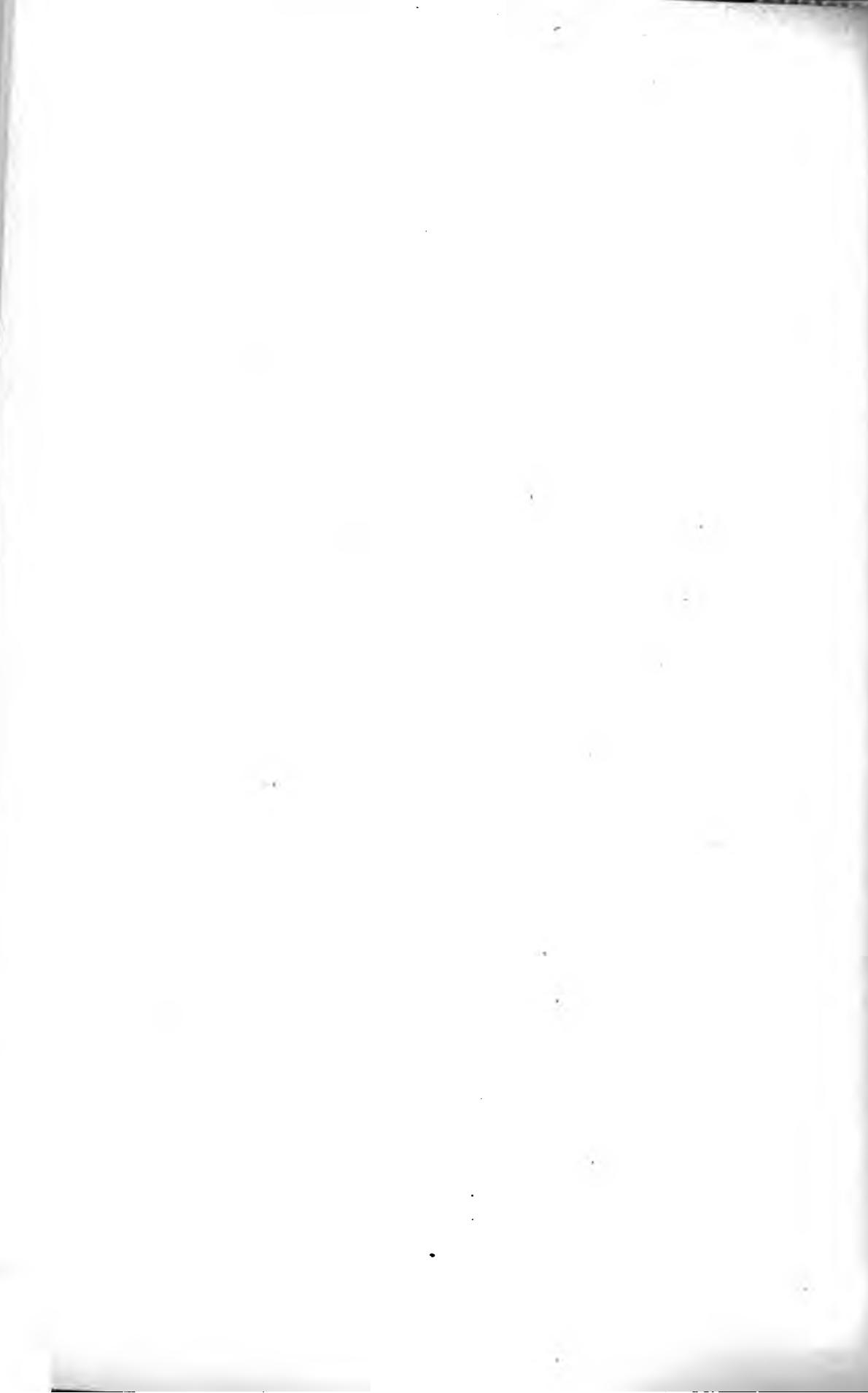
### 1861.

L. Хозяинъ . . . . .	68
----------------------	----

### Большія піесы.

Кудакъ (въ авторскомъ изданіи) . . . . .	77
Поѣздка на хуторъ . . . . .	211
Тарасъ . . . . .	233
Дневникъ семинариста . . . . .	245
Примѣчанія къ стихотвореніямъ. . . . .	3
Приложеніе ко 2-му тому . . . . .	3

Прощай, Мухомор! Не раз со мной,  
Когда мой донес об этом быть счастлив,  
Сидел я, присевшись, за столом,  
Под темным дум, позади порога!  
И шла по твоему пути  
Пригасло се, подождало се, идет...  
Но я избрале иной путь.  
Как учили, срвалася на болю,  
Упрашивали учили разбивки!  
Я счастья, воздыхая, желаю!  
В моем творческом имении  
Ни силе, ни злобе молодой  
Я не удастся въ борьбе съ судьбой,  
Но благо же? Недаромъ извѣстно.



1857 г.

I.

**Л а м п а д к а.**



редъ образомъ лампадка догораетъ,  
Кидая тѣнь на потолокъ;  
Какъ много думъ, думъ горькихъ вызываетъ  
Глазамъ знакомый огонекъ!

Я помню ночь: передъ моей кроваткой:  
Сжавъ руки, съ мукою въ чертахъ,  
Вся блѣдная, освѣщена лампадкой,  
Молиласъ мать моя въ слезахъ.

Я былъ въ жару. А за стѣною пѣли,—  
Шелъ пиръ семейный, какъ всегда!..  
Испуганный, я вздрагивалъ въ постели...  
Зачѣмъ не умеръ я тогда?

Я помню день: лампадка трепетала;  
Шелъ дождикъ, по стеклу звения.  
Отецъ мой плакалъ... мать въ гробу лежала...  
Въ глазахъ мутилось у меня.

Но молодость сильна. Вдали блестѣло;  
 Полна надежды, жить спѣша,  
 Изъ омута, гдѣ сердце холодѣло,—  
 Рвалась впередъ моя душа.

Вотъ эта даль, страна моей святыни,  
 Гдѣ, мнѣ казалось, свѣтъ горитъ.  
 Иду по ней,—и холodomъ пустыни  
 Со всѣхъ сторонъ меня язвитъ.

Увы! лампадки яркое сіянье,  
 Чѣмъ было, пробуждая вновь,  
 Бросаетъ лучъ на новое страданье  
 Недавнихъ ранъ живую кровь!

Я не нашелъ съ годами лучшей доли,  
 Не спасъ меня завѣтный путь  
 Отъ тонкихъ иглъ, чтѣю входять противъ воли  
 Въ горячій мозгъ, въ болѣющую грудь.

Все мракъ и плачъ... рубцы отъ бичеванья...  
 Разсвѣтъ спасительный далекъ...  
 И гаснуть дни средь мрака и молчанья,  
 Какъ этотъ блѣдный огонекъ.

II\*).

\* \* \*

(*Отрывокъ*).

Смеркаетъ день. Въ бору темнѣеть...  
 Пожаръ зари надъ нимъ краснѣеть;  
 Во влажной почвѣ листъ сухой

\*). См. „Примѣчанія“, стр. 3, № 1-й.

Безъ звука тонетъ подъ ногой,  
 Недвижны сосны. Сонъ ихъ чудный  
 Такъ полонъ грезъ. Едва-едва  
 Примѣтна неба синева  
 Сквозь вѣтви. Сѣтью изумрудной  
 Покрыла цѣпкая трава  
 Сухое дерево. Грозою  
 Оно на землю свалено  
 И до корней обожжено.  
 Тропинка черной полосою  
 Лежить въ травѣ. По сторонамъ  
 Грибы бѣлѣютъ тутъ и тамъ.  
 Порою вѣтеръ шаловливый  
 Разбудить листья, слышень шумъ,  
 И вдругъ все стихнетъ — и на умъ  
 Приходятъ сказочныя дивы.  
 Слухъ раздраженъ. Вотъ въ чащѣ трескъ —  
 И мнится, видишь яркій блескъ  
 Двухъ яркихъ глазъ... Одно мгновеніе —  
 И все пропало. Вотъ рѣка;  
 Въ зеленой рамѣ лозняка  
 Ея спокойное теченье  
 Такъ полно силы! Челноки:  
 Собрали сѣти рыбаки,  
 Плынутъ; струи бѣгутъ отъ весель;  
 Угрюмый берегъ тѣчъ отбросилъ;  
 Мостъ подъ телѣгами дрожитъ;  
 И скрипъ колесь, и стукъ копытъ  
 Тревожать цаплю, и пугливо  
 Она летитъ изъ-подъ куста.  
 Веселый шумъ и суета  
 На мельницѣ. Нетерпѣливо  
 Волна сердитая реветь,  
 Мелькаетъ жерновъ торопливо...

Пора домой: ужъ ночь идетъ,  
Огни по небу разсыпаетъ.  
Пора домой: семья заботъ  
Меня давно тамъ поджидаетъ;  
Приду,— и встрѣтить у воротъ,  
И крѣпко, крѣпко обойметъ.

## III.

\* \* \*

Свѣтитъ мѣсяцъ въ окна...  
Пѣтухи пропѣли;  
Погасиль я свѣчку  
И лежу въ постели.

Спать-бы—да не спится,  
Весь я, какъ разбитый;  
Голову и сердце  
Мучить день прожитый.

Пусть-бы мнѣ на долю  
Выпалъ трудъ тяжелый,—  
Да хоть сонъ покойный,  
Да хоть часъ веселый!

Чтѣ-жъ ты, жизнь веселье,  
Пропадаешь даромъ,  
Улетаешь прахомъ?  
Исчезаешь паромъ?

Есть-же, вѣдь, у птички,  
Чтб поетъ въ лазури,

Воля да раздолъе  
И пріютъ отъ бури.

Запоетъ зорею—  
Кто нибудь услышть,  
Веселѣе смотрѣть,  
Легче грудью дышеть.

Ты-же, какъ ни бейся,  
Все не въ честь, не въ радость:  
И другимъ ненуженъ,  
И себѣ-то въ тягость.

## IV.

Первый громъ прогремѣль. Яркій блескъ въ синевѣ,  
Въ тепломъ воздухѣ пѣсни и нѣга;  
Голубые цвѣтки въ прошлогодней травѣ  
Показались на свѣтъ изъ-подъ снѣга.

Пригрѣваются стекла лучемъ золотымъ;  
Вербы почки свои распустили;  
И съ надворья гнѣзда, надъ окошкомъ моимъ,  
Сизокрылые голуби свили!

Чтѣ за робкіе гости! чутъ мимо идешь,—  
Торопливо головки поднимутъ,  
Смотрѣть долго и зорко... Того только ждешь,  
Что бѣдняжки пріютъ свой покинутъ.

Какъ я радъ имъ! Боюсь и окно отворять:  
Все мнѣ кажется, ихъ испугаю:  
Беззащитнымъ созданьямъ легко помѣшать,  
А легко-ль имъ живется—я знаю.

Чуть окрасится небо полоской огня  
 И сквозь стекла разсвѣтъ забѣлѣеть,—  
 Воркотнею своей они будятъ меня:  
 Посмотри, моль, какъ зорька алѣеть.

Сталь уютнѣй, свѣтлѣй уголокъ мой теперь  
 Этой кроткой семьи новоселье,—  
 Можетъ быть, послѣ смутъ, и борьбы, и потерь...  
 Предвѣщаетъ мнѣ миръ и веселье!

## V.

Въ синемъ небѣ плывутъ надъ полями  
 Облака съ золотыми краями;  
 Чуть замѣтенъ надъ лѣсомъ туманъ,  
 Теплый вечеръ прозрачно-румянъ.

Вотъ ужъ вѣеть прохладой ночною;  
 Грезитъ колось надъ узкой межою;  
 Мѣсяцъ огненнымъ шаромъ встаетъ,  
 Краснымъ заревомъ лѣсъ обдаетъ.

Кротко звѣздъ золотое сіянье,  
 Въ чистомъ полѣ покой и молчанье;  
 Точно въ храмѣ стою я въ тиши  
 И въ восторгѣ молюсь отъ души.

## VI.

Ярко звѣздъ мерцање  
 Въ синевѣ небесъ;  
 Мѣсяца сіянье  
 Падаетъ на лѣсъ.

Въ зеркало залива  
Сонный лѣсь глядить;  
Въ чащѣ молчаливой  
Темнота лежитъ.

Слышень межъ кустами  
Смѣхъ и разговоръ;  
Жарко косарями  
Разведенъ костеръ.

По травѣ высокой,  
Съ цѣпью на ногахъ,  
Бродитъ одиноко  
Бѣлый конь въ потьмахъ.

Вотъ ужъ пѣснь заводить  
Пѣсенникъ лихой,  
Изъ кружка выходитъ  
Парень молодой.

Шапку вверхъ кидаетъ,  
Ловитъ,—не глядить  
Пляшетъ—присѣдаеть,  
Соловьемъ свиститъ.

Пѣснѣ отвѣчаетъ  
Коростель въ лугахъ,  
Пѣсня замираетъ  
Далеко въ поляхъ...

Золотыя нивы,  
Гладь и блескъ озеръ,  
Свѣтлые заливы,  
Безъ конца просторъ,

Звѣзды надъ полями,  
Глушь да камыши...  
Такъ и лютятся сами  
Звуки изъ души.

---

## VII.

\* \* \*

Въ чистомъ полѣ тѣнь шагаетъ.  
Пѣсня изъ лѣсу несется,  
Листъ зеленый задѣваетъ,  
Желтый колось окликаетъ,  
За курганомъ отдается.

За курганомъ, за холмами,  
Дымъ-туманъ стоитъ надъ нивой,  
Свѣтъ мигаетъ полосами,  
Зорька тучекъ рукавами  
Закрываетъся стыдливо.

Рожь да лѣсъ, зари сіянье,—  
Дума, Богъ вѣсть, гдѣ летаетъ...  
Смутно листьевъ очертанье,  
Вѣтерокъ сдержаль дыханье,  
Только молния сверкаетъ.

---

## VIII.

\* \* \*

Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ,  
Озлобленъ умъ и ноеть тѣло.  
Все, отъ чего душа скорбитъ,  
Вокругъ меня весь день кипѣло.

Куда бѣжать отъ громкихъ словъ?  
Мы всѣ добры и непорочны!  
Боготворить себя готовъ  
Иной другъ правды безупречный!

Убита совѣсть, умеръ стыдъ,  
И ложь во тьмѣ царить свободно;  
Никто позора не казнитъ,  
Никто не плачетъ всенародно!

Межъ нами мучениковъ нѣтъ...  
На крикъ: „спасите!“ нѣтъ отвѣта!  
Не выйдемъ мы на Божій свѣтъ:  
Нашъ рабскій духъ боится свѣта!

Быть можетъ, въ воздухѣ весь вредъ,—  
Чему-бы гибнуть,—процвѣтаетъ,  
Чему-бѣ цвѣсти,—роняетъ цвѣтъ  
И жалкой смертью умираетъ.

## IX.

## С о х а

Ты, соха-ли наша матушка,  
Горькой бѣдности помощница,  
Неизмѣнная кормилица,  
Вѣковѣчная работница!

По твоей-ли, соха, милости,  
Съ хлѣбомъ гумны пораздвинуты,  
Сыты злые, сыты добрые,  
По полямъ ковры раскинуты!

Про тебя и вспомнить некому...  
Что-жъ молчишь ты, безпривѣтная,  
Что не въ славу тебѣ трудъ идетъ,  
Не въ честь служба безотвѣтная?..

Ахъ, крѣпка, не знаетъ устали  
Мужичка рука желѣзная,  
И покоитъ соху-матушку  
Одна ноченька беззвѣздная!

На межѣ трава зеленая,  
Полынь дикая качается;  
Не твоя-ли доля горькая  
Въ ея сокѣ отзывается?

Ужъ и кѣмъ же ты придумана,  
Къ дѣлу на вѣки приставлена?  
Кормиши малаго и старого,  
Сиротой сама оставлена...

## X.

\* \*

Ахъ, ты, бѣдность горемычна,  
Дома въ горѣ терпѣливая,  
Къ куску черному привычная,  
Въ чужихъ людяхъ боязливая!

Всѣмъ ты, робкая, въ глаза глядишь,  
Сирота, стыдомъ убитая,  
Къ богачу придешь, въ углу стоишь,  
Безпривѣтная, забытая.

Ты плывешь—куда водой несетъ,  
Стороной бредешь — гдѣ путь дадутъ,  
Просиши солнышка—гроза идетъ,  
Скажешь правду—силой ротъ зажмутъ.

У тебя весна безъ зелени,  
А любовь твоя безъ радости,  
Твоя радость безо времени,  
Немочь съ голодомъ при старости.

Вѣкъ ты мучишься, да маешься,  
Все на сердцѣ грусть великая;  
Съ бѣлымъ свѣтомъ ты разстанешься,—  
На могилѣ травка дикая.

## XI.

## Удаль и забота.

Таетъ забота, какъ свѣчка,  
Вѣкъ отъ тоски пропадаетъ;  
Удали горе—не горе,  
Въ цѣпи закуй,—распѣваетъ.

Ляжетъ забота—не спится,  
Спитъ-ли, пройди—встрепенется;  
Спитъ молодецкая удаль,  
Громомъ ударъ—не проснется.

Клонится колось отъ вѣтра,  
Вѣтеръ заботу наклонить;  
Встрѣтится удаль съ грозою—  
На ухо шапку заломить.

Всѣхъ-то забота боится,  
Топнуть ногой - поблѣднѣеть;  
Топнуть ногою на удаль—  
Лѣзетъ на ножъ, не робѣть.

По-смерть забота скучится,  
Поздно и рано хлопочеть;  
Удаль, не думавъ, добудетъ,  
Кинетъ на вѣтеръ—хочочеть.

Пѣсня заботы—не пѣсня:  
Слушать—тоска одолѣеть;  
Удаль присвистнетъ, притопнетъ—  
Горе и думу развѣеть.

Явится въ гости забота,—  
Въ домѣ и скука, и холодъ;  
У达尔 влетить да обниметь,—  
Станешь и веселъ, и молодъ.

## XII.

## Безталанная доля.

Доля безталанная,  
Чтѣ жена сварливая,  
Не уморить съ голода,  
Не накормить досыта.

Дома—гонитъ изъ дому,  
Ведетъ въ гости на горе;  
Ломитъ, чтѣ ни вздумаетъ,  
Поперекъ да на двое.

Ахъ, жена сварливая  
Пошумить — уходится,  
Съ пѣтухами поздними  
Заснетъ—успокоится.

Доля безталанная  
Весь день потѣшается,  
Растолкаетъ соннаго—  
Всю ночь насмѣхается.

Грозить мукой, бѣдностью,  
Сулить дни тяжелые,  
Смотрѣть велить соколомъ  
Пѣсни пѣть веселыя.

Пѣсни тѣ веселыя  
Свистомъ покрываются,  
Послѣ пѣсенъ въ три ручья  
Слезы проливаются.

## XIII.

\* \* \*

Медленно движется время,—  
Вѣруй, надѣйся и жди...  
Зрѣй, наше юное племя!  
Путь твой широкъ впереди.  
Молніи насъ освѣтили,  
Мы на распутьи стоимъ...  
Мертвые въ мирѣ почили,  
Дѣло настало живымъ.

Сѣялось сѣмя вѣками,—  
Корни въ землѣ глубоко;  
Срубиши лѣса топорами,—  
Зло вырывать не легко:  
Намъ его въ дѣтствѣ привили,  
Дѣды сроднилися съ нимъ.  
Мертвые въ мирѣ почили,  
Дѣло настало живымъ.

Стыдъ, кто безсмысленно тужитъ,  
Листья зашепчутъ: онъ нѣмъ!  
Слава, кто истинѣ служитъ,  
Истинѣ жертвуетъ всѣмъ!  
Поздно глаза мы открыли,  
Дружно на трудъ поспѣшимъ...

Мертвые въ мирѣ почили,  
Дѣло настало живымъ.

Рыхлая почва готова,  
Сѣйте, покуда весна:  
Доброго дѣла и слова  
Не пропадутъ сѣмена.  
Гдѣ мы и какъ ихъ добыли—  
Внукамъ отчетъ отдадимъ...  
Мертвые въ мирѣ почили  
Дѣло настало живымъ.

## XIV.

\* \* \*

Незамѣнимая, безпѣнная утрата!  
И вѣра въ будущность, и радости труда,  
Чѣмъ жизнь была средь горести богата,—  
Все сгублено безъ цѣли и плода!  
Какъ хрупкое стекло, все въ дребезги разбито  
Желѣзнымъ молотомъ судьбы!  
Такъ вотъ зачѣмъ такъ много лѣтъ прожито  
Въ тяжеломъ воздухѣ, средь горя и борьбы!  
Осталась боль... Незримо и несмѣло,  
Но врагъ подходитъ въ тишинѣ.  
До времени изношенное тѣло  
Горить на медленномъ огнѣ...  
Жизнь обманула горько и обидно!  
А все не вѣрится... все хочешь на пути,  
Въ глухой степи, гдѣ зги не видно,  
Хоть точку свѣтлую найти.  
Но гдѣ-жь она? Гдѣ отдохнуть возможно?

Гдѣ путеводные, небесные огни?  
Неужто кончатся такъ пошло и ничтожно  
Слезами памятные дни?..

Такъ, полная тревожнаго волненія,  
Не смѣя тишины дыханьемъ нарушать,  
Младенца милаго послѣднія мгновенія  
Тоскливо сторожитъ трепещущая мать.  
Неужто онъ умретъ? И, чуду вѣрить рада,  
Въ слезахъ предъ образомъ ницъ падаетъ она,  
Но часъ пробилъ. Едва зажженная лампада  
Таинственной рукой погашена...

---

XV\*).

### Р а з г о в о р ы.

Новой жизни заря —  
И тепло и свѣтло:  
О добрѣ говоримъ,  
Негодуемъ на зло.

За родимый нашъ край  
Наше сердце болитъ;  
За прожитые дни  
Мучить совѣсть и стыдъ.

Чтоб намъ цвѣсть не даетъ,  
Держитъ ростъ молодой,—  
Такъ и бросиль бы съ плечъ  
Этотъ хламъ вѣковой!

\* ) См. „Примѣчанія“, стр. 3, № 2-й.

Гдѣ-жь вы, слуги добра?  
 Выходите впередъ...  
 Подавайте примѣръ!  
 Поучайте народъ!

Нашъ разумный порывъ,  
 Нашу честную рѣчъ  
 Надо въ кровь претворить,  
 Надо плотью облечь.

Какъ повѣрить словамъ—  
 По часамъ мы ростемъ!  
 Закричать: „помоги!“ —  
 Черезъ прощать шагнемъ!

Въ насъ душа горяча,  
 Наша воля крѣпка,  
 И печаль за другихъ  
 Глубока, глубока!..

А приходитъ пора  
 Добрый подвигъ начать,  
 Такъ намъ жаль съ головы  
 Волосокъ потерять;

Тутъ раздумье и лѣнъ,  
 Тутъ насъ робость возьметъ;  
 А слова... на словахъ  
 Соколиный полетъ!.. .

## XVI.

## Н и щ і й.

И вечерней, и ранней порою  
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ  
Подъ окошками ходятъ съ сумою,  
Христа-ради на помощь зоветъ.

Надѣваетъ-ли сумку неволя,  
Неохота-ли взяться за трудъ,—  
Тяжела и горька твоя доля,  
Безпріютный, оборванный людъ!

Не откажутъ тебѣ въ подаянья,  
Не умрешь ты безъ крова зимой,—  
Жаль разумное Божье созданье,  
Человѣка въ грязи и съ сумой!

Но бѣднѣе и хуже есть ницій:  
Не пойдетъ онъ просить подъ окномъ,  
Цѣлый вѣкъ, изъ одежды и пищи,  
Онъ работаетъ ночью и днемъ.

Спить въ лачужкѣ, на грязной соломѣ,  
Богатырь въ безысходной бѣдѣ,  
Крѣпче камня въ чесносной истомѣ,  
Крѣпче мѣди въ кровавой нуждѣ.

По-смерть зерна онъ въ землю бросаетъ,  
По-смерть жнетъ, а нужда продаеть;  
О немъ облако слезы роняетъ,  
Про тоску его буря поетъ.

## XVII.

## П а х а р ь.

Солнце за день нагулялося,  
За кудрявый лѣсъ спускается;  
Лѣсъ стоять подъ шапкой темною,  
Въ золотомъ огнѣ купается.

На бугрѣ трава зеленая  
Спитъ, вся искрами обрызгана,  
Пылью розовой осыпана,  
Да каменьями уизана.

Не слыхать-то въ полѣ голоса,  
Молча воронъ на межѣ сидить,  
Только слышенъ голосъ пахаря,  
За сохой онъ на коня кричитъ.

Съ ранней зорьки пашня черная  
Бороздами подымается,  
Конь идетъ—понуриль голову,  
Мужичекъ идетъ—шатается...

Ужъ когда-же ты, кормилецъ нашъ,  
Возьмешь верхъ надъ долей горькою?  
Изъ земли ты роешь золото,  
Самъ-то съть сухою коркою!

Зрѣть рожь—тебѣ заботушка:  
Какъ-бы градомъ не побилася,  
Безъ дождей въ жары не высохла,  
Отъ дождей не положилася.

Хлѣбъ поспѣлъ — тебѣ кручинушка:  
Убирать ты не упрашишься,  
На корню-то онъ осыплется,  
Безъ куска-то ты останешься.

Урожай — купцы спѣсивятся;  
Годъ плохой — въ семье всѣ мучатся —  
Все твой дворъ не поправляется,  
Дѣтки грамотѣ не учатся.

Гдѣ же кладъ твой заколдованный,  
Гдѣ таланъ твой, пахарь, спрятался?  
На труды твои, да на горе  
Вдоволь вчужѣ я наплакался!

## XVIII.

### Деревенскій бѣднякъ.

Мужика-бѣдняка  
Господь-Богъ наградилъ:  
Душу теплую даль  
И умомъ надѣлилъ.

Да злодѣйка-нужда  
И глупа, и сильна,  
Закидала его  
Соромъ, грязью она.

Бѣднимъ дымомъ въ избѣ,  
И курной, и сырой,  
Выѣдаетъ глаза,  
Душить зимней порой.

То работа не въ мочь,  
То расправа и судъ  
Молодца-силача  
Въ три-погибели гнутъ.

Присмирѣлъ онъ, притихъ,  
Рѣчи скupo ведеть,  
Изъ подлобья глядить,  
Силу въ землю кладетъ,

Захирѣй его конь—  
Бѣдный чортъ виноватъ,  
Плаксу-бабу бранить  
И голодныхъ ребяты.

Пропадай, дескать, всѣ!..  
На печь ляжетъ ничкомъ,  
Вихорь крышу развѣй,  
Съ горя все ни почемъ!

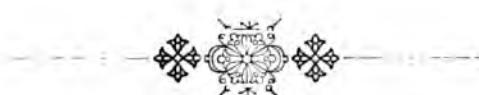
А какъ крикнуть: „пожаръ!“  
Не зови и не тронь,—  
За чужое добро  
Радъ и въ дымъ, и въ огонь.

Коли хмѣль въ головѣ—  
Загуляетъ душа:  
Туть и горе прошло,  
Туть и жизнь хороша.

На дворѣ подъ дождемъ  
Онъ зипунъ распахнетъ,  
Про лѣса, и про степь,  
Да про Волгу поетъ.

Проспался, гдѣ упалъ,—  
И притихъ онъ опять:  
Передъ всѣми готовъ  
Шапку рваную снять.

Схватить немочь—молчить,  
Только зубы сожметъ;  
Скажутъ: смерть подошла,—  
Онъ рукою махнетъ.





1858 г.

### XIX.



#### Ночлегъ въ деревнѣ.

ушный воздухъ, дымъ лучины,  
Подъ ногами соръ,  
Соръ на лавкахъ, паутины  
По угламъ узоръ;

Закоптѣлые палаты,  
Черствый хлѣбъ, вода,  
Кашель пряхи, плачъ дитяти...  
О, нужда, нужда!

Мыкать горе, вѣкъ трудиться,  
Нищимъ умереть...  
Вотъ гдѣ нужно бы учиться  
Вѣрить и терпѣть!

## XX.

## Дѣдушка.

Лысый, съ бѣлой бородою,  
Дѣдушка сидитъ.  
Чашка съ хлѣбомъ и водою  
Передъ нимъ стоитъ.

Бѣль, какъ лунь, на лбу морщины,  
Съ испитымъ лицомъ,  
Много видѣлъ онъ кручины  
На вѣку своеемъ.

Все прошло; пропала сила,  
Притушился взглядъ;  
Смерть въ могилу уложила  
Дѣтокъ и внучатъ.

Съ нимъ въ издушкѣ закоптѣлой  
Котъ одинъ живетъ.  
Старъ и онъ, и спить день цѣлый,  
Съ печи не спрыгнетъ.

Старику не много надо:  
Лапти сплѣсть, да сбыть —  
Воть и сыть. Его отрада —  
Въ Божій храмъ ходить.

Къ стѣнкѣ, около порога,  
Станеть тамъ, кряхтя,  
И за скорби славитъ Бога,  
Божіе дитя.

Радъ онъ жить, не прочно въ могилу,—  
 Въ темный уголокъ...  
 Гдѣ ты черпалъ эту силу,  
 Бѣдный мужичекъ?

---

## XXI.

## П р я х а.

Ночь и непогодь. Избушка  
 Плохо топлена.  
 Нитки бѣдная старушка  
 Сучить у окна.

Ужъ грозы-ль она боится,  
 Скучно-ли,—сидитъ,  
 Спать ложилася, да не спится,  
 Сердце все щемитъ.

И трещитъ-трещитъ лучина,  
 Свѣтъ на праху льетъ.  
 Прожитая грусть-кручинка  
 За сердце беретъ.

Бѣдность, бѣдность! Мужъ, бывало,  
 Хоть подчасъ и пиль,—  
 Все жилось съ нимъ, горя мало,  
 Все жену кормилъ.

Вотъ подъ старость, какъ ужъ зрѣнье  
 Потерялъ на вѣкъ,  
 Потерялъ онъ и терпѣнье—  
 Грѣшный человѣкъ!

За сохой ходить — не видить,  
 Побираться — стыдъ,  
 Тутъ безвинно кто обидить,—  
 Онъ молчитъ, молчитъ...

Плюнетъ, срамными словами  
 Долю проклянетъ,  
 И зальется вдругъ слезами,  
 Какъ лягъ реветь...

Такъ и умеръ. Богъ помилуй—  
 Вотъ морозъ-то былъ!  
 Бились-бились! Сынъ могилу  
 Топоромъ рубиль!...

Паренёкъ тогда былъ молодъ,—  
 Выросъ, возмужалъ...  
 Чтò за сила! Въ зной и холодъ  
 Устали не зналъ!

Поведетъ-ли рѣчъ, бывало,—  
 Чтò стариkъ ведеть;  
 Запоеть при зорькѣ аloy,—  
 Слушать, — духъ замретъ...

Человѣкъ-ли утопаетъ,  
 Иль изба горитъ,  
 Чтò бъ ни дѣлаль — все бросаетъ—  
 Помогать бѣжитъ.

И веселье, и здоровье  
 Даль ему Господь;  
 Будь хоть камень изголовье,  
 Легъ онъ — и заснетъ...

Справить думаль онъ избушку,  
Въ бурлаки пошелъ;  
Нѣтъ! Беречь ему старушку  
Богъ ужъ не привель.

Пріусталъ подъ лямкой, въ стужу  
До костей промокъ,  
Платье-- ветошь, грудь наружу,  
Заболѣль и слегъ.

Умеръ, бѣдный! Мать узнала,—  
Слезъ чтѣ пролила!  
Умъ и память потеряла,  
Грудь надорвала!

И трещитъ-трещитъ лучина,  
Ниткѣ нѣтъ конца,  
Мучить пряху грусть-кручина,  
Нѣтъ на ней лица.

Плачъ да стонъ она все слышитъ  
И, припавъ къ стеклу,  
На морозный иней дышетъ,  
Смотритъ: по селу

Кто-то въ бѣломъ пробѣгаєтъ,  
Съ бѣлой головой,  
Горстю звѣзды разсыпаетъ,  
Въ улицѣ пустой;

Звѣзды искрятся... А выуга  
Въ ворота стучитъ...  
И старушка отъ испуга  
Чуть жива сидитъ.

## XXII.

## Въ альбомъ Е. А. П—вой.

Съ младенчества дикарь печальный,  
Больной, съ изношеннымъ лицомъ,  
Съ какой-то робостю тайной  
Вхожу я въ незнакомый домъ.

Но гдѣ привыкъ, гдѣ я встрѣчаю  
Хозяйки милое лицо,—  
Тутъ все забыто: я вѣгаю  
Здоровъ и весель на крыльцо.

Вотъ такъ и здѣсь: я точно дома;  
Мнѣ отрадно и тепло;  
И радъ я на листкѣ альбома  
Писать, что въ голову пришло.

Хозяйка милая, я знаю,  
Мнѣ все простить, она добра;  
И сталь неловкаго пера  
Я неохотно покидаю.  
Хотѣлъ бы вновь писать, писать—  
До безконечности болтать.

## XXIII.

## Въ альбомъ А. Н. О—вой.

Послушный вашему желанью,  
Беру перо, сажусь писать:  
Грѣшно прекрасному созданью  
Въ невинной просьбѣ отказать.

Конечно, жаль! я васъ не знаю;  
 Увы! скорбить моя душа!  
 Молвѣ я съ жадностью внимаю,  
 Что вы, какъ ангель, хороша.

Но все равно. Идите съ Богомъ,  
 Мои стихи! Счастливый путь!  
 Отрадной встрѣчи мнѣ залогомъ  
 Послужите когда-нибудь.

Какъ угадать! Сѣдой и хилый,  
 Когда весь сморщусь и согнусь.  
 Авось съ красавицею милой,  
 Лѣтъ черезъ десять, я сойдусь.

Въ тотъ мигъ—его воображаю—  
 Добра, прекрасна, молода,  
 Она мнѣ скажетъ: „я васъ знаю!“  
 И буду счастливъ я тогда.

„Я съ вами ужъ давно знакома...“  
 И этихъ строкъ напомнить рядъ,  
 Покажеть мнѣ листокъ альбома,  
 И я отвѣчу: виноватъ!

Позвольте... эта встрѣча съ вами...  
 И волю дамъ карандашу,  
 И вдохновенными стихами  
 Ея портретъ я напишу.

---

## XXIV.

\* \* \*

Въ небѣ радуга сіяеть;  
 Розы дождикомъ омыты,  
 Солнце въ зелени играеть,  
 Темный садъ благоухаетъ,  
 Кудри золотомъ покрыты.

Свѣтъ и тѣнь подъ деревами  
 Переходятъ, какъ живые;  
 Мохъ унизанъ огоньками;  
 Надъ душистыми цвѣтами  
 Въются пчелы золотыя.

Въ чащѣ,—свиста переливы,  
 Стрекотня и пѣсенъ звуки.  
 Подлѣ ты, мой другъ стыдливый...  
 Слава Богу! мигъ счастливый  
 Уловилъ я въ часъ разлуки.

## XXV \*).

\* \* \*

Въ темной чащѣ замолкъ соловей,  
 Прокатилась звѣзда въ синевѣ;  
 Мѣсяцъ смотритъ сквозь сѣтку вѣтвей,  
 Зажигаетъ росу на травѣ.

См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 3-й.

Дремлють розы. Прохлада плыветь.  
Кто-то свистнуль... вотъ замеръ и свистъ.  
Ухо слышить,— едва упадетъ  
Насѣкомыи подточенный листъ.

Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ  
У тебя милый очеркъ лица!  
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,  
Я-бъ продлилъ безъ конца, безъ конца!

## XXVI.

\* \* \*

Помнишь?— съ алыми краями  
Тучки въ озерѣ играли;  
Шапки на ухо, верхами  
Ребятишки въ лѣсѣ скакали.

Табуномъ своимъ покинуть,  
Конь въ водѣ остановился  
И, какъ будто опрокинуть,  
Недвижимъ въ ней отразился.

При зорѣ румяной колось  
Сквозь дремоту улыбался;  
Лѣсъ синѣлъ. Кукушки голосъ  
Въ сонной чащѣ раздавался

По полянѣ передъ нами —  
Чтоб ни шагъ— цвѣты пестрѣли,  
Тѣнь бродила за кустами,  
Краски вечера блѣднѣли...

Трепеть сердца, упоенье,—  
Вамъ въ слова не воплотиться!  
Помнишь.. Чудныя мгновенья!  
Суждено-ль имъ воротиться?

## XXVII.

## Г о рькія слезы.

In meiner Brust, da sitzt ein Weh  
Das will die Brust zersprengen.  
H e i n e.

Чужихъ страданій жалкій зритель,  
Я жизнь разстратилъ безъ плода,  
И вотъ проснулась совѣсть-мститель  
И жжетъ лицо огнемъ стыда.

Чужой бѣдой я волновался,  
Отъ слезъ чужихъ я не спалъ ночь,—  
И все молчалъ, и все боялся,  
И никому не могъ помочь.

Убить нуждой, убить трудами,  
Мой братъ и чахъ, и погибалъ,  
Я закрывалъ лицо руками—  
И плакалъ, плакалъ—и молчалъ.

Я слышалъ злу рукоплесканья  
И все терпѣлъ, едва дыша;  
Подъ пыткою негодованья  
Молчала рабская душа!

Мой духъ сроднился съ духомъ вѣка,  
Тропой пробитою я шелъ:

Святую личность человѣка  
До пошлой мелочи низвелъ.

Ты-ль это жизнь, къ добру съ любовью,  
Плодъ мысли, горя и борьбы?  
Увы! отмѣчена ты кровью,  
Насмѣшка страшная судьбы!

## XXVIII.

\* \* \*

Мнѣ, видно, нѣтъ иной дороги—  
Она лежитъ... иди впередъ,  
Тащись, покуда служатъ ноги,  
А впереди—чтоб Богъ пошлетъ.

Все грязь, да грязь... Господь помилуй!  
Устанешь—духъ переведешь,  
Опять впередъ! хоть не подъ силу,  
Хоть плакать въ пору,—все идешь!

Нужда, печаль, тоска и скука,  
Нѣтъ воли сердцу и уму...  
Изъ-за чего вся эта мука—  
Извѣстно Богу одному!

Ужь пусть-бы радость пропадала  
Для блага хоть чьего нибудь,  
Была-бы цѣль—душа-бѣ молчала,  
Имѣль-бы смыслъ тяжелый путь;

Такъ нѣтъ! какой-то врагъ незримый  
Изъ жизни пытку создаетъ  
И, какъ палачъ неумолимый,  
Надъ жертвой хохотъ издастъ.

## XXIX\*).

\* \* \*

Дѣтство веселое, дѣтскія грезы—  
Только васъ вспомнишь,—улыбка и слезы...  
Голову няня въ дремотѣ склонила,  
На поль съ лежанки чулокъ уронила;  
Прыгаетъ котъ, шевелитъ его лапкой;  
Свѣчка ужъ меркнетъ подъ огненной шапкой,  
Движется сумракъ, въ глаза мнѣ глядитъ...  
Зимняя выюга шумить и гудить.

Прогнали сонъ мой разсказы старушки.  
Вотъ я въ лѣсу у порога избушки;  
Ждетъ къ себѣ гостя колдунья сѣдая—  
Змѣй подлетаетъ, огонь разсыпая.  
Замеръ лѣсь темный, ни свиста, ни шума,  
Смотрять деревья угрюмо, угрюмо!  
Сердце мое замираетъ—дрожитъ...  
Зимняя выюга шумить и гудить.

Няня встаетъ и лѣниво зѣваетъ,  
На ночь постелю мою оправляетъ.  
„Лягъ, мой соколикъ, съ молитвой святою,  
Божія сила да будетъ съ тобою“...

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 4-й.

Нянина шубка мнѣ ноги пригрѣла,  
 Вотъ ужъ въ глазахъ у меня запестрѣло,  
 Спло и не спло я... лампада горитъ...  
 Зимняя выюга шумитъ и гудить.

Вѣчнай память, веселое время!  
 Грудь мою давить тяжелое бремя,  
 Жизнь пропадаетъ въ заботахъ о хлѣбѣ,  
 Дѣтство сияеть, какъ радуга въ небѣ...  
 Гдѣ вы, веселье, и сонь, и здоровье?  
 Вѣмокло отъ слезъ у меня изголовье,  
 Темная даль мнѣ бѣдою грозитъ...  
 Зимняя выюга шумитъ и гудить.

## XXX \*).

\* \* \*

Ахъ, у радости быстрыя крылья,  
 Золотыя да яркія перья!  
 Прилетить,—вся душа встрепенется,  
 Передъ смертью больной улыбнется!

Ужъ зазвать-бы мнѣ радость обманомъ,  
 Задержать и мольбою и лаской:  
 Отъ тумана глаза-бѣ прояснились,  
 На веселый ладъ пѣсни-бѣ сложились,

Ты, кручинушка, ночь безъ разсвѣта,  
 Безъ разсвѣта, да съ холодомъ, съ вѣтромъ...  
 При тебѣ—вся краска изсушится,  
 При тебѣ въ головѣ помутится.

\* ) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 5-й.

Ужь и будь ты, кручинушка, пепломъ—  
 Весь-бы по полю въ бурю развѣяль,  
 Пусть бы травушка въ полѣ горѣла,  
 Да на сердцѣ смола не кипѣла.

## XXXI.

Опять знакомыя видѣнья!  
 Опять, подъ дѣтскій смѣхъ и шумъ,  
 Прожитый день припомнить умъ,  
 Проснулось чувство отвращенія!  
 О, Боже правый! вотъ она  
 И лжи, и подлостей страница,—  
 На каждой буквѣ кровь видна...  
 Какой позоръ! Вотъ эти лица  
 Ханжей, предателей, льстецовъ,  
 Низкоклонниковъ, рабовъ,  
 Рабовъ разсчета и разврата,  
 Рабовъ бездушныхъ, ледяныхъ,  
 Рабовъ, продать готовыхъ брата,  
 И друга, и дѣтей родныхъ,  
 Рабовъ бездѣлья, скуки праздной,  
 Страстишекъ мелкихъ и заботъ...  
 И ты, въ своей одеждѣ грязной,  
 Нашъ бѣдный труженикъ-народъ,  
 Несущій крестъ свой терпѣливо,  
 Ты,—за кого краснорѣчиво  
 Ведемъ мы споръ, добро любя,  
 Пора-ль на свѣтъ вести тебя,—  
 И ты мнѣ вспомнился...

Угрюмо,  
 Въ печальнойной долѣ хлѣбу радъ,  
 Ты мимо каменныхъ палатъ  
 Идешь на трудъ съ тупою думой,

Полуодѣть, полуобутъ,  
 Нуждой безжалостной согнутъ...  
 Неужто, молодое племя,  
 Въ тебѣ воскреснетъ наше время,  
 Развратъ души, развратъ ума,  
 И лѣнь, и мелочность, и тьма?  
 Намъ нѣтъ изъ пропасти исхода...  
 Влачась и въ прахѣ, и въ пыли,  
 О, еслибы мы сказать могли:  
 „Вамъ, дѣти, счастье и свобода,  
 Широкій путь, разумный трудъ!..“  
 Увы! невѣдомъ Божій судъ!

## XXXII.

## Пѣсня бобыля.

Ни кола, ни двора,  
 Зипунъ—весь пожитокъ...  
 Эхъ, живи—не тужи,  
 Умрешь—не убытокъ!

Богачу-дураку  
 И съ казной не спится;  
 Бобыль голъ, какъ соколь,  
 Поетъ-веселится.

Онъ идетъ, да поетъ,  
 Вѣтеръ подпѣваетъ;  
 Сторонись, богачи!  
 Бѣднота гуляетъ!

Рожь стоять по бокамъ,  
 Отдаеть поклоны...

Эхъ, присвистни, бобылы!  
Слушай, лѣсь зеленый!

Ужь ты плачъ-ли, не плачъ,—  
Слезъ никто не видитъ;  
Оробѣй, загорюй,—  
Курица обидить.

Ужь ты сытъ-ли не сытъ,—  
Въ печаль не давайся,  
Причеснись, распахнись,  
Шути, улыбайся!

Поживемъ, да умремъ,—  
Будетъ голь пригрѣта...  
Разумѣй, кто уменъ,—  
Пѣсенка допѣта!

### XXXIII.

\* \* \*

Ѣхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ,  
Ухарь-купецъ, удалой молодецъ.  
Сталъ онъ на дворъ лошадей покормить,  
Вздумалъ деревню гульбой удивить.  
Въ красной рубашкѣ, кудрявъ и румянъ,  
Вышелъ на улицу весель и пьянъ.  
Собралъ онъ дѣвокъ-красавицъ въ кружокъ,  
Выхватилъ съ звонкой казной кошелекъ.  
Потчуетъ старыхъ и малыхъ виномъ:  
„Пей—пропивай! Проживемъ—наживемъ!..“  
Морщатся дѣвки, до донышка пьютъ,  
Шутятъ, и пляшутъ, и пѣсни поютъ.

Ухарь-купецъ подгѣваетъ — свиститъ,  
О земь ногой молодецки стучитъ.

Синее небо, и сумракъ и тиши,  
Смотрится въ воду зеленый камышъ,  
Полосы свѣта по рѣчкѣ лежать;  
Въ золотѣ тучки надъ лѣсомъ горятъ.  
Дѣвичья пляска при зорькѣ видна,  
Дѣвичья пѣсня за рѣкой слышна,  
По лугу льется, по чащѣ лѣсной...  
Тамъ услыхалъ ее сторожъ сѣдой;  
Бѣлый, какъ лунь, онъ подъ дубомъ стоитъ,  
Дубъ не шелохнется, сторожъ молчитъ.  
Къ дѣвкѣ стыдливой купецъ пристаетъ,  
Обняль, цѣлуешь и руки ей жметъ.  
Рвется красотка за дѣвичій кругъ:  
Совѣстно ей отъ родныхъ и подругъ.  
Смотрять подруги,—ихъ зависть беретъ,  
Вотъ, моль, упрямющѣ счастье идетъ.  
Дѣвкинъ отецъ свое дѣло смекнулъ,  
Локтемъ жену торопливо толкнулъ,  
Сѣдъ онъ и рваная шапка на немъ,  
Глазомъ мигнулъ—и пропалъ за угломъ.  
Дѣвкина мать растропна, смѣла,  
Съ вкрадчивой рѣчью къ купцу подошла,  
„Полно, косатикъ, отстань—не балуй!  
Дѣвки моей не позорь,—не цѣлуй!“  
Ухарь-купецъ позвенѣль серебромъ:  
— Нѣть, такъ не надо... другую найдемъ...—  
Вырвалась дѣвка, хотѣла бѣжать,  
Мать ей велѣла на мѣстѣ стоять.

Звѣздная ночь и ясна, и тепла.  
Дѣвичья пѣсня давно замерла.

Шепчетъ нахмуренный лѣсъ надъ водой,  
 Вѣтромъ шатаетъ камышъ молодой.  
 Синяя туча надъ лѣсомъ плыветъ,  
 Темную зелень огнемъ обдаётъ.  
 Въ крайней избушкѣ не гаснетъ очникъ,  
 Спить на печи подгулявшій стариkъ,  
 Спить въ зипушишкѣ и старыхъ лаптяхъ,  
 Рваная шапка комкомъ въ головахъ.—  
 Молится Богу старуха жена,  
 Плакать-бы надо,—не плачетъ она.  
 Дочь ихъ—красавица поздно пришла,  
 Дѣвичью совѣсть виномъ залила.  
 Чтобъ тутъ за диво! и замужъ пойдетъ...  
 То-то, чай, дѣтокъ на путь наведеть!..

## XXXIV.

## М е р т в о е т ъ л о .

Парень-извощикъ въ дорогѣ продрогъ,  
 Крѣпко продрогъ, тяжело занемогъ.

Въ грязной избѣ онъ на печкѣ лежитъ  
 Горло распухло, чуть-чуть говоритьъ.

Ноетъ душа отъ тяжелой тоски:  
 Паши родныя куда далеки!

Какъ на чужой сторонѣ умереть!  
 Хоть бы на мать, на отца поглядѣть!..

Въ горѣ товарищи держать совѣть!  
 „Ну-ка умреть,—попадемъ мы въ отвѣтъ

„Изъ дому паспортовъ не взяли мы—  
Ну-ка умретъ,—не уйдемъ отъ тюрьмы!“

Дворникъ встревожень, священника ждетъ;  
Медленнымъ шагомъ священникъ идетъ.

Встали извошки, всталъ и больной!  
Свѣчка горитъ предъ иконой святой,

Бѣлая скатерть на столъ постлана.  
Въ душной избѣ тишина, тишина...

Кончилъ молитву священникъ сѣдой,  
Вышли извошки за дверь толпой.

Парень шатается, лышетъ съ трудомъ,  
Старецъ стоитъ недвижимъ со крестомъ.

„Страшенъ судъ Божій, покайся, мой  
сынъ!  
Богъ тебя слышитъ, да я лишь одинъ!“...

„Батюшка!.. грѣшенъ!..“—больной просто-  
наль;  
Паль на колѣни и громко рыдалъ...

Грѣшника старецъ во всемъ разрѣшилъ,  
Крови и плоти святой пріобщилъ...

Сѣлъ—написалъ: вотъ такой пріобщенъ.  
Дворнику легче: исполненъ законъ.

Полночь. Всѣ въ домѣ уснули давно,—  
Въ душной избѣ, какъ въ могилѣ, темно.

Скупо въ углу рукомойникъ течеть,  
Капля за каплею звукъ издаетъ.

Мѣрно кузнечикъ куетъ въ тишинѣ,  
Кто-то невнятно бормочетъ во сне.

Вѣтеръ печально поетъ подъ окномъ,  
Воетъ-голоситъ, Господь вѣсть, по комъ.

Тошно въ потьмахъ одному мужику:  
Сны-вѣщуны навѣваютъ тоску.

Съ жесткой постели, въ раздумья, онъ всталъ,  
Ощупью печь и лучину сыскалъ,

Красное пламя изъ угля добылъ  
Ярко больному лицо освѣтиль.

Тихъ онъ лежитъ, на лицѣ доброта,  
Впалыя щеки бѣлѣ холста.

Свѣсились кудри, открыты глаза,  
Въ мертвыхъ глазахъ не обсохла слеза.

Вздрогнулъ извощикъ, „Ну, вотъ, дожда-  
лисъ!“  
Дворника будить: проснись, подымись!

— Что тамъ?— „Товарищъ нашъ мертвый ле-  
житъ“...  
Дворникъ вскочиль, какъ безумный, глядить.

— Охъ, попадете, ребята, въ бѣду!  
Вы попадете и я попаду!

„Какъ-это паспортовъ, какъ не имѣть?  
Знаешь—начальство... не станетъ жалѣть!..“

Вдругъ у него на душѣ отлегло.  
Тс!.. далеко-ли, братъ, ваше село?

„Верстъ этакъ двѣсти... не близко, родной!“  
— Нечего мѣшкать! ступайте домой!

„Мертваго можно одѣть-снарядить,  
Въ сани ввалить, да веретьемъ покрыть;

Подлѣ села его выньте на свѣтъ:  
Умеръ дорогою—вотъ и отвѣтъ!“

Думаетъ—шепчетъ проснувшійся людъ,  
Ѣхать не радость, не радость и судь.

Помочи, видно, тутъ нечего ждать...  
Быть тому такъ, что покойника взять!

Бѣлѣть снѣгъ въ степи глухой,  
Стоитъ на ней ковыль сухой;  
Ковыль сухой и старъ, и сѣдъ,  
Блеститъ на немъ мороза слѣдъ.  
Просторъ и сонъ, могильный сонъ,  
Туманъ, чтоб дымъ, со всѣхъ сторонъ;  
А глубь небесъ въ огняхъ горитъ,  
Вокругъ мѣсяца кольцо лежитъ;  
Звѣзды звѣзды привѣты шлетъ,  
Холодный свѣтъ на землю льетъ;  
Въ степи глухой обозъ скрипитъ.  
Передній конь идетъ—храпитъ:  
Продрогъ мужикъ, глядитъ на снѣгъ,

Съ ума нейдетъ въ селѣ почлегъ;  
 Въ своемъ селѣ онъ сонъ найдетъ.  
 Теперь его все страхъ беретъ:  
 Мертвѣцъ за нимъ въ саняхъ лежитъ,  
 Живому степь бѣдой грозить.  
 Мелькнула тѣнь, зашла впередъ,  
 Растетъ сѣдой и рѣчъ ведеть:  
 „Мертвѣцъ въ саняхъ! мертвѣцъ въ саняхъ!..“  
 Вскочилъ мужикъ, на сердцѣ страхъ,  
 По тѣлу дрожь, тоска въ груди...  
 „Товарищи! сюда иди!  
 Эй, дядя Петръ! Мертвѣцъ встаетъ!  
 Мертвѣцъ встаетъ, ко мнѣ идетъ!“  
 Извошики на кличъ бѣгутъ,  
 О чудѣ рѣчъ въ степи ведуть.  
 Блестить ковыль, сквозь чуткій сонъ  
 Людскую рѣчъ подслушалъ онъ...“

Вотъ ужъ покойникъ въ родимомъ селѣ.  
 Убранъ, лежить на дубовомъ столѣ.  
 Мать къ мертвѣцу припадаетъ на грудь:  
 „Соколъ мой ясный, скажи что-нибудь!  
 Какъ безъ тебя мнѣ свой вѣкъ коротать,  
 Горькое горе встрѣтить, провожать!..“  
 — Полно, старуха! Ей мужъ говорить,  
 Полно, косатка!“—и плачетъ навзрыдъ.  
 Чу! колокольчикъ звенить и поетъ...  
 Ближе и ближе—и смолкъ у воротъ.  
 Грозный чиновникъ въ избушку спѣшитъ,  
 Дверь отворилъ, на порогѣ кричитъ:—  
 Эй, старина! понятыхъ собери!  
 Слышишь, каналья? да живо, смотри!  
 Все онъ провѣдалъ, про все разузналъ,  
 Доктора взялъ и на судъ прискакалъ.

Трупъ обнажили. И вотъ, въ торопяхъ,  
Въ фартукѣ бѣломъ, въ зеленыхъ очкахъ,  
По локоть докторъ рукавъ завернулъ.  
Острою сталью надъ трупомъ сверкнулъ.  
Вскрикнула мать: „не дадимъ, не дадимъ!  
Сынъ это мой! не ругайся надъ нимъ!  
Сжалася, родной! отступись-отойди!  
Мать свою вспомни... во грѣхъ не входи!“  
— „Вывести бабу!“ —чиновникъ сказалъ.  
Докторъ на трупѣ пятно отыскалъ.  
Бѣднымъ извощикамъ сдѣланъ допросъ,  
Обняль ихъ ужасъ—и кто чтоб понесъ...  
Жаль васъ, родимые! жаль, соколы!  
„Эй, старшина! подавай кандалы! —



1859 г.

## XXXV.



## Старый слуга.

охнетъ стариkъ отъ печали,  
Ночи не спить на-пролеть:  
Барскимъ добромъ поклепали,  
Воромъ вся дворня зоветъ.

Не ждалъ онъ горькой невзгоды,  
Барину вѣрно служилъ...  
Какъ его въ прежніе годы  
Старый слуга мой любилъ!

Въ курточкѣ красной, бывало,  
Веселъ, завитъ и румянъ,  
Прыгаетъ, бьетъ, какъ попало,  
Рѣзвый барчукъ въ барабанъ;

Бьетъ и кричитъ, и смѣется,  
Дѣтскою саблею звенитъ;  
Вдругъ къ старику повернется –  
„Смирно!“ и ножкой стучитъ.

Ниткой его занудаетъ,  
На спину сядетъ верхомъ,  
Въ шутку кнутомъ погоняетъ,  
Ѣдетъ по залѣ кругомъ.

Радь мой стариkъ—и проворно  
На четверенькахъ ползетъ.  
„Стой!“—и онъ станеть покорно,  
Бровью сѣдой не моргнѣть.

Ручку-ль барчукъ шаловливый,  
Ножку-ль убьетъ за игрой,—  
Вздрогнетъ слуга боязливый:  
„Баринъ ты мой золотой!“

Шопотомъ тужитъ, горюетъ:  
„Не досмотрѣль я, злодѣй!“  
Барскую ножку цѣлюетъ...  
„Бей меня, батюшка, бей!“

Тошно подъ барской опалой!  
Недруговъ страшенъ навѣтъ!  
Пусть-бы ужь много пропало,—  
Ложки серебряной нѣтъ!

Смотрить стариkъ за овцами,  
На ноги лапти надѣль,  
Плечи покрылъ лоскутами,—  
Такъ ему баринъ велѣлъ.

Плакаль бѣднякъ, убивался,  
Вслухъ не винилъ никого:  
Рабъ своей тѣни боялся,—  
Такъ напугали его.

Господи! горе и голодъ!..  
Долго-ли чахнуть въ тоскѣ?..  
Вырвался какъ-то онъ въ городъ  
И—загулялъ въ кабакѣ.

Пей, безталанная доля!  
Шилъ онъ, и пѣлъ, и плясалъ...  
Волюшка, милая воля,  
Гдѣ-же твой свѣтъ запропалъ.

И потащился полями  
Пьяный въ родное село.  
Вьюга неслась облаками,  
Вѣтромъ лицо его жгло.

Снѣгъ заметалъ одѣжонку,  
Сонъ горемыку клонилъ...  
Легъ онъ, надвинулъ шапченку,  
И середь поля застылъ.

## XXXVI.

\* \* \*

Живая рѣчъ, живые звуки,—  
Зачѣмъ вамъ чужды плоть и кровь?  
Я въ васъ облекъ-бы сердца муки —  
Мою печаль, мою любовь.

Въ груди огонь, въ душѣ смятенье  
И подавленной страсти стонъ,  
А ваше мѣрное теченье  
Наводить скучу или сонъ...

Такъ, недоступно и незримо,  
 Въ нась зреТЬ чувство иногда,  
 И остается навсегда  
 Загадкою неразрѣшимой,  
 Какъ мученикъ прожившій вѣкъ,  
 Намъ съ дѣтства близкій человѣкъ...

## XXXVII.

\*\*

Перестань, милый другъ, свое сердце пугать:  
 Чтоб намъ завтра сулить — мудрено угадать.  
 Посмотри: изъ-за синяго полога тучъ  
 На зеленый курганъ брызнуль золотомъ лучъ.  
 Колокольчикъ поникъ надъ росистой межой,  
 Алой краской покрыть василекъ голубой,  
 Сироты-павилики румяный цветтокъ  
 Приласкался къ нему и обвилъ стебелекъ.  
 Про таланъ золотой въ полѣ пахарь поетъ,  
 Въ потемнѣвшемъ лѣсу отголосокъ идетъ.  
 Въ каждой травкѣ — душа, каждый звукъ — го-  
 ворить,  
 Въ синевѣ про любовь голось птички звенить...  
 Только ты все грустишь, словъ любви не найдешь,  
 Громовыхъ облаковъ въ день безоблачный ждешь.

## XXXVIII.

И дождь, и вѣтеръ. Ночь темна.  
 Въ уснувшемъ домѣ тишина:  
 Никто мнѣ думать не мѣшаетъ.  
 Сижу одинъ въ своемъ углѣ.  
 При свѣткѣ весело играетъ  
 Полоска свѣта на окнѣ.

Я радъ осенней непогодѣ:  
 Мнѣ шумъ толпы невыносимъ.  
 Я, какъ дикарь, привыкъ къ свободѣ,  
 Привыкъ къ стѣнамъ моимъ роднымъ...  
 Здѣсь все мнѣ дорого и мило,  
 Хоть радости здѣсь мало было...

Святая ночь! Теперь я чуждъ  
 Дневныхъ тревогъ, насущныхъ нуждъ.  
 Онѣ забыты. Жизни полны,  
 Видѣнья свѣтлые встаютъ;  
 Изъ глубины души, какъ волны,  
 Слова послушныя текутъ.

И грустно мнѣ мой трудъ отрадный,  
 Когда въ окно разсвѣть блеснетъ,  
 Мѣнять на холодъ безпощадный,  
 На бремя мелочныхъ заботъ...  
 И снова жажду я досуга  
 И темной ночи жду, какъ друга.

## XXXIX.

## М о г и л а д и т я т и .

(Посвящается Н. И. Второву).

Надъ твоей могилкой  
 Солнышко сияеть;  
 Въ зелени сирени  
 Птичка распѣваетъ.

Въются—распѣваютъ  
 Пчелы надъ цвѣтами,  
 Вѣтерокъ лепечетъ  
 Съ темными листами.

Спиши-ли ты, малютка,  
 Или такъ лежится?..  
 Встань и полюбуйся,  
 Чтѣ кругомъ творится.

Всталъ-бы ты,—нѣть воли;  
 Тѣсный домъ твой проченъ,  
 Выходъ на свѣтъ Божій  
 Крѣпко заколоченъ.

Спи, дитя! Едва-ли  
 Стоитъ просыпаться,  
 На людское горе  
 Сердцемъ надрываться.

Наша жизнъ земная,  
 Право, незавидна;  
 Спи дитя родное,  
 Суждено такъ, видно.

Сонъ твой—сонъ отрадный.  
Крестъ и камень бѣлый  
Надъ твоей могилкой  
Солнышко пригрѣло.

Перелетныи гостямъ  
Благодать святая—  
Въ ямочкѣ на камнѣ  
Влага дождевая.

Петь шалунья-птичка,  
Брызги разсыпаетъ,  
Чуткій слухъ малютки  
Пѣснями ласкаетъ.



1860 г.

## XL.

Бѣдная молодость, дни невеселые,  
Дни невеселые, сердцу тяжелые!  
Глянешь назадъ,—точно степь неоглядная,  
Глушь безотвѣтная, даль безотрадная!

Нѣть въ этой дали ни кустика зелени,  
Все-то заchaхло, да сгибло безъ времени,  
Спить точно мертвое, спить какъ убитое,  
Солнышкомъ Божиимъ на вѣки забытое.

Солнышко Божье на свѣтъ поскутилося,  
Счастье-веселье на зовъ не явилося;  
Горькое горе безъ зову нагрянуло,  
При горѣ радость свинцомъ въ воду канула.

Бѣдная молодость, дни невеселые,  
Дни невеселые, сердцу тяжелые!  
Радьбы забыть васъ, да чтѣ-жъ мнѣ останется,  
Чѣмъ моя жизнь при бездолыи помянется?

## XLI.

\* \* \*

Я радъ молчать о горѣ старомъ,  
 Мнѣ къ чернымъ днямъ не привыкать;  
 Но вотъ вопросъ: неужто даромъ  
 Мнѣ нужно слезы проливать?

Утраты, нужды и печали,  
 Къ чemu меня вы привели?  
 Какой мнѣ путь вы указали,  
 Какое благо принесли?

Дождусь ли я успокоенья  
 Отъ муки разумнаго плода?  
 Рѣши ты, жизнь, мои сомнѣнья,  
 Когда ты смысла не чужда!

Но если ты полна позора,  
 Обмана, мелочныхъ заботъ,—  
 Во чтѣ-же вѣрить? Гдѣ опора?  
 Изъ темной пропасти исходъ?

Исходъ!... едва-ли онъ возможенъ:  
 Душа на скорбь осуждена,  
 Уснуло сердце, умъ встревоженъ;  
 А даль темна, какъ ночь темна.

Ужъ не пора-ли лечь въ могилу:  
 Усопшихъ сонъ невозмутимъ...  
 О, Боже мой! пошли Ты силу  
 И миръ душевный всѣмъ живымъ!

---

XLII \*).

**Поэту-обличителю.**

Обличитель чужаго разврата,  
Проповѣдникъ святой чистоты,  
Ты,—чтоб камень на падшаго брата  
Поднимаешь,—сойди съ высоты!

Ужь не первый въ величии суровомъ,  
Врагъ неправды и лѣни тупой,  
Какъ гроза, своимъ огненнымъ словомъ  
Ты царишь надъ послушной толпой.

Дышетъ рѣчъ твоя жаркой любовью,  
Безъ конца ты готовъ говорить,  
И, подумаешь, собственной кровью  
Счастье ближнему радъ ты купить.

Чтоб-жъ ты сдѣлалъ для края роднаго,  
Безкорыстный мудрецъ-гражданинъ?  
Укажи, гдѣ для дѣла благаго  
Потеряль ты хоть волосъ одинъ?

Твоя жизнь, какъ и наша, бесплодна,  
Лицемѣрна, пуста и пошла...  
Ты не понялъ печали народной,  
Не оплакалъ ты горькаго зла.

Ницій духомъ и словомъ богатый,  
По-наслышкѣ о всемъ ты поешь,

\* См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 6-й.

И безстыдно похвалъ ждешь, какъ платы,  
За свою всенародную ложь.

Будь ты проклято, праздное слово!  
Будь ты проклята, мертвая лѣнь!  
Покажись, съ своей жизнью новой,  
Темноту прогоняющій день!

Передъ нами нѣмья могилы,  
Позади—одна горечь потеръ...  
На тебя, на твои только силы,  
Молодежь, вся надежда теперь.

Много поту тобою прольется,  
И, быть можетъ, въ глухи, безъ слѣдовъ,  
Очистительныхъ жертвъ принесется  
Въ искупленье отцовскихъ грѣховъ.

Не легка твоя будеть дорога,  
Но иди,—не погибнуть твой трудъ!  
Знамя чести и истины строгой  
Только крѣпкіе въ бурю несуть.

Безконечное мысли движенье,  
Царство разума, правды святой,—  
Вотъ прямое твое назначенье,  
Добрый подвигъ на почвѣ родной!

### XLIII.

Теперь мы вышли на дорогу,  
Дорога,—просто благодать.  
Ужь не сказать-ли: слава-Богу,  
Трудъ совершенъ! Чего желать?

Душѣ просторъ, уму свобода!..  
 Да, умъ нашъ многое постигъ:  
 О благѣ бѣднаго народа  
 Мы написали груду книгъ.

Всѣ эти дымныя избенки,  
 Гдѣ въ полуумракѣ, въ темнотѣ,  
 Полунагіе ребятенки  
 Ростуть въ грязи и въ нищетѣ,

Гдѣ по ночамъ горитъ лулина,  
 И, рабъ нужды, при огонькѣ,  
 Сѣдой, какъ лунь, старицѣ-кручинѣ  
 Плететь лаптишки въ уголкѣ;

Гдѣ жница-мать въ широкомъ полѣ,  
 На вѣтрѣ, въ нестерпимый зной,  
 Забывъ усталость по неволѣ,  
 Малютку кормить подъ копной.

Ея уста спеклися кровью,  
 Работой грудь надорвана...  
 Но, Боже мой, съ какой любовью  
 Малютку пѣстуетъ она!

Все это нынѣ мы узнали,  
 И, наконецъ,—о, мудрый вѣкъ!—  
 Какъ дважды-два мы доказали,  
 Что и мужикъ нашъ—человѣкъ.

Все суeta!.. махнемъ рукою!..  
 Насъ чернь не слушаетъ, молчитъ,  
 Упрямо ходить за сохою  
 И недовѣрчиво глядитъ.

Покамѣсть умъ нашъ созидаєтъ  
Дворцы да башни въ облакахъ,  
Горячій потъ она роняетъ  
На нивахъ, гумнахъ и дворахъ,

Въ глухой степи, въ лѣсной трушобѣ,  
Средь улицъ сель и городовъ,  
И, утомясь, въ досчатомъ гробѣ  
Опочиваетъ отъ трудовъ.

Чѣмъ это кончится?.. Едва-ли,  
Ничтожной жизни горькій плодъ,  
Не ждутъ насъ новыя печали,  
На мѣсто прожитыхъ невзгодъ!

## XLIV.

## П о м и н к и.

Ни тучи, ни вѣтра, и поле молчитъ;  
Горячее солнце и жжетъ, и палитъ.  
И пылью покрытая, будто мертвa,  
Стоитъ неподвижно подъ зноемъ трава  
И слышится только въ молчаніи дня  
Веселыхъ кузнечиковъ звонъ—трескотня.

Средь чистаго поля конь-пахарь лежитъ;  
На трупѣ коня воронъ черный сидитъ,  
Кровавый свой клювъ поднимаетъ порой  
И каркаетъ, будто вѣщунъ роковой.  
Эхъ, конь безотвѣтный, слуга мужика,  
Была твоя служба вѣрна и крѣпка!  
Побои и голодъ—ты все выносилъ  
И духъ свой на пашнѣ, въ сохѣ, испустилъ.

Мужикъ горемычный рукою махнулъ,  
 И снялъ съ него кожу и, молча, вздохнулъ,  
 Вздохнулъ и заплакаль: „ничто, моль, не въ прокъ“!  
 И кожу сырую въ кабакъ поволокъ.  
 И пѣль онъ тамъ пѣсни, свисталь соловьемъ:  
 „Пускай пропадаетъ! гори все огнемъ!“  
 Со смѣха народъ головами качаль:  
 „Смотри, моль, ребята! онъ умъ потерялъ,  
 Со зла свое сердце гульбой веселитъ,  
 По мертвей скотинѣ поминки творить!“

## XLV.

## На пепелищѣ.

На яблонѣ грустно кукушка кукуетъ;  
 На камнѣ мужикъ одиноко горюетъ:  
 У ногъ его кучами пепель лежитъ,  
 Надъ пепломъ труба безобразно торчитъ.

Въ избитыхъ лаптишкахъ, въ рубашкѣ дырявой,  
 Сидитъ онъ, поникъ головою кудрявой,  
 Поникъ горемычный отъ думъ и заботъ,  
 И солнце открытую голову жжетъ.

Не годъ не два онъ терялъ свою силу:  
 На пашнѣ онъ клалъ ее, будто въ могилу,  
 Онъ клалъ ее дома, съ цѣпомъ на гумнѣ,  
 Безропотно клалъ на чужой сторонѣ.

Весь вѣкъ свой работаль безъ счастья, безъ доли,  
 Росли на широкихъ ладоняхъ мозоли,  
 И трескалась кожа... да чтобъ за бѣда!  
 Ужъ видно не жить мужику безъ труда!

Упорной работы соха не сносила,  
Ломалась, и въ полѣ другая ходила;  
Тупилось желѣзо, стирался сошникъ,  
И только выдерживалъ пахарь-мужикъ.

Просилъ, безотвѣтный, не счастья у неба,  
Но хлѣба насущнаго, чернаго хлѣба...  
Подкралась бѣда,— все метлой подмела,—  
У пахаря нѣтъ ни двора, ни кола.

Крѣпись, горемычны! не гнись отъ удара!  
Все вынесло сердце: и ужасъ пожара,  
И матери старой пронзительный стонъ  
Въ то время, какъ въ полымя кинулся онъ

И выхватилъ сына, чтоб спаль въ колыбели,  
За нимъ по-слѣдамъ потолки загремѣли...  
„Пускай догорають!..“ И ницій мужикъ  
Къ головкѣ ребенка устами приникъ.

#### XLVI \*).

#### П о р т н о й.

Пали на долю мнѣ пѣсни унылые,  
Пѣсни печальныя, пѣсни постылые,  
Радь-бы не пѣть ихъ, да грудь надрывается,  
Слышу я, слышу, чей плачъ разливается:  
Бѣдность голодная, грязью покрытая,  
Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая,

\* ) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 7-й

Днемъ она гибнетъ, и въ полночь, и за- полночь,  
Гибнетъ она—и никто нейдетъ на помочь,  
Гибнетъ она—и опоры нѣтъ волоса,  
Теплаго сердца, знакомаго голоса...  
Горкій полынь—эта пѣснь веселая,  
Пѣснь невеселая, правда тяжелая!  
Кто здѣсь узнаетъ кручину свою?  
Эту я пѣсню про бѣдность пою.

## I.

Морозъ трещитъ, и воетъ выюга,  
И хлопья снѣга другъ на друга  
Ложатся, и ростеть сугробъ.  
И, молчаливый, будто гробъ,  
Весь домъ промерзъ. Три дня забыта,  
Ужъ печь не топится три дня,  
И нечѣмъ развести огня,  
И дверь рогожей не обита,  
Она стара и вся въ щеляхъ;  
Бѣлѣтъ иней на стѣнахъ,  
Окошко инеемъ покрыто,  
И отъ мороза на окнѣ  
Вода застыла въ кувшинѣ.

Нѣтъ крошки хлѣба въ цѣломъ домѣ,  
И на дворѣ нѣтъ плахи дровъ.  
Портной озябъ. Онъ нездоровъ  
И головой поникъ въ истомѣ:  
Печальна жизнь его была,  
Печально молодость прошла,  
Прошло и дѣтство безотрадно:  
Съ крыльца ребенкомъ онъ упалъ,  
На камняхъ ногу изломалъ,

Его посыкли безпощадно...  
 Не умеръ онъ. Полубольнымъ  
 Все росъ, да росъ. Но чѣмъ кормиться?  
 Чѣд въ руки взять? Чему учиться?  
 И самоучкой сталъ портнымъ.  
 Женился, бѣдный,—все не радость:  
 Жена не долго пожила  
 И Богу душу отдала  
 Въ родахъ подъ Пасху. Вотъ и старость  
 Теперь пришла. А дочь больна,  
 Ужъ кровью кашляетъ она.  
 И все прядеть, прядеть все пряжу,  
 Иль, молча, спицами звенить,  
 Перчатки вяжетъ на продажу,  
 И все грустить, и все грустить.  
 Робка, какъ птичка полевая,  
 Живетъ одна, живетъ въ глухи,  
 Въ глухую полночь, чуть живая,  
 Встаетъ и молится въ тиши.

## II.

Морозъ и ночь. Въ своей постели  
 Не спить измученный старикъ.  
 Его глаза глядятъ безъ цѣли,  
 Безъ цѣли онъ зажегъ ночникъ.  
 Лежитъ и стонетъ. Дочь привстала  
 И посмотрѣла на отца:  
 Онъ блѣденъ, хуже мертвѣца...  
 „Что-жъ ты не спишь?“ она сказала,  
 — Такъ, скучно. Хоть бы разсвѣло...  
 Ты не озябла? — „Мнѣ тепло...“

И разсвѣло. Окрѣпъ и холодъ.  
 Но хлѣба, хлѣба гдѣ добыть?

Суму надѣть, иль воромъ бытъ?  
 О, будь ты проклятъ, страшный голодъ!  
 Куда идти? Кого просить?  
 Иль самого себя убить?  
 Портной привсталъ. Нѣтъ, силы мало!  
 Всѣ кости ноютъ, все болитъ;  
 Дочь посинѣла и дрожитъ...  
 Хотѣлъ заплакать,—слезъ не стало...  
 И со двора, въ нѣмой тоскѣ,  
 Побрелъ онъ съ костылемъ въ рукѣ.  
 Куда? онъ думалъ не о пищѣ,  
 Шель не за хлѣбомъ,—на кладбище  
 Шель бить могильщику челомъ;  
 Онъ былъ давно ему знакомъ.  
 Но какъ начать? Неловко было...  
 Портной съ нимъ долго толковалъ  
 О томъ, о семъ; а сердце ныло...  
 И, наконецъ, онъ шапку снялъ,  
 „Послушай, сжался, ради Бога!  
 Мнѣ остается жить немногі;  
 Нельзя-ли тутъ, вотъ въ сторонѣ,  
 Могилу приготовить мнѣ?“  
 — Ого? — могильщикъ улыбнулся,  
 Ты шутишь, иль въ умѣ рехнулся?  
 Умрешь,—зароють, не грусти..  
 Грѣшно болтать-то безъ пути... —  
 „Зароють, другъ мой, я не спорю.  
 Вѣдь, дочь-то, дочь моя больна!  
 Куда просить пойдетъ она  
 Кого!.. Ужъ пособи ты горю!  
 Платить-то нечѣмъ... я бы радъ,  
 Я заплатилъ бы... вырой, братъ!..“  
 — Земля-то, видишь ты, застыла...  
 Рубить-то будетъ не легко.—

„Ты какъ... не очень глубоко,  
Не очень... вся-таки могила!  
Просить и совѣстно,—нужда!“  
— Пожалуй, вырыть не бѣда!

## III.

И слегъ портной. Лицо пылаетъ,  
Въ бреду онъ громко говоритъ,  
Что Божій гнѣвъ ему грозитъ,  
Что грѣшникомъ онъ умираетъ,  
Что онъ повѣситься хотѣлъ,  
И только Катю пожалѣлъ.  
Дочь плачетъ: „полно, ради Бога!  
У насъ тепло, обита дверь,  
И чай налить: онъ есть теперь,  
И есть дрова, и хлѣба много,—  
Все дали люди... Встань, родной!“  
И вотъ встаетъ, встаетъ портной.  
— „Ты понимаешь? Жизнь смѣется,  
Смѣется... Кто тутъ зарыдалъ?  
Не кашляй! тише! кровь польется...“  
И навзничь мертвымъ онъ упалъ.

## XLVII.

\*\*\*

За прялкою баба въ понявѣ сидѣтъ;  
Ребенокъ больной въ колыбели лежитъ,  
Лежитъ онъ и въ ротъ не береть молока,  
Кричитъ онъ безъ умолку—слушать тоска!

Торопится баба: рубашка нужна;  
Совсѣмъ-то, совсѣмъ обносилась она:  
Надѣть-то ей нечего,—просто напасть!  
Прядеть она ночью, днемъ некогда прясть.

И за полночь ярко лучина горитъ,  
И грудь отъ сидѣнья щемить и болитъ,  
И взглядъ притупился, устала рука...  
Дитя надрываеться, — слушать тоска!

Пришлось по-неволѣ работу бросать.  
„Ну, что мое дитятко? молвила мать:  
Усни себѣ съ Богомъ, усни въ тишинѣ!  
Вѣдь, некогда, дитятко, некогда мнѣ!“

И баба садится, и снова прядетъ,  
И снова покою ей крикъ не даетъ.  
„Молчи, говорю! мнѣ самой до себя!  
Ну, чѣмъ-же теперь исцѣлю я тебя?“

Поютъ пѣтухи; видно, скоро разсвѣтъ:  
Дымится лучина, и гаснетъ—и нѣтъ;  
Притихъ онъ и глазки сомкнуль.  
Уснуль онъ,—да только ужъ на вѣкъ уснуль.

### XLVIII.

#### М а т ь и д о ч ь .

Худа, ветха избушка  
И, какъ тюрьма, тѣсна;  
Слѣпая мать-старушка,  
Какъ полотно, блѣдна.

Бѣдняжка потеряла  
Свои глаза и умъ  
И, какъ ребенокъ малый,  
Чужда заботъ и думъ.

Все пѣсни распѣваетъ,  
Забившись въ уголокъ,  
И жизнь въ ней догораетъ,  
Какъ въ лампѣ огонекъ.

А дочь, съ восходомъ солнца,  
Иглу свою беретъ,  
У свѣтлаго оконца  
До темной ночи шьетъ.

Жара. Вокругъ молчанье,  
Лѣниво день идетъ,  
Докучныхъ мухъ жужжанье  
Покоя не даетъ.

Старушки тихій голосъ  
Безъ-умолку звучитъ...  
И гнется дочь, какъ колосъ,  
Тоска въ груди кипитъ.

Народъ неутомимо  
По улицѣ снуеть,  
Идетъ все мимо, мимо,—  
Богъ-вѣсть куда, идетъ.

Ужъ ночь. Темно въ избушкѣ,  
И некому мѣшать;  
Осталось—къ подушкѣ  
Припасть,— и зарыдать.

## XLIX.

## П о г о с т ь.

Глубина небесъ синѣеть,  
 Свѣтить яркая луна,  
 Церковь въ сумракѣ блѣдетъ,  
 На погостѣ тишина.

Тишина — не слышно звука,  
 Не горитъ огня въ селѣ.  
 Безпробудно скорбь и мука  
 Спитъ въ кормилицѣ землѣ.

Миръ вамъ, старая невзгоды!  
 Память вѣчная слезамъ!  
 Вѣять воздухомъ свободы  
 По трушобамъ и лѣсамъ.

Золотыя искры свѣта  
 Проникаютъ въ глушь и дичь,  
 Слышенъ въ полѣ кличъ привѣта,  
 По степямъ веселый кличъ.



1861 г.

L\*).



### Х о з я и нъ.

пряженъ въ телѣгу конь косматый,  
Откормленъ на диво овсомъ,  
И бляхи мѣдныя на немъ  
Блестятъ при заревѣ заката.  
Купцу дай Господи пожить:  
Широкоплечъ, какъ клюква красенъ,  
Казной отъ бѣдъ обезопасенъ,  
Здоровъ,—о чемъ ему тужить?  
Да мой купецъ и не горюетъ.  
Съ какой-то бабой за столомъ  
Въ особой горенкѣ, вдвоемъ,  
Сидитъ на мельницѣ, пируетъ.  
Вода реветъ, вода шумитъ,  
Отъ грома мельница дрожитъ,  
Идетъ работа толкачами,  
Идетъ работа рѣшетомъ,  
Колесами и жерновами—  
И стукотня, и пыль кругомъ...  
Купецъ мой рюмку поднимаетъ

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 8-й.

Кулакомъ объ столъ стучить.  
 „И выпью!.. кто мнѣ помѣшаетъ?  
 „И пью... самъ черть не запретить!  
 „Пей, Марья!..“

— То-то, ненаглядный,  
 Ты мнѣ на платье обѣщалъ...—  
 „И кончено! Сказалъ—и ладно.  
 „Будеть такъ, какъ я сказалъ.  
 „Мнѣ что жена? Сыта, одѣта—  
 „И все... вотъ выпрягу коня  
 „И прогуляю до разсвѣта,  
 „И баста! Обними меня!..“

Вода шумитъ—не умолкаетъ,  
 При свѣтѣ мѣсяца кипитъ,  
 Алмазной радугой сверкаетъ,  
 Огнями синими горитъ.  
 Но даль темна и молчалива,  
 Огонь веселый рыбака  
 Краснѣетъ въ зеркалѣ залива,  
 Скользитъ по листьямъ лозняка.

Купецъ гуляетъ. Мы не станемъ  
 Ему мѣшать. Въ тиши ночной  
 Мы лучше въ домъ его заглянемъ,  
 Войдемъ неслышною тропой.

Ужъ поздно. Свѣчка нагорѣла  
 Больной лежитъ и смерти ждетъ.  
 Его лицо, какъ мраморъ, бѣло,  
 И руки холодны, какъ ледъ;  
 На лобъ открытый кудри пали:  
 Остатокъ прежней красоты,

Печать раздумья и печали  
 Еще хранять его черты:  
 Такъ, освѣщенные зарею,  
 Въ замолкшемъ на-долго лѣсу,  
 Листы осеннею порою  
 Еще хранять свою красу.  
 Пора на отдыхъ. Грудь разбита,  
 На сердцѣ запеклася кровь—  
 И радость на-вѣкъ позабыта...  
 А ты, горячая любовь,  
 Явилась поздно. Доля! доля!  
 И если-бъ раньше ты пришла,—  
 Какой-бы здѣсь пріютъ нашла?  
 Здѣсь трудъ и бѣднѣсть, здѣсь неволя,  
 Здѣсь горе гнѣзда вѣтъ свои  
 И вѣтъ холодъ отъ порога,  
 И стѣны дома смотрятъ строго...  
 Здѣсь нѣтъ пріюта для любви!  
 Лежитъ больной, лицо печально,  
 И будто тѣнью лобъ покрытъ;  
 Такъ, лѣтомъ только доторить  
 Румянай зорьки лучъ прошальной,—  
 Подъ сводомъ сумрачныхъ небесъ  
 Стоитъ угрюмъ и теменъ лѣсъ.  
 Родная мать роняетъ слезы,  
 Облокотясь на столъ рукой.  
 Надежды, молодости грезы,  
 Миръ сердца — этотъ рай земной—  
 Все унесло, умчало горе,  
 Какъ бурный вѣтръ уносить пыль,  
 Когда въ степи шумитъ ковыль,  
 Шумитъ взволнованный, какъ море,  
 И дотораетъ вся до-тла  
 Грозой зажженная ветла.

Плачь, бѣдное созданье!  
 И не слезами,—кровью плачь!  
 Безвыходно твое страданье  
 И безщаденъ твой палачъ.  
 Невесела, невыносима,  
 Горька, какъ ядъ, твоя судьба:  
 Ты жизнь убила, какъ раба,  
 И не была никѣмъ любима...  
 Твой мужъ... но виноватъ ли онъ,  
 Что пьянъ, и грубъ, и не уменъ?  
 Когда-бъ онъ могъ подумать строго,  
 Какъ зла надѣлано имъ много,  
 Какъ много ранъ нанесено,—  
 Себя онъ проклялъ-бы давно.  
 Въ борьбѣ тяжелой ты устала,  
 Изнемогла и въ грязь упала,  
 И въ грязь затоптана толпой.  
 Увы! сгубилъ тебя запой!..  
 Твоя слеза на кровь походитъ...  
 Плачь больше!.. Въ воздухѣ чума!..  
 Любимый сынъ въ могилу сходить,  
 Другой давно сошелъ съ ума.

Вотъ онъ сидитъ на лежанкѣ просторной,  
 Голо остриженъ, и бѣденъ, и хиль;  
 Палку, какъ скрипку, къ плечу прислонилъ,  
 Бровью и глазомъ моргаешь проворно,  
 Правой рукою и взадъ и впередъ  
 Водить по палкѣ и пѣсню поетъ:  
 „На старомъ курганѣ, въ широкой степи,  
 Прикованный соколь сидитъ на цѣпи,  
 Сидитъ онъ ужъ тысячу лѣтъ,  
 Все нѣтъ ему воли, все нѣтъ!  
 И грудь онъ съ досады когтями терзаетъ,

И каплями кровь изъ груди вытекаетъ.  
 Летять въ синевѣ облака,  
 А степь широка, широка!..<sup>4</sup>  
 Вдругъ палку кинулъ онъ, закрылъ лицо руками  
 И плачетъ горкими слезами:  
 „Больно мнѣ! больно мнѣ! мозгъ мой горитъ.  
 Счастье тому, кто въ могилѣ лежить!  
 Мать моя, матушка! полно рыдать!  
 Долго-ли намъ эту жизнь коротать?  
 Знаешь-ли? Спальню запри изнутри,  
 Сторожемъ стану я подлѣ двери.  
 Прочь! закричу я: здѣсь мать моя спить!  
 Больно мнѣ, больно мнѣ! мозгъ мой горитъ!..<sup>4</sup>

Больной все слушалъ эти звуки,  
 Горѣлъ на медленномъ огнѣ;  
 Сказать хотѣлъ онъ: дайте мнѣ  
 Хоть умереть безъ слезъ и муки!  
 Ужель не могъ я отъ судьбы  
 Дождаться мира въ часть кончины,  
 За годы думы и кручинь,  
 За годы пытки и борьбы?  
 Иль эти пытки шуткой были?  
 Иль мало, среди стѣнъ родныхъ,  
 Отравой зла меня поили?  
 Иль, вмѣсто слезъ, изъ глазъ моихъ  
 Текла вода на изгловье,  
 Когда, губя свое здоровье,  
 Я думалъ ночи безо сна—  
 Зачѣмъ мнѣ эта жизнь дана?  
 И догарающій въ постели,  
 Всю жизнь припомнивъ съ колыбели,  
 Хотѣлъ онъ на своемъ пути  
 Хоть точку свѣтлую найти—  
 И не сыскалъ.

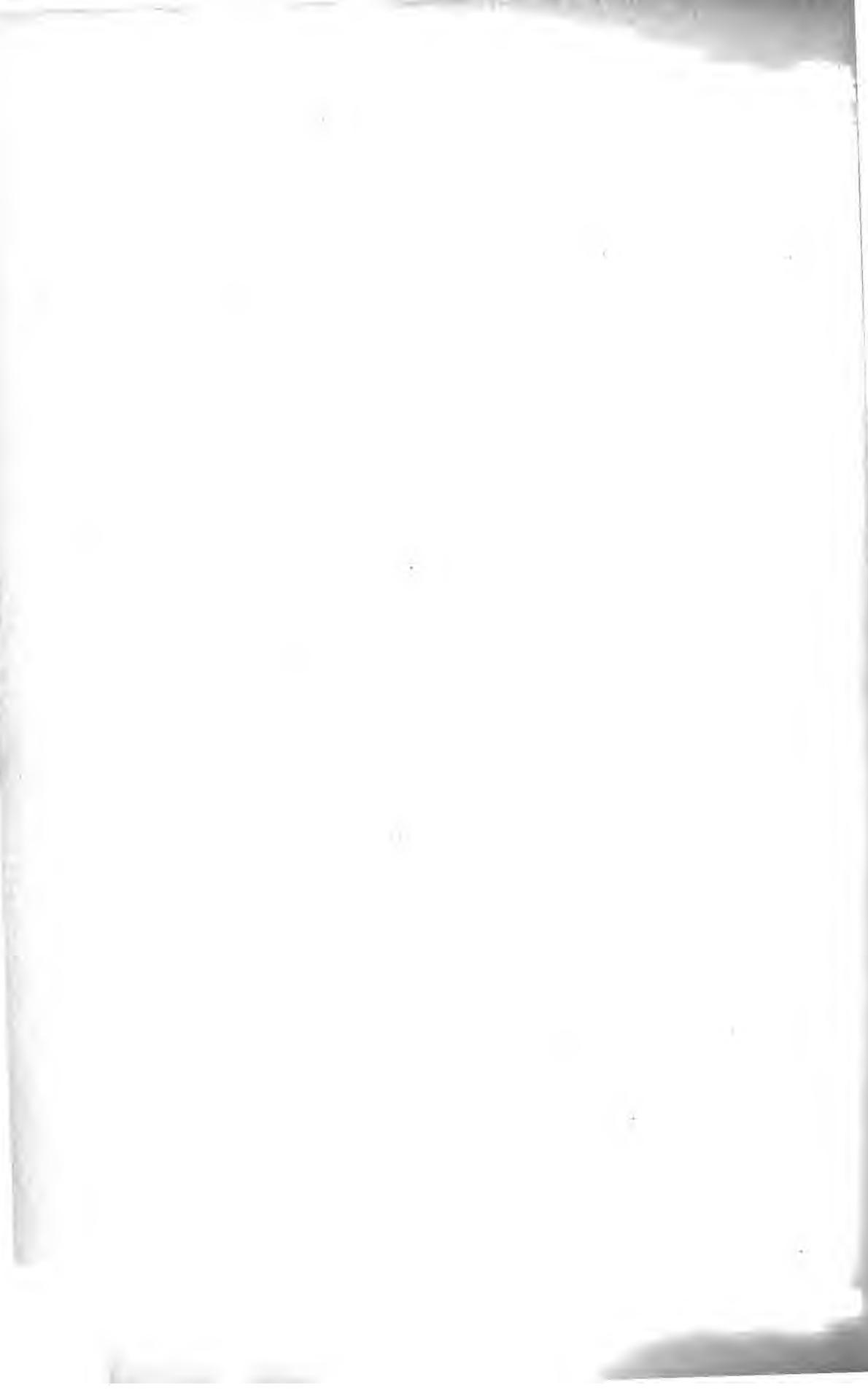
Такъ, въ полдень жгучий,  
 Спустившись съ каменистой кручи,  
 Томимый жаждой, пѣшеходъ  
 Искать ключа въ оврагъ идетъ.  
 И долго тамъ, усталый, бродить  
 И влаги капли не находитъ,  
 И падаетъ, едва живой,  
 На землю съ болью головной...  
 „Ну, отпирай! заснули скоро!..“  
 Ударивъ въ ставень кулакомъ,  
 Хозяинъ крикнулъ подъ окномъ...  
 Печальный домъ, пріютъ раздора!  
 Нѣть, тяжело срывать покровъ  
 Съ твоихъ таинственныхъ угловъ,  
 Срывать покровъ, какъ уголь черный!  
 Угрюмъ твой видъ, какъ гроба видъ,  
 Какъ мѣсто казни, гдѣ стоять  
 Съ желѣзной цѣпью столбъ позорный  
 И плаха съ топоромъ лежитъ!  
 За то, что здѣсь такъ мало свѣта,  
 Что воздухъ солнцемъ не согрѣть,  
 За то, что нѣть на мысль отвѣта,  
 За то, что радости здѣсь нѣтъ,  
 Ни ласкъ, ни милаго обѣятья,  
 За то, что гибнетъ человѣкъ,—  
 Я шлю тебѣ мои проклятия,  
 Чужой оплакивая вѣкъ!





# **КУЛАКЪ.**

(ВЪ АВТОРСКОМЪ ИЗДАНИИ).



## К У Л А К Ъ\*).

Все благо и прекрасно на землѣ,  
Когда живеть въ своемъ опредѣленыи,  
Добро вездѣ, добро найдешь и въ злѣ.  
Когда-жь предметъ пойдеть по направленью,  
Противному его предназначенью,  
По сущности добро, онъ станетъ—зломъ.  
Такъ человѣкъ: что добродѣтель въ немъ,  
То можетъ быть порокомъ.

Ш е к с и р ъ (Ромео и Юлія).

### I.



ень гаснетъ. Облаковъ громада  
Покрыта краской золотой;  
Отъ луга влажною струей  
Плыть душистая прохлада;  
Надъ самымъ озеромъ тростникъ  
Сквозной оградою поникъ.  
Порой куда-то пронесется

\* ) См „Примѣчанія“, стр. 5, № 9-й.

Со свистомъ стая куликовъ  
 И снова тиши. Въ тѣни кустовъ  
 Рыбачій челнъ не покачнется.  
 Вдоль тяги тянется обозъ;  
 Скрипятъ колеса. За волами  
 Шагаютъ чумаки съ кнутами;  
 Кипитъ народомъ перевозъ:  
 Паромъ отчалили лѣниво,  
 Ушами лошади пугливо  
 Прядутъ; рабочіе кричатъ,  
 И плещетъ по водѣ канатъ...  
 Шлагбаумъ, съ образомъ часовня,  
 Избушки, бани, колокольня  
 Съ крестомъ и галкой на крестѣ,  
 И на прибрежной высотѣ  
 Плетни, поникнувшія ивы—  
 Все опрокинуто въ рѣкѣ.  
 Бѣлѣютъ мойки въ далекѣ,  
 Луками выгнулись заливы.  
 А тамъ кусты, деревня, нивы,  
 Да чуть примѣтный, сквозь туманъ  
 Средь поля чистаго курганъ.

Тому давно, въ глухи суровой,  
 Шумѣль тутъ грозно лѣсь дубовой,  
 Съ пустыннымъ вѣтромъ рѣчи вель,  
 И плаваль въ облакахъ орель;  
 Синѣла степь безгранной далью,  
 И, притаясь за валъ, съ пищалью,  
 Зажечь готовый свой маякъ,  
 Татаръ выглядывалъ казакъ.  
 Но вдругъ все жизнью закипѣло,  
 Въ лѣсу желѣзо зазвенѣло—  
 И падаль дубъ; онъ отжилъ вѣкъ...

И, вмѣсто звѣря, человѣкъ  
Въ пустынѣ воцарился смѣло.

Проснулись воды, и росли,  
Гроза Азова, корабли.  
Тѣ дни прошли. Уединенно  
Теперь подъ кровлей обновленной,  
Стоитъ на островѣ нагомъ  
Безмолвный прадѣдовскій домъ,  
Цейхгаузъ старый. Тихи воды.  
Гдѣ былъ Петра пріютъ простой,  
Купецъ усердною рукою  
Одинъ почтилъ былые годы—  
Часовню выстроилъ, и въ ней  
Затеплилъ набожно елей.  
Но городъ выросъ. Въ изголовье,  
Онъ положилъ степей приволье,  
Плечами горы придавилъ,  
Болота камнями покрылъ.  
Одно пятно: въ семье громадной  
Высоко-поднятыхъ домовъ,  
Какъ нищіе въ толпѣ нарядной,  
Торчатъ избенки бѣдняковъ;  
Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,  
Онѣ ползутъ по крутизамъ  
И смотрятъ тусклыми очами  
На богачей по сторонамъ;  
Того и жди,—гроза подуетъ,  
И полетятъ онѣ въ оврагъ...  
Таковъ домишко, гдѣ горюетъ  
Съ женой и дочерью Кулакъ:  
На крышѣ старая заплаты,  
Пріютъ крикливыхъ воробьевъ;  
Карнизъ обрушиться готовъ;

Стѣна крива; заборъ досчатый  
 Подпертъ осиновымъ коломъ;  
 Дворъ тѣсный смотрѣть пустыремъ;  
 Ростеть трава вокругъ крылечка;  
 Но садъ... въ садъ послѣ завернемъ;  
 Теперь мы въ горенку войдемъ.  
 Она свѣтла. Икона, печка,  
 Съ посудой шкафъ, сосновый столъ,  
 Скамейка, стульѣ безъ спинки,  
 Комодъ пузатый подъ замкомъ—  
 Все старина, за то соринки  
 Тутъ не замѣтишь ни на чемъ.

## II.

Хозяйка, добрая, здорово!  
 Ты вѣчно съ варежкой въ рукѣ,  
 И въ этомъ бѣломъ колпакѣ,  
 И все молчишь! Порою слово  
 Промолвишь съ дочерью родной,  
 И вновь разбитый голосъ твой  
 Умолкнетъ. Бѣдная Арина!  
 Повысушки до поры  
 Нужда, да тяжкая кручина  
 Тебя, какъ травушку въ жары;  
 Поникла голова, чтѣ колось,  
 И посѣдѣль твой русый волосъ;  
 Одна незлобная душа,  
 Осталась въ горѣ хороша.

И ты, красавица, съ работой  
 Сидиши въ раздумья подъ окномъ;  
 Одной привычною заботой

Всю жизнь вы заняты вдвоемъ...  
 Глядишь на улицу тоскливо,  
 Румянецъ на лицѣ поблекъ,  
 И спицы движутся лѣниво,  
 Лѣниво вяжется чулокъ.  
 О чѣмъ тоска? откуда скука?  
 Коса, чтоб черная смола,  
 Какъ бѣлый воскъ рука бѣла...  
 Душа болитъ? Неволя мука?..  
 Чтѣ дѣлать! подожди, пока  
 Прогонить вѣтеръ облака \*)

„Охъ, Саша! полно сокрушаться!  
 Вотъ ты закашляешь опять...  
 Промолвила старушка мать:  
 Ну, въ садъ пошла-бы прогуляться,  
 Виши, вечеръ чудо!“

— Все равно!  
 И тутъ не дурно: вотъ въ окно  
 Свѣтъ Божій виденъ — и довольно! —

„Глядѣть-то на тебя мнѣ больно!  
 Блѣдна, вотъ точно полотно...“  
 И мать качала головою  
 И съ Саши не сводила глазъ.  
 „Поди-ты! сокрушаешь насъ  
 Старикъ! надѣ дочерью родною  
 Смѣется... Чѣмъ-бы не женихъ  
 Столляръ-сосѣдъ? Уменъ и тихъ.  
 Три раза сваха приходила,  
 Ужъ какъ, вѣдь, старика просила!  
 Одинъ отвѣтъ: на днѧхъ приди...“

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № 10-й.

Подумать надо... погоди...  
 Ты вотъ что, Саша: попытайся,  
 Съ отцомъ сама поговори,  
 Чуть будетъ весель<sup>4</sup>.

— Дожидайся!  
 Я думаю, въ ногахъ умри,—  
 Откажетъ... —

Мать не отвѣчала,  
 Поникнувъ грустно головой.  
 — Чуть будетъ весель... Боже мой!  
 За что-же я-то потеряла  
 Веселье? Вѣдь, къ чужимъ прійдешь,  
 Тамъ свѣтъ иной, тамъ отдохнешь;  
 А при отцѣ языкъ и руки—  
 Все связано! когда со скуки  
 Въ окно глядишь, и тутъ запретъ!  
 Ужъ и глазамъ-то воли нѣть!

„Все осуждать его не надо.  
 Извѣстно—старъ, кругомъ нужда,  
 На рынкѣ хлопоты всегда,  
 Вотъ и беретъ его досада.  
 Онъ ничего... вѣдь, онъ не золь:  
 На часъ вспылитъ, и гнѣвъ прошелъ<sup>4</sup>.  
 — Я такъ... я развѣ осуждаю?  
 И день—печаль, и ночь—тоска,  
 Тутъ по неволѣ съ языка  
 Сорвется слово.—

„Знаю, знаю!  
 Какъ быть? живи, какъ Богъ велѣлъ...  
 Знать, положенъ таковъ предѣлъ<sup>4</sup>.  
 . . . . .

Заря погасла. Мѣсяцъ всходитъ,  
На стекла блѣдный свѣтъ наводитъ;  
За лѣсь свалились облака;  
Въ туманѣ городъ и рѣка;  
Не шевельнетъ листомъ осина;  
Лиши гдѣ-то колесо гремитъ,  
Да соловей въ саду свистить.  
Молчатъ и Саша, и Арина,  
Ихъ спицы бѣдныя однѣ  
Не умолкаютъ въ тишинѣ.

Какъ хорошо лицо больное  
Старушки сгорбленной! оно,  
Какъ извяяніе живое,  
Все мѣсяцемъ освѣщено.  
Въ рукахъ на мигъ уснули спицы,  
Глаза на дочь устремлены,  
И неподвижныя рѣсицы  
Слезой докучной смочены.  
Сверкаетъ небо огоньками,  
Не видно тучки въ синевѣ,  
А у старушки облачками  
Проходятъ думы въ головѣ:  
Безъ дѣтокъ грусть, съ дѣтьми не радость!  
Сынокъ въ землѣ давно лежитъ,  
Осталась дочь одна подъ старость—  
И эту горе изсушить.  
Ну, что ей дѣлать, если свахѣ  
Старикъ откажеть? Какъ тутъ быть?  
Я чаю, легче-бы на плахѣ  
Бѣдняжкѣ голову сложить!  
И безъ того ужъ ей несладко:  
Работа, скука, нищета...  
Всю жизнь свою, моя касатка,

Что въ клѣткѣ птица, заперта.  
 Когда и выйти доведется,  
 Домой придетъ—печальный домъ...  
 Глядишь, на грѣхъ стариkъ напьется,  
 О-охъ, бѣла мнѣ съ старикомъ!  
 Ну, та-ль она была съ-измала?  
 Бывало, пѣла и плясала,  
 На мѣстѣ часу не сидитъ,  
 Вотъ словно колокольчикъ звонкій,  
 Веселый смѣхъ и голосъ тонкій  
 Въ саду, иль въ горенкѣ звенитъ!  
 Бывало, чуть съ постельки встанетъ,  
 Посмотришь—куколки достанетъ,  
 Толкуетъ съ ними: „Ты вотъ такъ  
 Сиди, ты глупая дѣвченка...  
 Вотъ и братишка твой дуракъ,  
 Вамъ надо няню“. И рученкой  
 Начнетъ ихъ эдакъ тормошить...  
 Возьметъ подастъ имъ на бумажкахъ  
 Водицы въ желудевыхъ чашкахъ.  
 „Ну, вотъ, моль, чай, извольте пить!“—  
 —Уймися, говорю, вострушка,—  
 Отецъ прикрикнетъ:—посѣку!—  
 Бѣдняжка сядетъ въ уголку,  
 Наморщить лобикъ, какъ старушка,  
 И, хмурится. Отецъ съ двора—  
 Опять потѣшная игра.

И мать работу положила,  
 Печной заслонъ въ потьмахъ открыла,  
 Достала щепкой уголекъ  
 И стала дуть. Вдругъ огонекъ  
 Блеснуль и снова замираетъ.  
 Вотъ щепка вспыхнула едва,—

Изъ мрака смутно выступаетъ  
Старушки блѣдной голова.

### III.

Ужъ столъ накрытъ, и скудный ужинъ  
Готовъ. Покой старушкѣ нуженъ,  
Заснуть-бы время,—мужа ждеть;  
Скрипить крылечко,—онъ идетъ.  
Сюртукъ до пять, въ плечахъ просторенъ,  
Картузъ въ пыли, ни рыжъ, ни черенъ,  
Спокоенъ строгій, хитрый взглядъ.  
Густыя брови внизъ висятъ,  
Угрюмо супясь. Лобъ широкій  
Изрытъ морщинами глубоко,  
И теменъ волосъ, но сѣда  
Подстриженная борода.

„Усталъ, Лукичъ? жена спросила:  
Легко-ль, чуть свѣтъ ушель съ двора!  
Садись-ко ужинать: пора!“  
— Не каплетъ сверху... заспѣшила!  
Отвѣтилъ мужъ: успѣешь, другъ!  
И, снявъ поношенный сюртукъ,  
На гвоздь повѣсиль осторожно,  
Рубашки воротъ распустилъ,  
Лицо и руки освѣжилъ  
Водою.—Ну, теперь вотъ можно  
За щи приняться.—

„Виши, родной!  
Старушка молвила: не спится!

Всю ноченьку провеселится,  
Поди, какъ свищеть!

— Кто такой?  
 Отвѣтилъ мужъ скороговоркой,  
 Ломая хлѣбъ съ сухою коркой.  
 „Соловьюшекъ у насъ въ саду“.  
 — „Сыть, стало. Коли-бы зналъ нужду,  
 Не пѣль-бы. Мнѣ вотъ не поется,  
 Какъ хлѣбъ-атъ пѣтомъ достается...  
 Ты, Саша, ужинала что-ль?“—  
 „Мы ждали васъ“.

— Подай мнѣ соль.—  
 Дочь подала.

— За ужинъ сѣла,  
 Такъ ъшь. Ты что не весела? —  
 „Я ничего“.

— Гм... дурь нашла!  
 Такъ, такъ! —

Старушка поглядѣла  
 На Сашу. Саша поняла  
 И ложку не хотя взяла.  
 — Охъ, эта, дѣвичья кручина!  
 Отецъ, нахмурясь, продолжалъ  
 И мокрой ложкой постучалъ  
 Объ столь: все блажь! Подбавь, Арина,  
 Мнѣ каши... да! все блажь одна!  
 Я знаю отъ чего она,  
 Смотри! —

„Опять не угодила!  
 За смѣхъ—упрекъ, за грусть—упрекъ...“

Ну, грустно,—что-жъ тутъ за порокъ?  
Чтб за бѣда?

— Заговорила!  
Языкъ прикусишь! берегись!  
Виши ты!.. — И жилы напряглись  
На лбу отца. Гроза сбиралась.  
Но Саша знала старика,  
Словамъ дать волю удержалась, —  
И пронеслися облака  
Безъ грома.

Чашка опустѣла.  
Лукичъ усы свои утеръ  
И, помолившись, кинулъ взоръ  
На Сашинъ хлѣбъ. „Ломтя не съѣла...  
Сердита, значитъ... Прибирай!  
Есть квасъ-то на ночь?“

— Есть немного. —  
„Ну, принеси. Сейчасъ ступай!“  
— Куда-жъ идти? Теперь порога  
Не сышешь въ погребѣ: не день... —  
„Ну, ну! пошевельнуться лѣны!“

Дочь вышла. На лицѣ Арины  
Слегка разгладились морщины.  
Старикъ, молъ, трезвъ... Иль онъ любви  
Не знаетъ къ дѣтищу родному?  
Скажу про Сашу... Не чужому...  
Что-жъ! Господи благослови!  
И подлѣ мужа робко сѣла.  
„Лукичъ!“

— Ну, что тамъ?

„Я хотѣла...

Того... съ тобой поговорить...

Не станешь ты меня бранить?“

— За что? —

„Начать-то я не смѣю“.

— Ну, ладно, ладно! говори! —

„Виши, мы вотъ стари, я болѣю,  
Совсѣмъ свалюсь, того смотри,  
Обрадуй ты меня подъ старость —  
Отдай ты дочь за столяра!“

— Обрадуй... что-же тутъ за радость?

Вотъ ты, къ примѣру, и стара,

А дура!.. стало есть причина,

Зачѣмъ я медлю... Эхъ, Арина!

Пора-бы, кажется, умнѣть! —

„Какъ мнѣ на Сашу-то глядѣть?

Она часъ отъ часу худѣеть.

Вѣдь, я ей мать!“

— ПовеселѣТЬ!

Ты знаешь, дѣвичья слеза,

Чтѣ утромъ на травѣ роса:

Пригрѣеть солнце — и пропала. —

„Пусть я отрады не видала,

Хоть ей-то, дочери, добра

Ты пожелай!“

— Въ постель пора!

Оставь, пока не разсердился! —

Старушка въ спальню побрела.

Тамъ передъ образомъ свѣтился

Огонь. Въ углу кровать была,  
 Безъ полога. Подушекъ тѣни  
 Какъ будто спали на стѣнѣ.  
 Арина стала на колѣни,  
 И долго, въ чуткой тишинѣ,  
 Передъ иконою святою  
 Слеза катилась за слезою.

Межъ тѣмъ Лукичъ окно открыль  
 И трубку медленно куриль;  
 Сквозь дымъ, глаза его безъ цѣли  
 На кудри яблоней глядѣли.  
 „Ну, завтра ярмарка. Авось  
 На хлѣбъ добуду. Плохо стало!  
 Ходьбы и хлопотни не мало,  
 А прибыли отъ нихъ—хоть брось!  
 Другимъ, къ примѣру, удается:  
 Казна валится, точно кладъ;  
 Ты, право, грошу быль-бы радъ,  
 Такъ нѣть! Гдѣ тонко, тутъ и рвется.  
 Порой что въ домъ и попадетъ,  
 Нужда метлою подмететь.  
 Вотъ, дочь невѣста... все забота!  
 И сватаютъ, да нѣть разсчета: —  
 Сосѣдъ нашъ честенъ, всѣмъ хорошъ,  
 Да голь большая, вотъ причина!  
 Чтобъ честь-то, коли нѣть алтына?  
 Далеко съ нею не уйдешь.  
 Безъ денегъ честь—плохая доля!  
 Согнешься не хотя кольцомъ  
 Передъ зажиточнымъ плутомъ:  
 Нужда—тяжелая неволя!  
 Мнѣ дочь и жаль! я человѣкъ,  
 Отецъ, къ примѣру... да не вѣкъ

Мнѣ мыкать горе. Я не молодъ.  
 Лукичъ—кулакъ! кричитъ весь городъ.  
 Кулакъ... Душа-то несосѣдъ,  
 Сплутуешь, коли хлѣба нѣтъ.  
 Будь зять богатый, будь помога,  
 Не выйди я изъ-за порога,  
 На мѣстѣ дай мнѣ Богъ пропасть,  
 Коли подумаю украсть!  
 А есть женихъ, навѣрно знаю...  
 Богатъ, не долженъ никому,  
 И Саша нравится ему.  
 Давно я сваху поджидаю<sup>4</sup>.

Такъ думалъ онъ. А вѣтерокъ  
 Его волосъ едва касался,  
 И въ трубкѣ красный огонекъ  
 Подъ сѣрымъ пепломъ раздувался.  
 Порой катилася звѣзда,  
 По небу искры разсыпала  
 И гасла. Ночь благоухала,  
 И бѣлыхъ облаковъ грѣда  
 Плыла на сѣверъ. Жадно пили  
 Росу поникшіе листы,  
 И звуки смутные ловили.  
 При свѣтѣ мѣсяца кусты,  
 Бросая трепетныя тѣни,  
 Казалось, въ царство сновидѣній  
 Перенеслись. Межъ ихъ вѣтвей  
 Въ потемкахъ щелкалъ соловей.

Быть-можеть, съ дѣтства взятый въ руки  
 Разумной матерью, отцомъ,  
 Лукичъ избѣгъ-бы жалкой муки—  
 Какъ нынѣ, не былъ Кулакомъ

Великъ, кто взросъ среди порока,  
 Невѣжества и нищеты,  
 И остается безъ упрека  
 Жрецомъ добра и правоты;  
 Кто видитъ горе, знаетъ голодъ,  
 Усталый, чахнетъ за трудомъ,  
 И крѣпкой волей вѣчно молодъ,  
 Всегда идетъ прямымъ путемъ!  
 Но пусть, какъ мученикъ сквозь пламень,  
 Прошелъ ты, полной чистоты,  
 Остановись, поднявши камень  
 На жертву зла и нищеты!  
 Корою грубою закрытый,  
 Быть-можеть, въ грязной нищетѣ  
 Добра зародышъ неразвитый  
 Горить, какъ свѣчка въ темнотѣ!  
 Быть-можеть, жертвѣ заблужденья  
 Доступны рѣдкія мгновенія,  
 Когда казнить она свой вѣкъ  
 И плачѣть, сердце надрывая,  
 Какъ плакалъ передъ дверью рая  
 Впервые падшій человѣкъ!

## IV.

Еще ребенкомъ, нестѣсненный  
 Въ привычкахъ жизни обыденной,  
 Лукичъ бездѣлье полюбилъ.  
 Своимъ Карпушкой занять былъ  
 Торгашъ, отецъ его, немного,  
 Хоть и твердилъ сынишкѣ строго:  
 „А вотъ, Господь дастъ, доживемъ,  
 Мы поглядимъ, какимъ добромъ

Воздашь отцу за попеченье.  
 Тутъ можно человѣкомъ быть:  
 Съизмала началось ученье —  
 Псалтырь и все: тутъ можно жить!  
 Я и читать вотъ не учился,  
 Да вышелъ въ люди: съть, обуть...“  
 И подъ хмѣлькомъ всегда бранился:  
 „Ты, дескать, баловень! ты плутъ!..“  
 И сына за вихоръ поймаеть,  
 Такъ, ни за что... „Ну, вотъ, моль, знай!“  
 Деретъ, деретъ — до слезъ таскаеть,  
 И молвить: „Ну, ступай, играй!“  
 А мать свое хозяйство знала,  
 Въ печи дрова со счетомъ жгла,  
 Горшки да чашки берегла,  
 И ей заботы было мало,  
 Когда зимой по цѣлымъ днямъ,  
 Забросивъ книжку и указку,  
 Сынокъ катался по горамъ.  
 Раздолье!.. легкія салазки  
 Со скрипомъ по снѣгу летятъ,  
 На нихъ бубенчики звенятъ.  
 „Какъ смѣль ты утромъ не являться?“  
 Ему учитель говорилъ.  
 — У насъ молебень въ домѣ былъ,  
 Мнѣ батюшка велѣлъ остататься. —  
 „Ты до обѣда гдѣ ходилъ?  
 Кричалъ отецъ: часъ цѣлый ждали“.  
 — Учитель не пускалъ домой:  
 Зады сидѣли повторяли... —  
 Бывало, лѣтнею порой,  
 Тайкомъ залѣзетъ въ садъ чужой,  
 Румяныхъ яблокъ наворуетъ,  
 Тащить ихъ къ матери. „Гдѣ взялъ?“

— А это мнѣ Сенютка далъ,  
 Вотъ ъшь!—И мать его цѣлуется:  
 Поди, моль, родила сынка,  
 Не съѣсть безъ матери куска!  
 Порой грачей въ гнѣздѣ поймаетъ:  
 „Эй, Сенька! у меня грачи!  
 Давай мѣнять на калачи!“  
 — Не надо!—Сенька отвѣчаетъ.  
 „Ну и не надо... вотъ имъ! вотъ!“  
 И головы грачамъ свернетъ,  
 Парнишку больно оттаскаетъ  
 И прибѣжитъ домой, реветъ.  
 „О чѣмъ ты? мать въ испугѣ спроситъ.  
 — Да вотъ, Сенютка, сынъ голоситъ:  
 Моихъ грачей закинулъ въ ровъ  
 И надаваль мнѣ тумаковъ. —

Карпушка на ноги поднялся  
 И все безъ дѣла оставался,  
 Покамѣстъ вздумалось отцу  
 Въ науку мудрую къ купцу  
 Его отдать. Тутъ всѣ разсчеты —  
 Торговыхъ плутней извороты  
 Онъ изучилъ, и кошелекъ  
 Казной хозяйствкою, какъ могъ,  
 Наполнилъ. Годы шли. Скончался  
 Его отецъ; угасла мать.  
 Невѣсту долго-ли сыскать?  
 И сынъ женился. Распрошался  
 Съ купцомъ; заторговалъ мукой;  
 И какъ по маслу, годъ-другой,  
 Все шло. Но вдругъ за пень задѣло:  
 Тутъ неудача, тамъ сплошалъ...  
 Спустилъ, какъ воду, капиталъ

И запилъ: горе одолѣло!  
 Искать мѣстечка—стыдъ большой;  
 Искать рѣшился - отказали.  
 А ремеслу не обучали;  
 Подумалъ и махнулъ рукой:  
 — Тыфу, чортъ возьми! да чтоб за горе!  
 Пойду на рынокъ по утру,  
 Такъ вотъ и деньги! Рынокъ—море!  
 Тамъ рыба есть, умѣй ловить!  
 Достанетъ какъ нибудь прожить!“  
 И съ той поры, лѣтъ тридцать сряду,  
 Онъ всякой дрянью промышлялъ,  
 И Лукича весь городъ зналъ  
 По разнымъ плутнямъ, по наряду,  
 По вѣчной худобѣ сапогъ  
 И по загару смуглыхъ щекъ.

## V.

Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта.  
 Народомъ площадь вся покрыта.  
 На море пестрое головъ  
 Громада бѣлая домовъ  
 Глядитъ стеклянными очами;  
 Недвижная затоплена  
 Вся солнца золотомъ она.  
 Людъ Божій движется волнами...  
 И кички съ острыми углами,  
 Подолы красные рубахъ,  
 На черныхъ шляпахъ позументы,  
 И вѣтромъ въ девичьихъ косахъ  
 Едва колеблемыя ленты—  
 Вся деревенская краса

Вотъ такъ и мечется въ глаза!  
 Изъ лавокъ, хитрая приманка,  
 Высматриваютъ кушаки,  
 И разноцвѣтные платки,  
 И разноцвѣтная серпянка.  
 Тутъ груды чашекъ и горшковъ,  
 Корчагъ, боченковъ, кувшиновъ;  
 Тамъ—лыки, ведра и ушаты,  
 Лотки, подойники, лопаты,  
 Колеса... „Гдѣ? Какая дрянь?  
 Ты вотъ на ступицу-то глянь!“  
 Торгашъ плечистый повторяетъ  
 И бойко колесомъ вертитъ.  
 А парень крендель доѣдаетъ,  
 — Сложи полтину, говоритъ:  
 Возьму и дегтю, вотъ мазницы... —  
 „Нѣть врешь! отдай за рукавицы!  
 Ты гаманокъ-то свой не прячь!“  
 Кричить нальво бородачъ.  
 Здесь давка: спорятъ съ мужиками  
 За клячу пѣгую купцы,  
 И Лазаря поютъ слѣпцы,  
 Сбирая мѣдными грошами  
 Дань съ сострадательныхъ зѣвакъ.  
 Набить-биткомъ толпой гулякъ  
 Приютъ разгула и кручины,  
 Подъ кровлею изъ парусины.  
 „Охъ, православные, я пьянь!“  
 Въ бумажномъ колпакѣ и блесткахъ,  
 Кривляясь съ бубномъ на подмосткахъ,  
 Народъ дурачить шарлатанъ  
 И корчить рожу... „Какъ обмань!“  
 Повертывая головою,  
 Цыганъ проносится съ божбою:

„Коню не двадцать лѣтъ, а пять.  
 Жены, дѣтей мнѣ не видать!“  
 Веселый говоръ, крикъ торговли,  
 Пискъ дудокъ, пѣсни мужичковъ  
 И ранній звонъ колоколовъ—  
 Все въ гуль слилось. Межъ тѣмъ оглобли  
 Приподнялись поверхъ возовъ,  
 Какъ лѣсь безъ вѣтокъ и листовъ.

Лукичъ на ярмаркѣ съ разсвѣта,  
 Успѣлъ ужъ выпить, закусить,  
 Купить два старыхъ пистолета  
 И съ барышемъ кому-то сбыть.  
 Теперь онъ съ бабою хлопочетъ,  
 Руками уперся въ бока,  
 Лицо горитъ, чуть не соскочить  
 Картузъ съ затылка,—рѣчь бойка.  
 „Ты вотъ что, умная молодка,  
 По сторонамъ-то не смотри,  
 Твой холстъ, къ примѣру, не находка...  
 Почемъ аршинъ-то? говори“.  
 — По гривнѣ я тебѣ сказала;  
 Вонъ и другое такъ берутъ.—  
 „Не ври! куда ты указала!  
 Тамъ по три гроша отдаются!“  
 — И, що-ты! аль я одурѣла!  
 Поди-ко цѣну объявилъ!  
 Купецъ четыре мнѣ сулилъ,  
 Да я отдать не захотѣла...—  
 Вонъ онъ стоитъ...—

„Ха, ха! ну такъ!  
 Отдай! и ты не догадалась!  
 Эхъ, дура, съ кулакомъ связалась!

Вѣдь, онъ обмѣряетъ! кулакъ!  
 А я на совѣсть покупаю...  
 Ей, голова, почемъ пенька?“  
 Остановивши мужика,  
 Онъ закричалъ.

— Спасибо! знаю!...—  
 „Должно, нашъ братъ училъ тебя!“  
 Лукичъ подумаль про себя.  
 И снова съ бабою заспорилъ,  
 Голубушкою называлъ,  
 Разъ десять къ чорту посыпалъ,  
 И на послѣдокъ урезонилъ.  
 Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,  
 Разъ!.. разъ!.. и смѣрена холстина.  
 „Гляди вотъ: двадцать три аршина“.  
 — Охъ-ма! тутъ двадцать семь какъ-разъ!—  
 „Чтѣ, у тебя иль нѣту глазъ,  
 Аршинъ казенный, понимаешь!  
 Вотъ на... не видишь, два клейма!“  
 — Да какъ же-такъ?—

„Не довѣряешь?“  
 — Я дома мѣрила сама.—  
 „Тыфу! провались ты! я съумѣю  
 Безъ краденой холстины жить!  
 Глаза что-ль ею мнѣ накрыть?  
 Такъ я, къ примѣру, крестъ имѣю?“  
 И кошелекъ онъ развязалъ,  
 На грину бабу обсчиталъ  
 И торопливо отвернулся:  
 Прощай, молъ, вѣрно!.. недосугъ!  
 Пошелъ-было въ толпу—и вдругъ  
 Съ помѣщикомъ въ очкахъ столкнулся.

„Мое почтенье, Климъ Кузьмичъ!  
Не купите-ли, сударь, бричку?  
Отличный сортъ!“

— Ба, ба! Лукичъ!  
Ты не забылъ свою привычку—  
Прислуживаешь, братецъ, всѣмъ?  
„Чтоб дѣлать, сами посудите,  
Я тоже хлѣбъ, къ примѣру, ъмъ...  
А бричка лешева-сь! купите!“  
— Нѣтъ, я на бричку не купецъ.  
Не попадется-ль жеребецъ?  
Вотъ не найду никакъ, мученье!  
А нуженъ къ пристяжнымъ подъ шерсть—  
Караковый.—

„Есть, сударь, есть!  
Рысакъ! А бѣгъ—мое почтенье!“  
И онъ пришелкнулъ языкомъ:  
„Да-сь! одолжу, моль, рысакомъ!“  
— Ты плутъ естественный, я знаю;  
Смотри, Лукичъ, не обмани!—  
„Ну, вотъ-сь, помилуйте! ни-ни!  
Я васъ съ другими не сравняю.  
Тутъ... Вамъ Скобѣевъ незнакомъ?  
— Нисколько.—

„Онъ, сударь, кругомъ  
Въ долгахъ: весь въ карты проигрался,  
Теперь рысакъ одинъ остался...  
Ну, конь! Глазами, ваша честь,  
Вотъ такъ, къ примѣру, хочетъ сѣсть!  
Чортъ знаетъ! просто заглядѣнье!“  
— Да правда-ль?—

„Не далеко домъ,  
Коли угодно завернемъ,  
Посмотримъ“.

— Сдѣлай одолженье!  
А помнишь-ли, купилъ ты мнѣ  
Собаку какъ-то по веснѣ?—  
„Плохенька развѣ?“

— Околъла,  
Не взялъ-бы чортъ знаетъ чего!—  
„Охотиться не захотѣла...  
Поможемъ, сударь, ничего...  
Ахъ! тутъ вотъ есть у офицера  
Собака... кличку-то забылъ,  
Вчера деньгищикъ и говорилъ...  
Ну, и животное, къ примѣру:  
Брось въ воду гриненникъ—найдетъ!  
Вотъ вамъ купить-бы“.

Радъ душою!  
Но для чего-жъ онъ продаетъ?—  
„Чтѣмъ дѣлать станете съ нуждою!  
Наслѣдство дядя обѣщалъ,  
А при смерти не завѣщалъ,  
Ѣсть нечего... семья большая...  
— А! вотъ чтѣ! баринъ отвѣчалъ  
И, гибкой тросточкой играя,  
Поглядывалъ по сторонамъ  
И напѣвалъ: „тири-та-рамъ...“

---

## VI.

„Вотъ-съ двухъ-этажный, съ мезониномъ...“  
 Лукичъ помѣщику сказалъ  
 И домъ Скобѣева, аршиномъ  
 Махнувъ на право, показалъ.  
 „Эй, кучеръ! соня“!

Кучеръ плотный,  
 Безсмысленно разинувъ ротъ,  
 Дремалъ на камнѣ у воротъ.  
 „Иль ночь-то не спаль, беззаботный?“  
 Лукичъ у кучера спросилъ.  
 Тотъ вздрогнулъ и глаза открылъ,  
 Досталъ тавлинку изъ кармана  
 И сильно въ ноздри потянуль.  
 „Гдѣ баринъ?“

— Ась? А... Чхи! Татьяна  
 Мнѣ говорила... чхи!.. пьетъ чай.—  
 „Потише ротъ-то разѣвай!  
 Виши, зачихалъ. Эхъ, ты, пріятель!  
 На рысака вотъ покупатель...“  
 — Ну, чтоб-же? стало показать?—  
 „Вѣдь, не заочно покупать!“  
 — А баринъ?—

„Выводи, онъ знаетъ“.  
 И кучеръ скрылся „Климъ Кузьмичъ!  
 Сказалъ въ полголоса Лукичъ:  
 Снаровка дѣлу не мѣшаетъ—  
 Ему на водку надо дать...“  
 — Ну, дураку-то!—

„Какъ узнатъ!

Бываетъ, и дуракъ годится.  
 Онъ, рыжій чортъ, не постыдится  
 И господину понавреть,  
 Что нашъ-де конь намъ не подходитъ  
 И кормъ-де въ прокъ ему нейдетъ.  
 Ей-Богу-съ! Этотъ хамскій родъ  
 Господъ частенько за нось водитъ!“  
 Помѣщикъ смѣхомъ отвѣчалъ  
 И два четвертака досталъ.  
 Лукичъ въ коношню торопливо  
 Вошелъ и молвилъ: „живо! живо!“  
 Въ карманъ свой деньги опустилъ  
 И кнутъ у кучера спросилъ.  
 — Вонъ на стѣнѣ... не тутъ... правѣе,  
 Статья-то, слышь, не подойдетъ:  
 Вѣдь, конь съ запаломъ—зареветъ.—  
 „Ты, не крути, держи умнѣе,  
 А ну ка, дорогой рысакъ,  
 Подставь бока... Вотъ такъ! Вотъ такъ!  
 Прр! прр! На дворъ его скорѣе!..“

И бѣдный конь черезъ порогъ  
 Вдругъ сдѣлалъ бѣшеный скачокъ,  
 Глазами дико покосился  
 И началъ землю рѣть ногой.  
 Лукичъ, смѣясь, посторонился —  
 Виши, дескать, бойкій сталъ какой.  
 Помѣщикъ подошелъ. Рукою  
 Коня по шеѣ потрепалъ  
 И съ лоскомъ гривою густою  
 Полюбовался. Холку взялъ,  
 Поправилъ на бокъ, осторожно  
 Ощупалъ ноги, мышки, грудь,

И молвилъ: „надобно взглянуть  
На зубы“.—Очено возможно,  
Кудрявый кучерь отвѣchalъ  
И зубы рысаку разжалъ.  
„Э! конь-то молодой! три года...  
Лиши́ сталъ окраины ронять...  
А ну, нельзя-ли пробѣжать?  
Стой! Стой! Да, недурна порода!“  
— А бѣгъ-то, бѣгъ-то, Климъ Кузьмичъ!  
А шея! говорилъ Лукичъ:  
Позвольте-сь, вотъ и самъ хозяинъ.—

Хозяинъ былъ румяный баринъ,  
Съ усами, съ трубкою въ рукѣ,  
Въ фуражкѣ, въ черномъ сюртукѣ,  
Со знакомъ службы безпорочной,  
Обрить отлично, сложенъ прочно,  
Взглядъ строгъ, на выкатѣ глаза  
И подъ гребенку волоса.

„Скобѣевъ, сударь. Честь имѣю...  
А вы-сь? коли спросить я смѣю...“  
Онъ покупателю сказалъ.

— Долбинъ, помѣщикъ. Я узналъ,  
Что рысака вы продаете...—  
„Такъ точно“.

— Дорого-ль возьмете?—  
„Позвольте въ домъ васъ попросить“.  
— Зачѣмъ-же? можно тутъ рѣшить.—  
„Четыреста. Коню три года...“  
— Я видѣлъ. А чьего завода?—  
„Орловой“.

— Дорогъ-съ. Не дамъ.  
А вотъ за триста—по рукамъ.—

„Я не торгашъ, предупреждаю.  
Три съ половиною даютъ,  
Придти хотѣли—и придутъ“.  
Все вретъ, Лукичъ подумаль: знаю...  
И молвилъ: „я и приводилъ“.  
— Ну! ну! Скобѣевъ перебилъ.  
„Я не обидѣлъ васъ словами;  
Чтд-жъ! наше дѣло сторона.  
Не дорогая, моль, цѣна,  
Я вотъ что...“ и старикъ руками  
Развелъ.

Хозяинъ былъ упрямъ,  
И плохо подвигалась сдѣлка.  
„Ударьте, сударь, по рукамъ!  
Лукичъ, какъ бѣсь, шепталъ украдкой  
Помѣщику: вѣдь, дѣло гадко!  
Скобѣевъ спятится вотъ-вотъ...  
Кончайте! сотня не разсчетъ!“

Долбинъ стоялъ въ недоумѣни,  
Поглядывалъ на рысака,  
Картина-конь! на старика,—  
Тотъ весь дрожалъ отъ нетерпѣнья.  
Усами шевелилъ, мигалъ,  
Къ карману руку прикладалъ...  
Не прозѣвай, моль! Чтб ты смотришь,  
Покаешься, да не воротишь,  
Мнѣ чтб! я не желаю зла...  
И сдѣлка кончена была.

Кому не святы обычай русской!  
 И вотъ за водкой и закуской  
 Скобѣевъ и Долбинъ сидятъ.  
 Червонцы на столѣ звенятъ;  
 Лицо хозяина сияетъ;  
 Онъ залпомъ рюмку выпиваетъ,  
 Остатки въ потолокъ — вотъ такъ!  
 Дескать, попрыгивай, рысакъ.  
 Долбинъ поморщился немнога,  
 Но тоже выпилъ. У порога  
 Лукичъ почтительно стоялъ  
 И очереди ожидалъ:  
 Хватиль и молвиль: „захромаю  
 Съ одной-съ...“

Скобѣевъ не слыхалъ;  
 Бесѣду съ гостемъ продолжалъ:  
 „Такъ, вотъ что, Климъ Кузьмичъ! я знаю  
 Имѣнья ваше... проѣзжалъ...  
 Земли довольно...“

— Рукъ немнога!  
 Душъ тридцать. Впрочемъ не бѣда:  
 На мѣсячинѣ всѣ —

„Ахъ, да!  
 Мысль не дурна“.

— Но надо строго  
 Слѣдить. Внимательность нужна.—  
 „Лѣнятся?“

— Ужасъ! Разоряютъ!  
 Заставиши сѣять, сѣмена

За голенища засыпаютъ,  
Порою въ землю зарываютъ!—  
„Неужто?“

— Просто, нѣтъ души!  
Хоть коль на головѣ теши,  
Не убѣдишь!.. Я разъ гуляю...  
Гляжу—нырнуль мальчишка въ рожь...  
Э! погоди, молъ! не уйдешь!  
И чтоб-же сударь открываю?—  
„Ну-съ?“—

— Онъ колосья воровалъ!  
Шапченку верхомъ ихъ набралъ!  
На чтоб, молъ? Хлопаетъ глазами  
Да хнычетъ.—

„Этакой развратъ!  
Ужасно! и отцы молчатъ?“  
— Нашли тутъ! научаютъ сами...  
Не наѣдятся, чортъ возьми!  
Что хочешь, какъ ихъ не корми!—

„Вотъ саранча!“  
— Да-съ! наказанье!  
Вы какъ? на службѣ!—

„Да... служилъ...  
Въ комиссіи подъ лямкой былъ“.  
— Такъ... Вышли?—

„Родилось желанье  
Окончить, знаете, свой вѣкъ“

Покойно: грѣшный человѣкъ,—  
Усталъ трудиться“.

— Охъ, Создатель!  
Лукичъ подумалъ: вотъ и вѣрь!  
Не скажеть, вѣдь, за что теперь  
Онъ подъ судомъ... хорошъ пріятель!  
Давно-ль деревню-то купилъ?  
А говорить— подъ лямкой быль.—

Помѣщикъ всталъ и распростился,  
Онъ къ воротамъ,—Лукичъ во слѣдъ.  
„За трудъ, сударь“, и побожился:  
Коню-то, молъ, цѣны, вѣдь, нѣтъ.  
— Вотъ два цѣлковыхъ.—

„Что вы съ! мало!  
Какъ можно! это курамъ смѣхъ!  
Гм, время, значитъ, такъ пропало...“  
— Ну, сколько же?—

„Да пять не грѣхъ“.  
Долбинъ заспорилъ.

„Воля ваша,  
Хоть не давайте ничего!  
Мы, стало, служимъ изъ того...  
А все къ примѣру, глупость наша:  
Добра желаешь“.

— Эхъ, какой!  
Одинъ прибавлю. Да! постой!  
На счетъ собаки...—

Чтоб-жь, извольте!  
Оно,—вы скупы, да пойдемте:  
Я не сердитъ, служить готовъ<sup>4</sup>.  
— Теперь я занятъ.—

Мы съ двухъ словъ!<sup>4</sup>  
— Нѣтъ, нѣтъ! до завтра. Срокъ не  
дологъ.—  
Упустимъ: часъ въ торговлѣ дорогъ!<sup>4</sup>  
— Пустое! Кучерь! Эй! за мной'  
Веди коня!—

Ну, Богъ съ тобой!  
Лукичъ подумалъ: заскупился.  
Вотъ покупатель-то явился!  
Вѣдь, съ виду смотрить молодцомъ:  
Очками, тростью щеголяетъ  
И на спинѣ колпакъ съ махромъ,  
Чортъ знаетъ для чего, таскаетъ:  
А хорошенько разберешь—  
Выходитъ такъ себѣ... какъ глина,  
Чтѣ хочешь изъ нея сомнешь.  
Эхъ, плачетъ по тебѣ дубина!  
Добру съумѣла-бѣ научить,  
Да не кому дубиной бить!  
Ни то дуракъ... развѣсиль уши!  
Разинулъ ротъ, и вѣритъ чуши,  
Скобѣевъ будто задолжалъ,  
Все, значитъ, въ карты проиграль.  
Какъ разъ! Ему и проиграться!  
Да онъ удавится за грошъ!<sup>4</sup>

— Эй, старый хрычъ! кого ты ждешь?  
Пора въ-свояси убираться!

Съ крыльца Скобѣевъ забасилъ;  
 Лукичъ за козырекъ схватился.  
 Картузъ подъ мышку положилъ  
 И молвилъ: „ну, сударь, трудился!  
 Весь лобъ въ поту!“

„Платокъ возьми,  
 Утрись“.

— Утремся. Я дѣтьми  
 За вашу клячу-то божился,  
 Не грѣхъ за хлопоты мнѣ взять.—  
 „Виши, старый хрычъ, чѣмъ похвалился!  
 Я-бъ безъ тебя умѣль продать.  
 Взялъ съ одного, ну, знай и мѣру...  
 А много заплатилъ Долбинъ!“  
 — Съ него возьмешь! хоть-бы алтынъ,  
 Такая выжига, къ примѣру!—  
 „Все лжешь!“

— Бываетъ, что и лгу,  
 А передъ вами не могу:  
 Не хватить духу.—

„Это видно!..  
 Я-бъ далъ, нѣтъ мелочи въ дому ..“  
 — Да не шутите, сударь, стыдно!—  
 „Не забываться, ротъ зажму!“  
 — Благодаримъ: не вы ли сами  
 Просили вашу клячу сбыть?  
 „Взялъ съ одного, ты съ барышами—  
 И полно!..“

— Чтобъ и говорить!  
 Вотъ щедрость! Гм... мое почтенье!

Останься съ рюмкою вина...  
 Ну, дорогое угощенье!—  
 „Вишневка. Какъ? вѣдь, не дурна?“  
 — Хоть рубль-то дайте!—

„Чести много,  
 Пожалуй, на вотъ четвертакъ“.  
 — Себѣ возьмите, коли такъ!  
 Эхъ, баринъ! не боишься Бога!—  
 „Я говорилъ тебѣ —молчать!“  
 — Потише! можно испугать!..  
 Онъ четвертакъ, къ примѣру, вынуль,  
 Виши умникъ, дурака нашелъ...—  
 И свой картузъ Лукичъ надвинулъ,  
 Съ досады плонулъ— и ушелъ.

Горятъ огни зори вечерней.  
 Въ туманѣ прячутся деревни,  
 И все темнѣй, темнѣй вдали.  
 За пашнями, изъ-подъ земли,  
 Выходитъ пламя полосами  
 И начинаетъ тутъ и тамъ  
 Краснѣть по темнымъ облакамъ,  
 По синевѣ надъ облаками,  
 И смотришь — неба сторона  
 Висить, въ огнѣ потоплена.  
 Сквозь сумракъ поле зеленѣеть;  
 Угрюмо на краю небесь  
 Насупился кудрявый лѣсь,  
 Едва примѣтный онъ синѣеть,  
 Какъ будто туча приплыла  
 И въ полѣ ночевать легла.  
 Соха на пашнѣ опочила.  
 Дорожка торная мертвa,

Вдругъ началъ перепель: вва! вва!  
И смолкъ.

Но пыль, какъ дымъ, покрыла  
Весь городъ; такъ и ъсть глаза!  
Дворянской улицы краса,  
Поники тополи печально,  
Наводить грусть ихъ жалкій видъ;  
На стеклахъ кое-гдѣ горить  
Зори румяной лучъ прошальный,  
Напоминая цвѣтъ лица  
Полуживаго мертвага.  
Угрюмо смотритъ съ тротуара  
Чугунныхъ пушекъ рядъ нѣмой,  
Угрюмо ходитъ часовой  
На каланчѣ, и вѣсть пожара—  
И днемъ, и ночью черный флагъ  
Готовъ онъ вздернуть. Чтоб ни шагъ—  
Все вывѣски. Вотъ подъѣзжаетъ  
Телѣга, вдругъ, какъ изъ земли,  
Рука и палка выростаетъ,  
Телѣга скрылася вдали,  
Уже прохладенъ воздухъ сонный  
И мѣсяцъ отражень рѣкой,  
Но камень, солнцемъ раскаленный,  
Доселѣ тепель подъ ногой.

Лукичъ въ свой домикъ возвращался.  
Прищутивъ мутные глаза,  
Онъ шель одинъ, безъ картуза,  
И сильно въ стороны шатался,  
И вслухъ несвязно бормоталъ:  
„А вамъ-то чѣ? Вы чѣ такое?  
Виши умники! ну, погуляль!

Вѣдь, на свое, не на чужое!  
 Слышь, Климъ Кузьмичъ! каковъ рысакъ?  
 Плохонекъ? ну, впередъ наукай  
 На то, къ примѣру, въ морѣ щука,  
 Чтобъ не дремалъ карась... да, такъ!  
 Ты вѣрилъ на слово, и ладно;  
 Выходитъ дѣло, ты и глупъ!  
 А мнѣ-то чтѣ! мнѣ не накладно,  
 Мнѣ благо, что купецъ не скупъ.  
 Э! А собаку-ту, пріятель!  
 Молчишь, сердитъ за рысака...  
 Да, ты теперь не покупатель,  
 И не нуждаюся пока.  
 Да гдѣ я? Что за чертовщина!  
 Постой-ка, осмотрюсь кругомъ...  
 Я помню отъ угла мой домъ  
 Четвертый... экая причина!  
 Дай сосчитаю: вотъ одинъ,  
 Другой и третій... больше нѣту...  
 Тутъ пустошь и какой-то тынъ...  
 Да какъ-же прежде пустошь эту  
 Я здѣсь ни разу не видалъ?..  
 Тыфу, пропасть! ничего не знаю!  
 А! догадался! понимаю!  
 Не въ эту улицу попалъ<sup>4</sup>.

## VII.

Аринѣ сердце предвѣщало,  
 Что пьянь и грозенъ мужъ придетъ:  
 Чуть раздавался скрипъ воротъ,  
 Въ озноѣ и жаръ ее кидало.  
 Свѣча горѣла. За чулкомъ.

Грустила Саша подъ окномъ.  
 Заботамъ чуждъ, какъ уголь черный,  
 Не унывалъ лишь котъ про ворный:  
 Клубкомъ старушки на полу  
 Играли онъ весело въ углу.  
 „Иду!.. раздался на крылечкѣ  
 Знакомый крикъ: огня подать!“  
 И Саша бросилася къ свѣчкѣ,  
 Отца готовая встрѣтить.

Дверь распахнулась, онъ явился:  
 Лобъ сморщенъ, дыбомъ волоса.  
 Дырявый галстукъ на бокъ сбился  
 И кровью налиты глаза.  
 „Безъ картуза!“ всплеснувъ руками,  
 Старушка молвила.

— Молчать!  
 Я дамъ вамъ дружбу съ столярами!  
 Тсс!.. смирно!.. рта не разѣвать!..  
 „Постойте! Саша говорила:  
 Я васъ раздѣну!“

Раздѣтай!  
 Ну, да! и галстукъ... все снимай!...  
 А ты о чёмъ вчера грустила?—  
 „Такъ, скучно было!“

— Врешь! не такъ!  
 Ты думаешь, отецъ дуракъ...  
 Цѣлуй мнѣ руку!—

Дочь стояла  
 Недвижно, только по лицу,

Сквозь блѣдность, краска выступала.  
— Не стою?.. А! поцѣловала!  
Противно, значитъ... да! отцу!  
Едва губами прислонилась!—  
„Ну, началось!“ сказала дочь  
И отошла съ досадой прочь.  
— Разуй меня! куда ты скрылась?  
Но Саша медлила.

— Идешь?...  
Ну, ладно. Тише! что ты рвешь!  
Не надо!—  
„Полно издѣваться!  
Давайте!“

„Цыць!—  
„Вѣдь, брошу!“  
— Какъ?  
Ну, брось!... ну, брось!.. отецъ дуракъ.  
Ну, что-жъ? не грѣхъ и посмѣяться...  
А я заплачу... не въ первой...  
Вотъ плачу... смѣйся! Богъ съ тобой!—  
„Да лягъ! промолвила старушка:  
Хоть тутъ—на лавкѣ. Вотъ подушка!“  
„Чего? учи-ко дочь свою!  
А вотъ я пѣсню запою:  
Лучина...—

„Полно, старичина!  
Грѣшно! какая тамъ лучина!“  
— Молчать! я хлѣба мало ъль!  
Вотъ это кто добыть умѣль?—  
И серебро свое онъ вынуль

И на полу его раскинуль.  
„На что жь бросать то?

— Стой, не тронь!  
Не подбирай! туши огонь!—  
„Да лягъ! потушимъ!“

— А! потушишь!  
Украсть хотите? нѣть, постой!—  
„Изъ-за чего ты нась все крушишь?  
Ну, пьянъ, и спаль-бы, Богъ съ тобой!“  
— Кто пьянъ?—ты мужу такъ сказала!  
Куда? не спрячешься! найду!—  
„Оставьте, Саша умоляла:  
Она ушла, ушла! въ саду“.  
— Прочь отъ двери! Ты что пристала?  
А кто тебѣ вотъ это сшилъ?—  
И дочь онъ за рукавъ схватилъ.  
— Ну! что-жь, къ примѣру, замолчала?—  
У Саши загорѣлся взоръ,  
И все лицо, чтѣ коленкоръ,  
Вдругъ побѣлѣло. „Не кричите!“  
— Кто сшилъ?—

„Сама!“  
— Вотъ разъ! вотъ два!—  
И половина рукава  
Упала на полъ.

„Рвите! рвите!—  
За то, что для себя и васъ  
За дѣломъ не смыкаю глазъ!  
За то, что руки вамъ цѣлую  
И добываю хлѣбъ иглой,

Или, какъ нынче, въ ночь глухую,  
Вотъ такъ терплю!.. И вы родной!  
И вы отецъ!“

Старикъ смущился,  
Какъ ни былъ пьянъ; но спохватился  
И плонуулъ дочери въ глаза.  
И вѣрно-бѣ грѧнула гроза;  
Но Саша за отцомъ слѣдила;  
Вмигъ отъ удара отскочила  
Назадъ и бросилася вонъ.

Лукичъ въ сонъ крѣпкій погруженъ \*).  
Свѣча погасла. Все сидѣли  
И мать и дочь въ саду густомъ,  
И звѣзды радостнымъ огнемъ  
Надъ головами ихъ горѣли.  
Но грозно, въ сицей вышинѣ,  
Стояла туча въ сторонѣ,  
Сверкала молнія порою —  
И садъ изъ мрака выступалъ,  
И вновь во мракѣ пропадалъ,  
Старушка робкою рукою  
Крестилась; вся освѣщена  
На мигъ и пробудясь отъ сна,  
На вѣткѣ вздрагивала птичка,  
А по дворамъ шла перекличка  
У пѣтуховъ.

„Не спиши, дитя?  
Старушка молвила, крехтя:  
Я что-то зябну... охъ! поди-ты,  
Какъ грудь то больно!“

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № п-й.

— Вотъ платокъ;  
Покрайтесь. —

„Что ты, мой дружокъ!  
И будуть у самой открыты  
До свѣта плечи!“

— Мне тепло. —  
Нѣтъ, нѣтъ! не надо! все прошло!“

Но дочь старушку убѣдила,  
И грудь и шею ей покрыла  
Платкомъ. Сама, какъ часовой,  
Бродила по травѣ сырой.  
Прогулка грустная не грѣла  
Ея прогрѣнувшаго тѣла.  
Тутъ горе... горе впереди,  
Теперь и прежде... и въ груди  
Досада на отца кипѣла.  
Потрясена, раздражена,  
Вдыхала съ жадностью она  
Холодный воздухъ, хоть и знала,  
Что безъ того больной лежала  
Не такъ давно. Теперь опять  
Хотѣла слечь — и вновь не встать.

Въ саду зеленомъ блескъ и тѣни,—  
На солнцѣ искрится роса;  
Веселыхъ птичекъ голоса  
Перекликаются въ сирени;  
Прохлада свѣжая давно  
Плыть въ открытое окно.  
Старушка стекла вытираетъ.  
Подъ потолокъ пуская паръ,

Кипитъ нагрѣтый самоваръ,  
И Саша чайникъ наливаетъ,  
Сидить съ поникшой головой,  
Подпертой бѣлою рукой.

И вотъ Лукичъ отъ мухъ проснулся,  
Зѣвнулъ, лѣниво потянулся,  
Взглянуль на столь—тамъ серебро;  
Повѣриль—цѣло, ну, добро!  
Онъ вспоминаль, хоть и неясно,  
Что пошумѣль вчера напрасно;  
Ну, моль, бѣда не велика,  
Не тронь, уважутъ старика.

„Охъ, голова болитъ, старуха!  
А что вчера я смирно легъ?“  
— Чуть не прибиль насъ. Видить Богъ,  
За чтѣ. Такая-то сокруха!  
И понаслушались всего...—  
Гм, жаль! не помню ничего!“  
— Въ саду сидѣли до разсвѣта...  
Грѣшно, Лукичъ! Въ мои-ли лѣта  
Такъ жить!—

„Ну, ну! не поминай!  
Ты пьяного не раздражай.  
Давай-ко поскорѣе чаю,  
Быть-можетъ, голова... того...  
А я жду сваху.“

— Отъ кого?—  
„Про это я, выходитъ, знаю:  
Чтѣ думалъ, сбудется авось“.  
— Смотри, тужить-бы не пришлось...  
И-ихъ, старики!—

„И ихъ старуха!,

Не забывается сосѣдъ!  
Вѣдь, я сказалъ, къ примѣру: нѣтъ.  
Ну, плеть не перебьетъ обуха!“  
— Минъ замужъ, батюшка, найти,—  
Чуть слышно Саша отвѣчала,  
И съ чаемъ чашка задрожала  
Въ ея рукѣ.

„Ты безъ пути \*)  
Того... не завирайся много!“  
— Я правду говорю. —

„Ну, врешь,  
Велю — за пастуха пойдешь“  
И, поглядѣвъ на Сашу строго,  
Отецъ прибавилъ: „да, велю,  
И баста! спорить не люблю“.  
— Конечно такъ. Я кукла, стало,  
Иль тряпка... и куда попало  
Меня ни бросить, все равно,  
Подъ лавку или за окно.—  
„Да что, къ примѣру, ты въ умѣли?  
Ты съ кѣмъ изволишь разсуждать?“  
— Вотъ если-бъ эту чашку взять  
Разбить, вы вѣрно-бъ пожалѣли!  
„Ну что-жъ изъ этого?“

— Да такъ,  
Вы сами знаете — пустякъ:  
Вамъ чашка дочери дороже.—  
„Смекаю. Ты-то за кого  
Меня сочла? за куклу тоже?  
Да ты отъ взгляда моего,

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 7, № 12-й.

Не то что словъ, должна дрожать!  
 А ты... ты хлѣбомъ попрекать  
 Отцу! Ты чтѣ вчера сказала?  
 Для васъ дескать моя игла...  
 — Я виновата, попрекала.  
 Да если-бъ камнемъ я была,  
 Тогда-бъ промолвила! Вѣдь, горько!  
 Иной собакѣ лучше жить,  
 Чѣмъ мнѣ: ее не станутъ бить,  
 Гнать изъ конуры...—

„Дальше“

— Только.  
 Что-жъ, мало этого?—

„Молчать!  
 И слышишь ты, не поминать  
 Сосѣда! моего порога  
 Не смѣй онъ знать! Виши, рѣчь нашла!  
 Благодари, къ примѣру, Бога,  
 Что у тебя коса цѣла!“

Старушка вышла изъ терпѣнья.  
 Въ душѣ за дочь оскорблена,  
 Всѣ слезы, годы униженья,  
 Все горе старое она  
 Припомнила и поблѣднѣла,  
 И мужу высказать хотѣла,  
 Какой, моль, есть ты человѣкъ?  
 Крушилъ жену свою весь вѣкъ  
 И крушишь дочь. Побои, пьянство...  
 Вѣдь, это мука, моль, тиранство...  
 Ты въ этомъ Богу дашь отчетъ!..

И не рѣшилась. Нѣтъ, нейдетъ:  
 Вспылить. Немного помолчала  
 И грустно дочери сказала;  
 „Пей, Саша, чай-то: онъ простылъ.  
 Что-жъ плакать?“

— Гм! ей чай не миль.  
 Сгубилъ соѣдъ твою голубку,  
 Заплачь и ты,—оно подъ стать!—  
 Промолвилъ мужъ и началъ трубку  
 Объ уголъ печки выбивать.

Межъ тѣмъ въ калиткѣ обветшалой  
 Кольцо желѣзное стучало.  
 Лукичъ прислушался: „Стучать,  
 Подъ чай, къ примѣру, норовятъ...“  
 Въ окно Арина поглядѣла:  
 — Старуха чья-то. Охъ Лукичъ,  
 Не сваха-ли! кому опричь?—  
 „Что-жъ! примемъ“. Саша поблѣднѣла.  
 Отецъ на кухню указалъ  
 И Сашѣ выйтти приказалъ.  
 Она не трогалася съ мѣста.  
 „Опять упрямство! слышь, невѣста,  
 За косу выведу, гляди!“  
 — Иди душа моя, иди!  
 Сказала мать: охъ, мука, мука!—  
 „Ну, ну! не мука, а наука...  
 Васъ плетью-бѣ нужно обучать“,  
 И онъ сюртукъ сталъ надѣвать.

## VIII.

Дверь заскрипѣла, отворилась  
 И гостья, кашляя, вошла,  
 Святымъ иконамъ помолилась  
 И чуть не въ поясъ отдала  
 Поклонъ хозяину съ хозяйкой.  
 На гостьѣ былъ нарядъ простой:  
 Покрытый синею китайкой  
 Шушунъ, кокошникъ золотой  
 И сарафанъ. Взглядъ ястребиный,  
 Лукавый. На лицѣ морщины,  
 И тонкій носъ загнутъ крючкомъ:

„Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!  
 Здоровы-ли, мои родные?  
 Ну, жаръ! насилу доплелась!  
 Да пыль отъ вѣтра поднялась, --  
 Измучилася, золотые!“  
 — Садись-ко, матушка, садись,  
 Сказалъ Лукичъ: вотъ чашку чаю... —  
 „Давай, родной. Уста спеклись.  
 Шестой десятокъ доживаю,  
 Насилу бродишь. Ну, и жаръ!“  
 — Жена' долей-ко самоваръ.  
 Привѣтимъ гостю дорогую,  
 Чѣмъ Богъ послалъ.—

„И-и родной!  
 Привѣтъ хоть лаской-то одной.  
 Да потрудись на рѣчъ простую  
 Мнѣ, старой бабѣ, отвѣтать“.

— Изволь. Послушаемъ, въ чемъ дѣло.—  
 „Кажись, вамъ времячко приспѣло  
 Живой товаръ свой съ рукъ сбывать;  
 Есть у меня купецъ; не знаю,  
 Хорошъ ли будетъ онъ для васъ“.  
 — А! понимаю, понимаю!  
 Товаръ, къ примѣру, есть у насъ;  
 Да кто купецъ-то?

„Таракановъ,  
 Тарасъ Петровичъ“.

— Это онъ!  
 Лукичъ подумалъ: въ руку сонъ!  
 Его и ждалъ.—

„Пять балагановъ  
 Своихъ на рынке... голова!“  
 — Прибавила. И всѣхъ-то два.—  
 „И, нѣтъ!... Красавецъ! и бровями,  
 И темнорусыми кудрями,—  
 Всѣмъ взялъ! хоть въ рамку, золотой!“  
 — Намъ красотой не любоваться!  
 А былъ бы съ умной головой,  
 Умѣлъ бы дѣломъ заниматься—  
 Вотъ это лучше красоты!—  
 „Охъ, батюшка, ума палата!  
 А дома-атъ—поглядѣлъ бы ты,  
 Ужъ нечего!.. не наша хата!  
 Пять комнатъ, сударь мой,—просторъ!  
 На окнахъ бѣлыя гардины,  
 Въ простѣнкахъ разныя картины,  
 А дворъ-то, что это за дворъ!  
 Кругомъ дубовые амбары,

И лѣсь старинныї,—прочный лѣсь!  
 Въ одномъ углу большой навѣсь,  
 Въ амбарахъ всякие товары.  
 Что, золотой, и говорить:  
 Добра возами не свозить!“  
 — Ну, тутъ прикрасы не у мѣста;  
 Ты о приданомъ рѣчь веди.—  
 „Рѣчь о приданомъ впереди.  
 Для жениха нужна невѣста.  
 Ее онъ видѣлъ какъ-то разъ,  
 Да на-вотъ! кругомъ закружился!  
 И хлѣба, золотой, лишился  
 И ночью не смыкаетъ глазъ—  
 Все ею грезитъ. Да и мнѣ-то  
 Совсѣмъ покою не даетъ.  
 Тутъ мочи нѣтъ, а онъ придетъ,  
 Все умоляетъ: какъ-бы это  
 Сходила ты къ невѣстѣ въ домъ  
 Поговорить съ ея отцомъ?“  
 — Ну, да однако, чтоб-же надо?—  
 „Такъ что-нибудь, хоть для обряда:  
 Четыре головныхъ платка,  
 Ну-съ... три-четыре перстенька,  
 Три нитки жемчугу на шею,  
 (Ужъ много я просить не смѣю),  
 Салопъ на бѣличьемъ мѣху,  
 Сукна на чайку жениху,  
 Три шали, восемь платьевъ новыхъ,  
 Кровать, комодъ и самоваръ,  
 Ну-съ... чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ  
 И—денегъ, сударь, сто цѣлковыхъ...“  
 — Выходитъ дѣло, не взыщи!  
 Съ приданымъ этакимъ, гдѣ знаешь,  
 Иную девушку ищи.—

„И, золотой, ты обижаешь!  
 Ты покажи товаръ купцу;  
 Нельзя: такое заведенье!  
 Не съ разу торгъ, не вдругъ рѣшенье,  
 Сказать: здорово и—къ вѣнцу“.  
 — Ну да! вотъ эта рѣчъ умнѣе!  
 Смотрушки завтра. Попозднѣе  
 Прошу покорно вечеркомъ  
 Пожаловать къ намъ съ женхомъ —  
 „Всенепремѣнно. Ваши гости.  
 Повѣришь-ли, что я скажу?  
 Состарились мои всѣ кости,  
 Лѣтъ тридцать свахою хожу,  
 И счетъ-то свадьбамъ потеряла,  
 А и доселѣ, мой родной,  
 Всѣ, для кого я хлопотала,  
 Осталися довольны мной.  
 Кому какой таланъ отъ Бога!  
 За то, куда, вѣль, ни придешь —  
 И ласку, и хлѣбъ-солъ найдешь...  
 Однимъ нехорошо немногого:  
 Иные выжиги за трудъ  
 По уговору не даютъ.  
 Ну, имъ и достается горько:  
 Начнешь по городу звонить,  
 То тѣмъ, то семъ ихъ обносить —  
 И свадьба врозвъ! да мнѣ-то только  
 Отъ этихъ выжигъ барыша!“  
 — Охъ, свашенъка, моя душа,  
 Хозяйка, сморшившись, сказала:  
 Не грѣхъ-ли отъ такихъ затѣй? —  
 „И, нѣть, родная! я слыхала  
 (Старшой мой сынъ-то грамотѣй,  
 Надъ Библіей и засыпаетъ):“

За око—око! вотъ, вѣдь, что!  
Коли тебя обидѣль кто,  
Не кланяйся: не подобаетъ<sup>4</sup>.

Лукичъ любилъ потолковать.  
И у него вплоть до обѣда  
Со свахой длилася бесѣда.  
„Дочь надо замужъ выдавать  
Умно, дескать. Смотри тутъ въ оба!  
Тутъ думу думай не шутя:  
Не шашка—кровное дитя,  
Дашь промахъ разъ,—бѣда до гроба!<sup>4</sup>  
Но сваха не была плоха.  
— Да, да! рассказывай моль, сказки!—  
И не жалѣла яркой краски,  
Рисуя бойко жениха.

## IX.

Покамѣсть гостья толковала, \*)  
Невольно Саша ей внимала,  
И, ъдкой горечи полна,  
Рукою трепетной она  
Взялась за дверь; была готова  
Ее нежданно отворить,  
Явиться предъ отцомъ, и снова  
Отказъ отъ брака повторить.  
Старикъ вспыхлить. Въ пылу досады  
Не будетъ отъ него пощады...  
Что-жъ! такъ и быть! Но Боже! мать  
Грозой семейной испугать,  
Заставить плакать... развѣ мало  
Она слезъ горькихъ пролила?

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 8, № 13-й.

У Саши силы не достало,  
И глупымъ бредомъ назвала  
Порывъ свой дѣвушка.

Какъ салдко  
Въ саду малиновка поетъ!  
И какъ не пѣть! въ глуши живеть,  
Въ кустѣ гнѣздо свила украдкой,  
Въ гнѣздѣ малютки!.. любо ей!  
Міръ Божій свѣтель. Надъ землею  
Раздолье утренней порою  
Купаться въ золотѣ лучей.

Весна! Весна! души отрада!  
Блеститъ на солнцѣ зелень сада,  
Въ избыткѣ жизни каждый листъ  
Трепещетъ. Въ чащѣ пискъ и свистъ,  
Въ травѣ жужжанье. Дятель цѣпкій,  
По ивѣ ползая, стучить;  
Вокругъ его сухія вѣтки  
Торчатъ, какъ пальцы. Грачъ глядитъ  
Лукаво съ вѣковой березы;  
Тамъ крикъ галчатъ на пнѣ дупла,  
Тутъ въ чашечку душистой розы  
Вползаетъ желтая пчела  
За медомъ. Вѣтерка дыханье  
Едва касается травы,  
Надъ головою дня сіянье  
И ширь бездонной синевы.

Но вотъ и Саша. Торопливо  
Къ плетню сосѣдскому идетъ,  
Сама рукой нетерпѣливой  
То сломить вѣтвь, то отведеть.

Порою яркими лучами  
 Ей солнце брызнетъ на плечо,  
 Пригрѣть щеку горячо,  
 Межъ тѣмъ неслышными шагами  
 За нею тѣнь ея спѣшить.  
 Плетень все ближе. Онъ увить  
 Весь хмѣлемъ. Дѣвушка подходитъ,  
 Кудрявый хмѣль рукой отводить  
 И на сосѣдскій дворъ глядитъ.  
 Онъ пустъ. Зеленая крапива  
 На зноѣ нѣжится лѣниво,  
 Да у крыльца кусокъ стекла  
 Сверкаетъ. Даромъ ты пришла,  
 Бѣдняжка! не видать сосѣда!  
 И ждать нельзя: пора обѣда,—  
 Старушка дочь свою зоветъ:  
 Скорѣй! скорѣй! отецъ, молъ, ждетъ.

Лукичъ былъ весель и за щами  
 Шутилъ надъ Сашей и женой:  
 „Вотъ, дескать, скоро пиръ честной...  
 Готовьтесь! погуляемъ съ вами!“  
 Дочь шутокъ вынести не могла  
 И за водой съ двора ушла.

Полденный воздухъ жаромъ пышетъ;  
 Съ открытой грудью спить, не дышеть  
 Въ постели свѣтлая рѣка.  
 На желтой полосѣ песка  
 Бѣлѣеть камень. Одиноко  
 За бѣлымъ камнемъ грачъ сидить,  
 Крыло повисло, клювъ раскрыть,  
 Покрытый влажною осокой,  
 Къ крутому берегу приросъ

Недвижной лодки черный нось.  
 Вдали барахтаются смѣло  
 Мальчишки. Весело волнѣ  
 Ласкать ихъ молодое тѣло...  
 И видны головы однѣ,  
 Да руки крикуновъ. Толпою  
 Идутъ коровы къ водопою;  
 Усталый, щелкая кнутомъ,  
 Пастухъ тащится босикомъ,  
 Въ рубашкѣ.

## Саша отдохнула

У камней... Тихо и жара...  
 Воды прозрачной два ведра  
 Съ краями вровень зачерпнула —  
 И оглянулась „Гдѣ-жъ онъ былъ?“  
 Столляръ на встрѣчу ей спѣшилъ.

Сосѣдъ-столяръ высокъ и строенъ,  
 Не очень смуглъ, не слишкомъ блѣль,  
 Веселый взглядъ его спокоенъ  
 И простодушно твердъ и смѣль;  
 Въ обтяжку казакинъ изъ нанки,  
 Рубашка красная чиста;  
 Не въ тяготу ему рубанки  
 И не въ кручину бѣднота.

„Вотъ, Саша, встрѣча-то! здорово!  
 Эхъ, мѣсто дрянь! народъ вонъ есть...  
 Поцѣловалъ-бы... право слово!  
 Ну, жаль! глаза-бѣ ему отвесть,  
 Да не умѣю“.

— Горя много,

— Не дотого...

„О чём грустить?  
 Чтò горе? въ горе Богъ помога;  
 Въкъ горевать, такъ что и жить“!  
 — Куда ходилъ?—

„Да тутъ скончался  
 Старикъ знакомый. Тамъ сиротъ!..  
 Нѣть гроба... голосьба идетъ...  
 Я приготовить обѣщался,  
 Теперь сняль мѣрку. Жаль до слезъ!  
 Спасибо, есть готовый тесъ...  
 Ну, чтб отецъ?“

— Терпѣть устала!  
 Не въ мочь!—и Саша рассказала  
 О свахѣ.

„Эдакой старики!“  
 И головой столяръ поникъ,  
 Подумаль и встряхнуль кудрями.  
 „Все вздоръ! не надо унывать!  
 Повѣрь, все кончится словами...“  
 — Да, хорошо! легко сказать!  
 Защита гдѣ? Отецъ-то воленъ...  
 Смотрушки завтра. Онъ сказалъ,  
 Чтобы ты двора его не зналъ.—  
 „Вотъ человѣкъ! упрямствомъ боленъ!  
 Вѣдь, за тобою у него  
 Не требую я ничего...  
 Я бѣденъ! этого боится?  
 Такъ мой топоръ не залежится;  
 Отнимется одна рука,  
 Вотъ есть другая... безъ куска  
 Сидѣть не станемъ...“

— Это знаеть  
Онъ самъ.—

„Такъ что-жь и горевать!“  
— Нѣтъ, Вася, сердце предвѣщаетъ,  
Что намъ въ разлукѣ свѣковать!—  
„Въ разлукѣ! Господи помилуй!  
Да развѣ твой отецъ палачь?  
Хоть за-живо ложись въ могилу,—  
Онъ не дрогнетъ? Ну, рвись и плачь,  
Проси, покуда станетъ силы,  
Рѣчей и слезъ!“

— Все, такъ, мой милый!  
Все это было, и не разъ...  
Ты знаешь, онъ каковъ у насъ?  
Жаль мать, не то хоть утопиться:  
Попрекъ, ругательство да споръ.—  
„Ну, что-жь теперь и согласиться?  
Подставить шею подъ топоръ?..  
Послушай: старику извѣстно,  
Что я не плутъ и въ словѣ твердъ,  
Ему навѣрно вотъ что лестно—  
Женихъ богатъ... Лукичъ, вѣль, гордъ!  
Ну, и разсчетъ: онъ, молъ, надежа  
Въ нуждѣ, то-есть... такъ помогу,  
Мой другъ, и я. Ей-ей не лгу!  
Хлѣбъ надобенъ? Возьми. Одежа —  
Дамъ и одежду! пусть лежитъ  
Хоть на печи, все будетъ сыть!  
Скажи ему“.

— Онъ посмѣется...  
А смѣхъ во зло меня введетъ...

Ты не повѣришь,—сердце рвется,  
Когда онъ подъ хмѣлькомъ придетъ,  
Да зашумитъ! Сама, вѣдь, знаю,  
Что грубость—грѣхъ: не утерплю,  
Забудусь. Послѣ проклинаю  
Себя-же... Я его люблю,  
Да чтоб... не достаетъ терпѣнья!—  
„Эхъ, руку-бѣ даль на отсѣченье,  
Да не поможешь!.. мой совѣтъ—  
Поудержись: грубить не слѣдъ.  
Чтоб дѣлать? болѣе терпѣла,  
Дождемся счастья...“

Но грустна  
Стояла Саша. Думъ полна,  
На воду тихую глядѣла  
Глазами мутными она.  
Лазурь небесъ тамъ отражалась:  
Рѣка, свободна и свѣтла,  
Ее привѣтливо, казалось,  
Въ свои объятія звала.

## X.

Мерцаютъ звѣзды. Городъ сонный  
Какъ будто вымеръ,—такъ онъ тихъ!  
Сквозь сумракъ камни мостовыхъ  
Бѣлѣютъ смутно. Мѣсяцъ полный  
Свободу далъ своимъ лучамъ:  
По крышамъ, лазятъ по стѣнамъ;  
Одинъ въ окно слезу подмѣтитъ;  
Другой, какъ хитрый чародѣй,  
Въ тюрьму проникнетъ безъ ключей

И цѣль колодника освѣтить;  
 Неслышно церковь навѣстить,  
 Окладъ иконъ посеребрить;  
 Не зная страха и запрета,  
 Войдеть въ алтарь, осмотритъ полъ,  
 Скорбящій ликъ Владыки свѣта,—  
 И дерзко ляжетъ на престолъ.  
 Иль въ чащу сада проберется,  
 По темной зелени блеснетъ,  
 Росинку на листѣ найдетъ,  
 Росинка искрою зажжется.  
 Порой на улицѣ пустой  
 Безсонный сторожъ молча ходить  
 И въ доску бьетъ, и эхо вторитъ;  
 Тѣнь позади на мостовой  
 Махаетъ, какъ и онъ, рукой.  
 И снова тихо... Звѣзды сиянье  
 Такъ чудно. Вдругъ въ лицо пахнетъ...  
 Что это? Вѣтерка дыханье,  
 Иль духа горняго полетъ?

Спитъ Божій людъ. Столляръ доселѣ  
 Не успокоился въ постели.  
 Лежитъ онъ подлѣ верстака,  
 Отдѣлкой гроба утомленный;  
 Подушка — локоть обнаженный;  
 Подъ локтемъ — жесткая доска.  
 Печально смотритъ мастерская;  
 Смолистый запахъ изливая,  
 Бѣлѣютъ стружки на полу,  
 Сосновый гробъ стоить въ углу,  
 Топоръ въ березовый отрубокъ  
 Воткнулся носомъ. На стѣнѣ  
 Чернѣетъ старый полушибокъ,

Пила, при трепетномъ огнѣ,  
Блеститъ и меркнетъ. На скамейкѣ,  
Въ платкѣ и желтой душегрѣйкѣ,  
Семыи сварливая глава,  
Сидитъ дородная вдова  
И, молча, карты раскладаетъ:  
Про сынина бракъ она гадаетъ.  
Но сбивчивъ глупый ихъ отвѣтъ—  
То выйдетъ—да, то выйдетъ—нѣтъ.  
Вотъ, напримѣръ: *печаль, дорога,*  
*Постель, болыня, интересъ...*  
Да тутъ и навыкъ не помога,  
Богъ знаетъ,—просто темный лѣсь!  
Межъ тѣмъ, съ гремушкою въ рученкѣ,  
До вечера проспавшій днемъ,  
Въ штанишкахъ, въ синей рубашенкѣ,  
По стружкамъ скачеть босикомъ  
Ея сынишка краснощекой,  
И православныхъ избѣ жилецъ,  
Извѣстный на Руси пѣвецъ,  
Сверчокъ стрекочетъ одиноко  
Подъ печью.

„Вотъ, сказала мать:  
Вотъ пиковый король... постылый:  
Онъ твой злодѣй, мой Вася милый,—  
Посмотришь, свадьбѣ не бывать,  
Ни, ни! я прежде это знала:  
Намедни, помнится, во снѣ  
Все бисеръ да жемчугъ низала—  
И доведется плакать мнѣ“.

Сынъ улыбнулся беззаботно,  
Не слишкомъ довѣряя снамъ,

Одной надеждѣ безотчетно  
 Онъ предавался: „Пусть упрямъ  
 Старикъ-сосѣдъ, все знаетъ Бога...  
 Ну, будетъ, вѣдомо, тревога:  
 Лукичъ бранитъся молоцъ,  
 Да все-же дѣтищу отецъ,  
 Не камень... сжалится... но ливо,  
 Что ноетъ сердце такъ тоскливо“...  
 И тяжело столяръ ~~выхалъ~~,  
 Въ раздумыи кудри расправлялъ.

„Мнѣ тѣ досадно, мать сказала:  
 Что Лукичу я уважала!  
 Давно-ль жена его у насъ  
 Брала утюгъ... дескать, на часъ,  
 Два дня держала,—я ни слова,  
 Я подѣлиться, моль, готова  
 Съ сосѣдомъ! Сальную свѣчу  
 Взаемъ на красной горкѣ взяли  
 И до сихъ поръ не отдавали...  
 Ништо! покуда помолчу...  
 А если онъ насъ одурачитъ,  
 Я за себя не поручусь,  
 Ни, ни! я такъ съ нимъ расплачусь,  
 Что любо!“

— Это скора, значитъ...

Отвѣтилъ сынъ: бѣды-то нѣтъ,  
 Безъ шума дѣло обойдется.—  
 „Какъ свистнешь, такъ и отзовется.  
 Мнѣ эдакъ дорогъ твой сосѣдъ,  
 Чѣмъ вонъ немытая тряпица...  
 Ну, Саша, точно, не въ него:

Скромна, работать мастерица...“  
— И недурна? —

„Да, ничего“.  
— А ну-ко, Ваня, плясовую! —  
„Какую, братецъ? А? какую?“  
Мальчишка весело спросилъ  
И ножками засѣменилъ.  
Столяръ запѣлъ:

Какъ у насъ во садочку,  
Какъ у насъ во зеленомъ,  
Люшенъки-люли!..

Вдова смѣялась  
На пляску. Пѣсня продолжалась  
Недолго. Сердце столяра  
Опять заныло.—Спать пора,  
Оставь-ко, Ваня! —

„Право слово,  
Я ничего! я не усталъ!“  
Но братъ не слушалъ и молчалъ.  
И принялась за карты снова  
Вдова. Кудрявый Ваня сѣлъ  
На лавку и въ окно глядѣлъ.  
— Эхъ, какъ звѣзда-то покатилась!  
Смотрите!—вдругъ онъ закричалъ.  
Столяръ съ улыбкою сказалъ:  
„Лови!“ Вдова перекрестилась.  
— Знать, умеръ кто... Кто ни умретъ.  
Такъ, говорятъ, звѣзда спадеть...  
Э, Вася! я и не спросила!  
За гробъ-то дорого-ль ты взялъ?—  
„Да какъ сказать? Не въ этомъ сила.

Вѣдь, я покойника-то зналъ.  
 Чудакъ! онъ жилъ въ своемъ домишкѣ,  
 Такъ—въ старой мазанкѣ! Ходилъ  
 Зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ,  
 Щегловъ, чижей, синицъ ловилъ.  
 Бывало, раннею зарею,  
 Въ лѣсъ проберется съ западнею,  
 Да съ сѣтью—холодъ ни почемъ.  
 Разставить сѣть, а съ птицей клѣтку  
 На сукъ повѣсить, иль на вѣтку,  
 И на-сторожѣ за кустомъ  
 Дрожитъ въ снѣгу... Одну заботу,  
 Покуда кончился, имѣлъ:  
 Не во-время, моль, заболѣлъ.  
 Теперь—вотъ въ лѣсъ-бы на охоту...  
 Сталъ умирать, какъ закричитъ:  
 «— Жена! пусти на волю дѣтокъ!»  
 «— Какихъ тамъ дѣтокъ? говоритъ.  
 «— Моихъ-то вонъ, моихъ! изъ клѣтокъ!»  
 — Какихъ на свѣтѣ нѣтъ людей!  
 И твой отецъ чудилъ не мало,  
 (Ты въ люлькѣ былъ тогда) бывало,  
 Чуть свѣтъ—гоняетъ голубей.  
 Бѣдняжки съ крыши встрепенутся.  
 Куда! подъ облака взовьются!  
 Ему-то радость! вверхъ глядить,  
 А самъ свистить! а самъ свистить!—

Столляръ задумался печально.  
 Давно-ли въ этой мастерской  
 Лежалъ отецъ его больной?  
 Онъ вспомнилъ взглядъ его прощальный.  
 Взглядъ грустный, впалые глаза,  
 Полусѣдые волоса

И эту рѣчъ: нужда—нуждою,—  
 Ты, Вася, честь свою храни,  
 Честь пуще золота цѣни  
 Ее нельзя добыть казною!  
 А коли честно ты живешь,—  
 Все хорошо! и свѣтъ хорошъ,  
 И будетъ ласковъ людъ съ тобою;  
 Обидитъ,—Богъ съ нимъ! не суди!  
 Ты, знай, своимъ путемъ иди!  
 — Охота не укорь. Намъ стыдно  
 И грѣхъ покойника корить!  
 Такимъ и я желалъ-бы быть...  
 Ну, Ваня, наплясался, видно,  
 Глаза слипаются... вставай,  
 Да Богородицу читай  
 На сонъ грядущий.—

### И ребенокъ

Молитву началъ. Чистъ и звонокъ  
 Былъ дѣтскій голосъ. Брать стоялъ,  
 Его ошибки поправлялъ.  
 Локтями упервшись въ колѣни,  
 Вдова внимала въ тишинѣ;  
 Огонь мигалъ,—и братьевъ тѣни  
 Передвигались на стѣнѣ.

### XI.

Въ рубашкѣ, съ трубкой закуренной  
 И разгорѣвшимся лицомъ,  
 Упрямствомъ дочери взбѣшенный,  
 Лукичъ сидѣлъ передъ окномъ,

И высоко приподнималась  
 Отъ гнѣва грудь его. Жена  
 Вздохнуть и кашлянуть боялась;  
 Прижавшись въ уголъ, и блѣдна,  
 Стояла Саша.

„Ну, мученье!  
 Отецъ раздумывалъ: дивлюсь!  
 Я жениху не покажусь!...  
 Вотъ дочка! вотъ повиновенье!  
 За косы взяться,—визгъ пойдетъ...  
 И жаль! рука не налегнетъ...  
 Поговорю з благо съ нею,  
 Все лучше: можетъ-быть успѣю.  
 „Эхъ-ма! талантъ ты мой худой!  
 Промолвилъ онъ, махнувъ рукой:  
 И самъ отрады я не видѣлъ,  
 И дочери, знать, въ горѣ жить...  
 Ну, Саша! послѣ не тужить!  
 Не говорить: стариkъ обидѣль!  
 Ты умница, ну—такъ и такъ!  
 Выходитъ дѣло,—я дуракъ...  
 Не стану спорить, Богъ съ тобою!  
 А вспомнишь всѣ мои слова,  
 Когда пойдешь ходить съ сумою,  
 Разумная ты голова!“  
 — Мнѣ бѣдность, батюшка, знакома!  
 Къ работѣ я привыкла дома,  
 А къ горю... мужнина казна  
 Не дастъ мнѣ счастья.—

„Не нужна!  
 Столляръ дороже... ну, вѣстимо.  
 Ты безъ кручины и заботъ

Съ нимъ проживешь; заботы—мимо,  
 Къ вамъ счастье съ неба упадеть...  
 Эхъ, дура!“

— Сжальтесь надо мною!  
 За что я молодость свою  
 Съ немилымъ сердцу загублю?  
 За что несчастной сиротою  
 Покину я порогъ родной?  
 Какъ мнѣ просить васъ? Боже мой!—  
 „Я говорю—добра желаю,  
 Оставь упрямство! слышишь ты?  
 Мнѣ чтоб! тебя же избавляю  
 Отъ голода, отъ нищеты!  
 У столяра одна избенка,  
 Казны—ни гроша, мать—бабенка  
 Сварливая, всегда ворчить,  
 Ей и святой не угодить!  
 А Таракановъ—смѣтливъ, ловокъ,  
 Богатъ, торговый человѣкъ...  
 Онъ надаритъ тебѣ обновокъ  
 До свадьбы-то на цѣлый вѣкъ!“  
 — Нѣтъ, дорогими лоскутами  
 Меня ужъ поздно утѣшать!  
 Я не дитя!.. Не вы ли сами  
 Любили это повторять?—  
 „Лукичъ! жена ему сказала:  
 Столляръ ей по сердцу“.

— Ну, да!  
 А знаешь, какова нужда?  
 Ты на себѣ не испытала?  
 Въ утѣху-ли любовь, совѣтъ,  
 Когда къ обѣду хлѣба нѣть?—

„И-ихъ, старики! онъ силенъ, молодъ,  
Не глупъ...“

— А если заболить,  
Да годъ въ постели пролежить,  
И дочь твоя узнаетъ .голодъ,  
Ты, значитъ, какъ? поможешь ей?  
Смотри, тогда не пожалѣй!—  
„Охъ, бѣдность! я-ль ея не знаю!  
Какъ хочешь, Сашенька, гляди...  
Я принуждать не принуждаю,  
А про нужду по мнѣ суди:  
И мать твоя была здорова,  
И весела, и молода.  
Теперь... теперь упасть готова  
Отъ вѣтра... Охъ, тяжка нужда!“  
— Чтѣ-жъ рада-ль я себѣ? моя-ли  
Вина? Не вы-ли столяра  
Въ свой домъ, какъ сына, принимали?  
Не тутъ-ли, батюшка, подъ-часъ  
Съ родными шла у васъ бесѣда,  
Что хорошо бы за сосѣда  
Отдать вамъ дочь? А я отъ васъ  
Таилась развѣ? Вы, вѣдь, знали,  
Что мы другъ къ другу привыкали!  
Вы это видѣли!—

„Молчать!  
Ну!..“

— Воля ваша принуждать,  
А я не выйду за другаго.—  
„Не слушаться? Отца роднаго?  
Нѣтъ, подожди, къ примѣру, врешь!

Какъ! я невластенъ надъ тобою?  
 Невластенъ? Стало, ты не мною  
 Воспитана и рождена?  
 Ты мнѣ за это не должна  
 Повиноваться?“

— И не жалко,  
 Не грѣхъ вамъ дочь свою губить?—  
 „Ты... ты не смѣй меня учить!  
 Всѣ ребра изломаю палкой!“  
 — Что-жь! бейте! мнѣ одинъ конецъ!  
 Кто васъ осудить? Вы — отецъ!  
 Вы властны! стало-быть, я стою!...  
 О, Господи! да скоро-ль я  
 На вѣкъ глаза свои закрою?—  
 И покатились въ три ручья  
 У Саши слезы.

„Вонъ отсюда!  
 Ступай вѣнчайся съ столяромъ!  
 Ты мнѣ не дочь! и живъ покуда,  
 Я не пушу тебя въ свой домъ!“  
 — Лукичъ,—старушка зарыдала:  
 Опомнись! кровь твоя!..—

„Молчать!  
 Умѣла твари потакать,  
 Теперь казнись! чего-жь ты стала?  
 Вонъ, говорятъ тебѣ!“

— Постой!  
 Куда-жь идти мнѣ? Боже мой!—  
 „Хоть къ чорту!“  
 — Батюш카!—

„Ни слова:  
Скажи одно въ послѣдній разъ:  
Готова слушаться?“

— Сейчасъ,  
Сейчасъ скажу...—

„Ну, что-жь, готова?  
Ты масломъ не зальешь огня,  
Не хныкай! вотъ что!“

— Погодите...  
Въ глазахъ мутится у меня...—  
„Я жду!“

— О чемъ вы говорите? —  
„Забудешь-ли сосѣда? —

— Нѣтъ!  
Нѣтъ, не могу!—

„Одинъ отвѣтъ.  
Такъ будь ты проклята отнынѣ!—  
— Какъ! Сашу, Сашу проклинать?..  
И вздрогнула старушка-мать,  
Какъ листъ на трепетной осинѣ.  
— Она моя! я буду ночь  
Такъ—на колѣняхъ... Саша! дочь!  
Дитя мое!.. скажи, согласна...  
Не отнимай руки, не дамъ...  
Я поцѣлую... я несчастна!..  
И ты! и ты!.. о, горе намъ!..—  
„Согласна“, Саша отвѣчала  
И на поль замертьво упала.  
— Охъ, ты мучитель нашъ!..—

„Ну·ну!

Лукичъ прикрикнулъ на жену:  
Воды скорѣе!.. не хотѣла  
Учить красавицу путемъ,  
Вотъ довела ее до дѣла,—  
До грубости передъ отцомъ!“

## XII.

Едва блеснувшій лучъ разсвѣта  
Засталъ Арину въ хлопотахъ;  
Она была уже одѣта  
И грѣла воду въ чугунахъ.  
Старушка ставней не открыла  
И въ горенкѣ, какъ тѣнь, бродила,  
Тревожить шумомъ не хотя  
Всю ночь неспавшее дитя.  
Вотъ утро. Саша не гуляетъ,  
Къ смотрушкамъ въ домѣ прибираеть,  
Все принимаетъ новый видъ,  
Сияетъ, лоснится, блеститъ...  
Окно на солнышкѣ сверкаетъ,  
Икона радостно глядить.  
А за окномъ, на вѣткахъ ивы,  
И крикъ, и споръ нетерпѣливый  
У любопытныхъ воробьевъ:  
Смотрите, моль... мытье половъ,  
Возня, тревога... дѣло худо!  
И котъ вонъ тутъ! скрѣй отсюда!  
И птицы дружно поднялись  
И въ даль въ испугѣ понеслись.  
Не весела одна невѣста,  
Неспоръ и трудъ въ ея рукахъ,

Пойдетъ съ ведромъ и вдругъ—ни съ  
мѣста...

Стоитъ, глядитъ — туманъ въ глазахъ...

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:  
Всталъ рано чуть не на зарѣ,  
Замѣтилъ, что заборъ непроченъ,  
Двѣ щепки поднялъ на дворѣ  
И отдалъ въ кухню на топливо.  
Хозяйствомъ грѣхъ пренебрегать.  
Онъ зналъ, что надо терпѣливо  
И неусыпно собирать  
Добро домашнее. Бывало,  
Когда домой идетъ не пьянь,  
Чтѣ подъ ноги ему попало —  
Подковка, гвоздикъ—все въ карманъ.  
Прошелся по саду отъ скуки,  
Червей на яблонѣ сыскалъ  
И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:  
„Ахъ, вы, анаѳемскія штуки!  
Не давитесь чужими добромъ!“  
И наконецъ покинулъ домъ.  
На перекресткѣ помолился  
На церковь; нищѣй поклонился;  
Откуда, чья она—спросилъ,  
И грошъ ей въ чашку положилъ,—  
Не по любви и состраданью  
Къ подобному себѣ созданью,  
Онъ просто вѣрилъ, что Господь  
За подаяніе святое  
Ему сторицею пошлетъ...  
Желанье, кажется, благое  
И основательный разсчетъ.  
Купилъ на площади торговой

Осенней шерсти два мѣшка  
 У горемыки мужика,—  
 О всходахъ проса, гречи новой  
 Потолковалъ съ нимъ напередъ,  
 И крѣпко побранилъ господъ:  
 „Народъ, молъ, да! работай втрое,  
 Изъ жилья тянись—имъ все не въ честь!“  
 Мужикъ былъ тронутъ за живое,  
 Заговорилъ, забылъ про шерсть:  
 — Вотъ то, дескать!.. и то, и въ празд-  
 никъ. —  
 „Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумаж-  
 никъ!..“  
 Лукичъ, нахмурясь, отвѣталъ  
 И, вѣся шерсть, на рубль укралъ.

---

Домъ Лукича горитъ огнями,  
 Кругомъ ночь черная лежитъ,  
 Отъ красныхъ оконъ полосами,  
 Свѣтъ сонной въ улицѣ виситъ.  
 Гостями горенка набита.  
 Женихъ высокъ, румянъ, курчавъ;  
 Веселый взглядъ его лукавъ;  
 Невѣста бѣдная убита,  
 Разносить чай, а гости пьютъ,  
 Да рѣчи умныя ведутъ.  
 Съ досадой женщины толкуютъ,  
 Что оплошаль гостиный рядъ,  
 Товары завалюю глядятъ,  
 Купцы безсовѣстно плутаютъ,  
 На шаляхъ мало пестроты,  
 На ситцахъ блѣдные цвѣты;  
 Старушки съ грустью вспоминаютъ

О сарафанахъ съ галуномъ,  
 О серыгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,  
 И прихоть моды обвиняютъ.  
 Хозянъ судить съ женихомъ  
 О разныхъ выгодахъ торговли,  
 О недостаткѣ рыбной ловли  
 Въ ихъ городѣ и сознаетъ,  
 Что рѣчъ разумно онъ ведеть.  
 Какъ мраморъ блѣдная, невѣста  
 Уже не разъ вставала съ мѣста  
 Гостей сластями обносить  
 И свой нарядъ перемѣнить.  
 Женихъ и мать его съ роднею  
 Перемигнулись межъ собою:  
 „Пора, моль!“ и пошли на дворъ  
 Надъ Сашей кончить приговоръ.  
 „Каковъ женихъ? не молодчина?  
 Шепталъ Лукичъ. Не плачь, Арина!  
 Ты, Саша, удались пока;  
 Начнется торгъ, такъ не рука  
 Тутъ быть невѣстѣ...“ Сваха входитъ,  
 Поклонъ — другой, и рѣчъ заводитъ:  
 „Ну, батюшка, товаръ хорошъ,  
 Купца похвалиши-ли, не знаемъ“.  
 — Ты честь товару отдаешь,  
 И мы купца не охуждаемъ;  
 Разсчетъ въ приданомъ.—

„И родной!  
 Не просимъ лишняго“.

— Постой!  
 Твой разговоръ, къ примѣру, красенъ...  
 Ты слушай вотъ что: жемчугу

И денегъ дать я не могу,  
 А насчетъ платья—я согласенъ.—  
 „Нѣтъ, нѣтъ! копѣчки одной  
 Мы не уступимъ, золотой!“  
 — А я и нитки не прибавлю!—  
 И завязался жаркій споръ.

„Пустѣйший, значитъ, разговоръ!  
 Сказалъ женихъ: я все поправлю.  
 Дочь ваша, смѣю доложить,  
 Не то что... да-съ! Ей-ей, безъ лести!  
 Извольте нась благословить,  
 Коли я нравлюсь ихней чести,  
 Намъ деньги—пыль-съ“.

— Выходитъ рокъ!  
 Жена! утирку и платокъ!—

Старушка, плача, сутилась.  
 Невѣста снова появилась,  
 Подность у матери взяла  
 И жениху, съ боязнью тайной,  
 На немъ подарокъ обручальной,  
 Глотая слезы, подала.  
 Женихъ утерся имъ легонько,  
 Невѣстѣ, молча, возвратилъ;  
 Утерлась и она.

„Ну, только!  
 Теперь Господь васъ съединилъ“,  
 Съ поклономъ сваха имъ сказала,  
 И поцѣлуемъ приказала  
 Обрядъ закончить, рядомъ сѣсть  
 И полюбовно рѣчи вестъ.

И гости весело шумѣли.  
 Подруги Саши пѣсни пѣли;  
 Простой напѣвъ ихъ грустенъ быль,  
 Тоску и думу наводилъ.  
 Вино лилось. Съ улыбкой сладкой  
 Женихъ невѣstu цѣловалъ,  
 Арина плакала украдкой,  
 Лукичъ безъ устали плясалъ.  
 Межъ тѣмъ невзгода бушевала:  
 Выль вѣтеръ, молніи струя,  
 Сквозь ливень крупнаго дождя,  
 По темнымъ стекламъ пробѣгала,  
 За нею вслѣдъ катился громъ,  
 И вздрагивалъ непрочный домъ.

Невѣста блѣдная сидѣла,  
 Всему чужда, едва жива;  
 Какъ въ полымѣ, у ней горѣла  
 Потупленная голова.  
 Не въ радость былъ ей пиръ веселый,  
 Звонъ рюмокъ и напѣвъ подругъ.  
 Нѣть! Сашу мучилъ бредъ тяжелый:  
 Надъ садомъ звѣзды. Тишина вокругъ...  
 Припавъ щекой къ плечу сосѣда,  
 Она подъ ивой съ нимъ стоитъ,  
 Чуть внятный шопотъ—ихъ бесѣда,  
 Да громко сердцу говорить...  
 Какъ темны листья сонной ивы!  
 Какъ ясенъ мѣсяцъ молчаливый!  
 Вотъ полдень. Жарко. Вѣтеръ спитъ.  
 Песокъ горячъ. Рѣка блеститъ.  
 Сосѣдъ на берегу; онъ блѣденъ!  
 „Что-жъ, говорить: я, Саша бѣденъ!  
 Все вздоръ! отецъ твой не палачъ!  
 Проси, мой другъ! и рвись, и плачь!

„Гуляй, бѣднякъ! богатымъ будешь!“  
Хозяинъ пьяный закричалъ  
И Сашѣ на ухо сказалъ:  
„Сосѣда что-ли не забудешь?  
Взгрустнулось!.. Жениха займи!  
Не то я... прахъ тебя возьми!  
Гм! понимаешь?..“ Дочь вздрогнула,  
Въ испугѣ на отца взглянула,  
Въ отвѣтъ пол слова не нашла,  
Но тутъ подруга подошла,  
Вся въ бѣломъ, бойкая, живая,  
И, Сашѣ руку пожимая,  
Шепнула: „не круши себя!  
Я знаю!.. выручу тебя!..“  
Прищурила глаза лукаво  
И сѣла рядомъ съ женихомъ.  
„Какъ жарко!“

— Да-съ!—  
„Досадно, право!..  
Вы танцы любите?“

— Съ трудомъ,  
Такъ-съ малость самую танцую. —  
„Зачѣмъ-же!“

— Какъ бы вамъ сказать?..  
Ногами вензеля писать  
Мнѣ некогда-съ! вѣдь, я торгую.—  
„Вы курите?“

— Ни, Боже мой!  
И не къ чему-съ: расходъ пустой!—  
„Зимой катаетесь?“

— Бываетъ,

На сырной. Это ничего-съ!  
 Вотъ жалко: вздорожаль овесъ.  
 Конь, знаете, не понимаетъ:  
 Что жерновъ, мелеть Божій даръ.—  
 „Скажите!“

— Да-съ! Вотъ самоваръ

Въ семействѣ нуженъ. Не скрываю,  
 Съ ребячества привыкъ я къ чаю,  
 Сначала просто пью, потомъ  
 Употребляю съ молокомъ:  
 Не покупать-съ: своя корова.—  
 „Конечно. Съ молокомъ здорово...  
 У васъ цѣпочка не дурна.“  
 — Четыре серебромъ дана,  
 По случаю-съ.—

„А! вы счастливы!“

— Цыганки то-же говорятъ,  
 Таланъ все, знаете, сулять...  
 Все чепуха-съ! на грушѣ сливы.—  
 „Какъ? вы гадали?“

— Да-съ, гадалъ.

Я сумасшедшаго знавалъ;  
 Ахъ! тотъ угадывалъ отлично!  
 Бывало, дичь несетъ, несетъ,  
 Подъ часъ и слушать неприлично!  
 Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,  
 Что просто... да-съ! ей-ей чудесно!—  
 Даръ, значитъ; все ему известно!—  
 „Нѣтъ, не люблю я ворожить!  
 Иное дѣло—говорить,

Вотъ это такъ. Сама не знаю,  
 Чуть на минуту умолкаю,  
 Мнѣ скучно... даже зло беретъ...  
 Поговоришь—и все пройдетъ.  
 Я надоѣмъ и вамъ ужасно:  
 Все говорю и говорю,  
 Болтушка,—скажете...“

— Напрасно!  
 Чувствительно благодарю!—

Усердной пляской утомленный,  
 Забившись въ уголъ отдаленный,  
 Лукичъ покрякивалъ сквозь сонъ:  
 „Молчать!.. покой мнѣ дайте... вонъ!“  
 — Прощайте, батенька, прощайте!—  
 Женихъ съ улыбкой отвѣчалъ  
 И руку Лукича пожалъ.  
 „Ты что за птица?“

— Угадайте!—  
 „Пожалуй. Помоги мнѣ встать.  
 Ты кто?“

— Вашъ нареченный зять.—  
 „Подай свѣчу... вотъ такъ... не знаю!..  
 Столляръ что-ль? Нѣть, онъ не таковъ...“  
 — Я, батенька, Тарасъ Петровъ.—  
 „А! вспомнилъ, вспомнилъ! понимаю!  
 Ну, поцѣлуй меня... Вотъ такъ!  
 А я, ей-Богу, не дуракъ!  
 И Саша вотъ... дитя родное...  
 Мнѣ, значитъ, жаль... продумалъ ночь...  
 И столяры... и все такое...“

А ты, вѣдь, можешь мнѣ помочь?  
На совѣсть, честно поторгую!  
И ты, выходить, чуть сплутую...“

Женихъ давно за дверью былъ,  
Но все свое Лукичъ твердилъ.

### XIII.

Востокъ краснѣеть. Кровли зданій,  
Дождемъ омытыя, блестятъ.  
По небу синему летятъ  
Огнемъ охваченные ткани  
Прозрачно блѣдныхъ облаковъ,  
И тихій звонъ колоколовъ  
Ихъ провожаетъ. Паръ волнами  
Плыветъ надъ сонными домами!  
Онъ влаженъ. Свѣжій воздухъ чистъ.  
Дышать легко. Румяный листъ  
Трепещетъ, каплями покрытый.  
По улицѣ ручей сердитый  
Журчитъ, доселѣ не затихъ.  
Межъ бѣлыхъ камней мостовыхъ  
Вода во впадинахъ алѣеть.  
Порою вѣтерокъ повѣтъ,—  
И грудь невольно распахнешь,  
Цвѣтовъ и травъ дыханье пьешь.  
Проснися, Божій людъ! не рано!  
Несутся стаи голубей  
Въ поля. Лучъ солнца изъ тумана  
Уже сквозитъ,—и Божій людъ  
Проснулся весело на трудъ.

Столляръ сидить съ нѣмой тоскою.  
 Поникъ кудрявой головою,  
 И не поетъ его пила:  
 Кручина руки отняла.  
 Халатомъ стареньkimъ покрытый,  
 Его братишка, какъ убитый,  
 Раскинувъ руки, сладко спитъ,  
 И не разлучная игрушка,  
 Его любимая гремушка,  
 Безъ дѣла подъ бокомъ лежитъ.  
 Дверь настежъ,—и вдова вбѣжала,  
 Съ усилиемъ духъ перевела,  
 Руками бойко развела  
 И вскрикнула: „Не угадала?  
 Нѣть, карты, батюшка; не лгутъ!  
 Вотъ твой Лукичъ-то! вотъ онъ, плутъ.  
 О-охъ, родимые! усталы!  
 Да, сяду... охъ... терпѣнья нѣть!..  
 Отдѣлали! хороши сосѣдъ!“  
 — Нельзя-ли, матушка, безъ шуму?  
 Невесело и безъ того!—  
 „Ну, славно! славно! ничего!  
 Сиди вотъ сиднемъ! думай думу!  
 А Сашка-то изподтишка  
 Вонъ подцѣпила женишка...  
 Сейчасъ съ нимъ у воротъ прошалась,  
 Ужъ цѣловалась, цѣловалась!  
 Ну-ну! безтыжіе глаза!  
 Да что вѣдь—на меня взглянула—  
 И головою не кивнула...  
 А!.. каково? не чудеса?“  
 — Да ладно! мнѣ-то что за дѣло!—  
 „Благодарю! благодарю!  
 Ну, извини, что надоѣла

И не у мѣста говорю...  
 Нѣтъ дѣла! думаешь не штука?  
 Съ тобою матери-то мука:  
 Дѣвчонкой, дурой проведенъ!  
 Понравилась! околдовала!  
 Виши роза! гдѣ и разцвѣла?  
 И мать съ досады вышла вонъ.

Ей нужды было очень мало,  
 Что сынъ невѣсту потерялъ,  
 Да самолюбіе страдало:  
 Сосѣдъ, бѣднякъ—и отказалъ.  
 Обидно, главная причина!  
 И оскорблennая вдова  
 Сердилась на себя, на сына,  
 На цѣлый свѣтъ... она едва  
 Кота полѣномъ не убила,  
 За то, что въ кухнѣ захватила  
 Его надѣ чашкою съ водой:  
 Ты, моль, не пей, такой-сякой!

Услышавъ вечеромъ случайно  
 У Лукича напѣвъ печальный,  
 Столяръ промучился всю ночь.  
 Кого винить: отца, иль дочь,  
 Рѣшить хотѣлъ онъ и терялся.  
 Ходилъ въ потьмахъ по мастерской,  
 Въ постелю жесткую кидался  
 И слушалъ бури свистъ и вой,  
 И блескомъ молнии порой  
 Его лобъ блѣдный освѣщался.  
 Постелю снова покидалъ,  
 Свѣчу безъ нужды зажигалъ.  
 Теперь сомнѣнья не осталось:

Онъ Сашу видѣлъ изъ окна:  
 Толпой гостей окружена,  
 Средь смѣха пьяного, казалось,  
 Она подъ ножъ подведена.  
 „Ахъ, Саша, Саша!“ и тоскливо  
 Глядѣлъ онъ на широкій дворъ,  
 Поросшій жгучею крапивой,  
 На кровли, на чужой заборъ...  
 И смутно передъ нимъ мелькали  
 Его прожитыя лѣта—  
 Перенесенныя печали,  
 Безропотная нищета,  
 О домѣ, о семье забота,  
 Работа днемъ и по ночамъ,  
 Трудъ изъ-за хлѣба, трудъ до пота,  
 Едва не съ кровью пополамъ;  
 Вся горечь жизни обыденной,  
 Все, чтб язвить и мучить насъ,  
 Чтб отравляетъ жизнь подъ-часть,  
 Весь воздухъ, пищу, сонъ покойный,  
 Все, чтб давно ужъ пронеслось,—  
 Закопошилось, поднялось,  
 Дыханье въ горлѣ захватило,  
 И свѣтъ туманомъ позакрыло...  
 „Эхъ! пропадай ты, голова...“  
 — Куда ты? крикнула вдова,  
 Глазами сына провожая  
 Съ крыльца; но сынъ не отвѣчалъ,—  
 Калиткой хлопнулъ—и пропалъ.

Пора обѣда наступила,  
 И все нейдетъ столяръ домой.  
 Кручинка молодца сломила,  
 Ввела въ кабакъ, виномъ поила,

Поила отъ роду въ-первой,  
 И пѣль онъ пѣсни, — и смѣялась  
 Толпа гулякъ средь кабака, —  
 Пѣль громко, а змѣя тоска  
 Кольцомъ холоднымъ обвилась  
 Вкругъ сердца.

„Охъ, не утерплю!“  
 Сказалъ дѣтина худощавый  
 И, скинувъ съ плечъ халатъ дырявый,  
 Пошелъ плясать. „Вотъ такъ! люблю!“  
 Зѣваки пьяные шумѣли.  
 Дѣтина соловьемъ свисталъ,  
 Привскакивалъ и присѣдалъ,  
 На полкахъ шкалики звенѣли,  
 „Нѣтъ, пой, кто хочетъ! я усталъ! ---  
 Столляръ съ отчаяньемъ сказалъ,  
 Ладонью въ лобъ себя ударилъ  
 И грустный на скамейку сѣлъ  
 И думалъ думу... вдругъ расправилъ  
 Густые кудри и запѣлъ...  
 Пѣль про туманъ на синемъ морѣ,  
 Да про худой таланъ и горе...  
 И пѣснь лилась, пѣвецъ блѣднѣлъ.  
 Казалось, все: тоску разлуки,  
 И плачь любви, и грусти стонъ  
 Изъ сердца съ кровью вырвалъ онъ  
 И воплотилъ въ живые звуки...  
 И каждый звукъ былъ полонъ слезъ;  
 То съ поражающею силой  
 Онъ несся въ высъ, все росъ и росъ,  
 Какъ будто съ свѣтомъ, съ жизнью милой  
 Прощался, въ небѣ утопалъ;  
 То падалъ, за сердце хваталъ

И гасъ, какъ свѣточъ, постепенно...  
Пѣвецъ умолкъ и застоналъ:  
„Охъ, душно, братцы!..“ и мгновенно  
Рубашки воротъ разорвалъ.  
„Вина!“

Сидѣлецъ засмѣялся;  
— Клади, моль, денежки-то намъ. —  
„А въ долгъ?“

— Проваливай! —

„Отдамъ!“  
— Спасибо! экъ онъ разгулялся! —  
„Проклятый! на, вотъ, казакинъ!“

Но вдругъ картина измѣнилась:  
Въ слезахъ и блѣдная, явилась  
Мать столяра... „И ты мнѣ сынъ?  
Спаситель! Николай-Угодникъ!  
Да гдѣ я? Охъ! подъ сердцемъ жжетъ!  
Шла мимо... съ рынка... сынъ поетъ...  
Все Сашка!... Такъ!.. сосѣдъ разбойникъ!  
И запиль! Ахъ, дуракъ, дуракъ!“  
Сынъ стиснуль поднятый кулакъ...  
„Ха, ха! доходить до расправы!“  
Сказаль дѣтина худощавый;  
„Къ чертямъ старуху! проучи!“  
Столяръ схватилъ его:—Молчи!  
И грязнулъ обѣ поль. „Стой, ребята!  
Связать его! позвать солдата.“  
Сидѣлецъ крикнулъ. „Вотъ, онъ, другъ!“  
И въ молодца впились шесть рукъ.  
Но молодецъ сверкнулъ глазами,

Тряхнуль могучими плечами,—  
 И всѣ разсыпались. Вдова  
 Перепугалась. „Голова!  
 Перекрестись! ну, чтò ты! Стыдно!  
 Опомнись! съ улицы вонъ видно!  
 Эхъ, соколь, соколь! какъ теперь  
 Изъ этой пропасти за дверь  
 Ты выйдешь? А? Побойся Бога!  
 Ты пропадешь!..“

— Туда дорога!—  
 „Я знаю, знаю, отъ чего  
 Ты выпилъ! Ну, и ничего...  
 Я мать... Мнѣ, думаешь, отрада?  
 Ну, брось! забудь! такъ, стало, надо!  
 Знать не судьба твоя!..“

— Забудь!  
 Да ножъ-то, ножъ-то прямо въ грудь  
 Засѣлъ... Оставь меня, родная!—  
 „Пойдемъ, голубчикъ мой, пойдемъ!  
 Братишко плачетъ, отперть домъ...  
 Все пусто... да! и мастерская...  
 Топоръ тамъ... все... ну, пошалилъ...  
 Ты вспомни, какъ отецъ-то жилъ!  
 Чтб завѣщалъ-то!... Власть не наша!  
 Перенеси!“

— Ахъ, Саша, Саша!  
 На вѣкъ пропали мы шутя!—  
 Столяръ заплакалъ, какъ дитя.

## XIV.

Со дня помолвки измѣнился  
 Невѣсты скромный уголокъ;  
 Въ немъ съ утра до ночи тѣснился  
 Веселыхъ дѣвушекъ кружокъ.  
 Ихъ занимало на досугѣ  
 Шитье приданаго подругѣ,  
 Мелькнувшій мимо пѣшеходъ,  
 Подъ вечеръ пѣсни у воротъ,  
 Порою сновъ истолкованье,  
 Въ саду горѣлки и гулянья;  
 Но вечеринокъ блескъ и шумъ  
 Сильнѣе занималь ихъ умъ.  
 Двѣ скрипки, въ домѣ освѣщеніе,  
 Отъ стука крѣпкихъ каблуковъ  
 Дрожанье стульевъ и столовъ,  
 Смѣхъ молодцовъ, ихъ объясненіе:  
 Насчетъ того-съ... мое почтеніе...  
 Горячихъ поцѣлуевъ звукъ,  
 Украдкою пожатье рукъ—  
 Вотъ вечеринка; остальное  
 Не новость: сборище ночное,—  
 Подъ окнами толпа зѣвакъ,  
 Въ окрестномъ мракѣ лай собакъ.

Отцу суровому послушна,  
 Всегда задумчива, тиха,  
 Свою печаль отъ жениха  
 Таила Саша. Равнодушна  
 Въ толпѣ подругъ она была;  
 Порой казалась весела,  
 Шутить, смѣяться начинала,

Но вдругъ, средь смѣха, умолкала  
 И уходила въ садъ,—и тамъ,  
 Въ зеленой чащѣ, одиноко  
 Садилась на скамью широкой  
 И накопившимся слезамъ  
 Давала волю...

„Слава Богу!“

Отецъ невѣсты разсуждалъ:  
 „Теперь на ровную дорогу  
 Я выйду: зятя отыскалъ...  
 Не столяру чета! онъ, вѣро,  
 Поможеть тестю... Вотъ что скверно—  
 Никакъ приданымъ не сбьюсь!  
 Бѣда, къ примѣру! смерть боюсь!  
 Чтѣ если свадьба разойдется?  
 Чортъ знаетъ, просто сбился съ ногъ!  
 Навязываю домъ въ залогъ,—  
 И тутъ заемъ не удается!  
 Не скажутъ прямо: деньги есть  
 Не про твою, къ примѣру, честь;  
 Помучать болтовней, распросомъ,  
 На чтѣ, молъ,—и отправятъ съ носомъ:  
 Свои-де нужды, извини...  
 Вотъ богачи-то! вотъ они!  
 Вотъ правда!.. Или попытаться  
 Пойдти къ Скобѣеву? Вѣдь, жидъ!  
 Просить не стоитъ... и сердитъ...  
 Да Богъ съ нимъ! Мнѣ равно шататься!  
 Ужь занимать не миновать,  
 Глядишь, уважить,—какъ узнать?“

И черезъ часъ, проситель скромный,  
 Онъ у Скобѣева въ приемной

Ждалъ милости. Лакея нѣтъ,  
Налѣво двери въ кабинетъ,  
Тамъ разговоръ.

„Такъ все готово?“  
Звучаль густой хозяйствій басъ  
(Лукичъ узналъ его за-разъ).  
— Да, мнѣ дано честное слово,  
Разбитый голось отвѣчалъ:  
Вчера и нынѣ хлопоталь  
Въ комиссіи.—

„А! вы оттуда...  
Прекрасно! стало, нашъ подрядъ...“  
— Все подвигается покуда;  
Подмазать надо, говорятъ.  
Вы какъ? не прочь?—

„Весьма пріятно!  
На вещи цѣну-то того...  
Вы понимаете?“

— Понятно.  
Да не опасно-ль?—

„Ничего!  
А по бумагамъ безусловно  
Въ подрядѣ вы: я подъ судомъ“.  
— Какъ ваше дѣло въ уголовной?—  
„Пустякъ! конечно, подъ сукномъ...  
Жаль, нѣть войны! подряды мелки,  
Отъ мира мало намъ добра!“  
— Ну, грѣхъ сказать!—

„Все вздоръ! бездѣлки!  
 Нѣтъ, батюшка, не та пора!  
 Тамъ видиши груды серебра!  
 Бывало, сердце разгорится...  
 Эхъ, моль, равно! Господь проститъ,  
 И хватиши смѣло,—ну, и съть:  
 Сундукъ трещитъ, какъ говорится!“

Лукичъ затылокъ почесалъ  
 И долго головой качалъ:  
 — Ну, хороши, моль!—

„Вы къ обѣду  
 Ко мнѣ?“ Скобѣевъ забасилъ  
 И гостю двери отворилъ.  
 — Не знаю... можетъ быть, пріѣду,—  
 Въ раздумья бородачъ сказалъ.  
 Скобѣевъ громко засвисталъ.  
 Едва свистъ барина раздался,  
 Худой и блѣдный казачокъ  
 Вѣжливъ, въ испугѣ заметался  
 И гостю лысому помогъ  
 Надѣть шинель.

„Зачѣмъ явился?“  
 Скобѣевъ Лукича спросилъ,  
 Въ карманы руки заложилъ  
 И въ мягкому креслѣ развалился.  
 „Эй! Васька! трубку! Ну, зачѣмъ?“  
 — Что, сударь, обнищалъ совсѣмъ?  
 Просваталъ дочь, нужна помога,  
 Цѣлковыхъ этакъ сто взаемъ,  
 Я заложиль бы вамъ свой домъ...  
 Не откажите, ради Бога!—

„Просваталъ дочь... а чтò она  
Молоденькая? не дурна?“  
Румяный баринъ улыбнулся,  
Пришурился и потянулся.  
— Вы все изволите шутить...  
Тутъ горе! смѣю доложить.—  
„Все врешь! когда вашъ братъ горюетъ?  
Привыкъ къ бездѣлью, пить вино,  
Да ъесть и спить, или плутуетъ,  
И только. Знаю васъ давно!“  
— Всѣ люди грѣшные, конечно...  
Я заплачу вамъ черезъ голъ;  
Проценты вычтите впередъ,  
Ей-ей, васъ не забуду вѣчно! —  
„Пожалуй, почему не такъ.  
Ты мнѣ заслужишь, я надѣюсь...“  
— Послѣднихъ силъ не пожалѣю-сь!  
Вотъ благодѣтель! —

„Вотъ дуракъ!  
Ха-ха! шучу! Я съ кулаками  
Не связываюсь никогда!“  
Лукичъ остолбенѣлъ...

— Да, да!  
Мы, значитъ, черви передъ вами,  
И нась, какъ плонуть, раздавить...  
Эхъ-ма! —

„Поменьше говорить!“  
Старикъ вѣбѣлся.

— Ваша воля!  
Прикажите, мы замолчимъ.

Мы что за люди! Наша доля  
 Терпѣть. На этомъ и стоимъ.—  
 „Не притворяйся сиротою:  
 Меня не скоро проведешь“.  
 — Куда мнѣ съ глупой головою  
 Васъ проводить? Тутъ не найдешь,  
 Къ примѣру, слова... Вы богаты,  
 Вы баринъ, честная душа,  
 Я плутъ, на сюртукъ заплаты  
 И въ кошелькѣ-то ни гроша,  
 Куда мнѣ!.. Стало не дадите?—  
 „Не разживешься, признаюсь“.  
 — Я и за это поклонюсь.  
 Благодарю васъ! извините,  
 Что беспокоилъ.—

„Краснобай!  
 Ну, ну! не кланяйся! ступай!  
 А ты мошенникъ, старичина,  
 Тварь хитрая!“

— Благодарю!  
 За рысака-то вамъ дарю  
 Раздайте нищимъ.—

„Вонъ, скотиша!“  
 — Испортишь кровь. Ну, что кричать!  
 Вѣдь, лѣкаря придется звать...—  
 Скобѣевъ бранью разразился:  
 „Эй, люди! въ кнутья подлеца! .“  
 Старикъ съ широкаго крыльца  
 Сходилъ себѣ, не торопился;  
 Не скоро дворня собралась,  
 И перебитой разошлась.

Дулъ сильный вѣтеръ. Дождикъ лился.  
 Согнувшись, въ обуви худой,  
 Стариkъ печально шелъ домой.  
 На перекресткѣ онъ столкнулся  
 Съ торговкой, чтo-то проворчалъ,  
 Посторонился, поскользнулся,  
 И чуть средь лужи не упалъ.  
 Старуха, шамкая, сказала:  
 „Хрѣнку, родимый, не возьмешь?“ —  
 — Ну, ну! проваливай! пристала!  
 Безъ хрѣну горько не втерпежъ.. —  
 Межъ тѣмъ по улицѣ широкой,  
 Подъ ливнемъ, гнали въ край далекой  
 Толпу преступниковъ въ цѣпяхъ,  
 Съ остриженными головами,  
 Съ зловѣщимъ знакомъ на спинахъ.  
 Конвой съ примкнутыми штыками  
 Ее угрюмо окружалъ,  
 И барабанъ не умолкалъ.  
 „Пошелъ народецъ на работу!  
 Лукичъ подумалъ: да! ступай!  
 Поройся тамъ, руды въ охотку  
 И не въ охотку покопай...  
 Подать хоть гривну... сердце ноетъ...  
 Поди, Скобѣевы живутъ,  
 Ихъ въ кандалы не закуютъ:  
 Казна не шутка! Все прикроетъ!  
 Ну, вотъ тебѣ, и взялъ въ заемъ!  
 Постой! постой!.. вѣдь, этотъ домъ  
 Купца Пучкова... Э, почтенный!  
 Я про тебя и позабылъ!  
 Пучковъ, да! я ему служилъ:  
 Святоша, человѣкъ смиренный...  
 Гм... мастеръ, нечего сказать,

Горячий уголь загребать  
Чужой рукой.“

## XV.

Угрюмъ и проченъ  
Пучкова домъ. На кровлѣ тесъ  
Зеленої плѣсеню поросъ.  
Желѣзомъ на-крестъ заколоченъ  
Закрытый ставень кладовой.  
Косматый сторожъ, песъ цѣпной  
Лежитъ въ конурѣ у забора,  
Амбary въ сторонѣ стоять;  
Ихъ двери крѣпкія отъ вора  
Замки тяжелые хранятъ.  
Безлюдно въ комнатахъ просторныхъ  
(Хозяинъ не имѣлъ дѣтей  
И рѣдко принималъ гостей),  
Висятъ картинки въ рамкахъ черныхъ,  
Пыль на полахъ и по столамъ,  
И паутина по угламъ.  
Но спальня, съ желтыми стѣнами,  
Свѣтла, опрятно убрана,  
Весь уголъ занятъ образами,  
Лампадка вѣчно зажжена;  
Кровать покрыта простынею,  
И полонъ шкафъ церковныхъ книгъ;  
Иныхъ терпѣть не могъ старикъ  
И называлъ ихъ чепухою,  
Потѣхой праздныхъ болтуновъ,  
Соблазномъ молодыхъ головъ.

Въ суровой школѣ горькой нужды  
Пучковъ съ ребячества окрѣпъ;

Его отецъ былъ старъ и слѣпъ,  
 И сынъ, изнѣженности чуждый,  
 Переносилъ морозъ и зной,  
 Шатаясь по міру съ сумой.  
 Порой калѣкой притворялся,  
 За крендель колесомъ катался,  
 И на крестѣ всегда берегъ  
 Съ казной холстинный кошелекъ.  
 Одинъ купецъ, стариkъ бездѣтный,  
 Полубольной и безотвѣтный,  
 Его за бойкость полюбилъ,  
 Одѣль и въ лавку посадилъ.  
 Пріемышъ росъ, добру учился,  
 Поклоненъ, расторопенъ, тихъ,  
 За дѣломъ въ лавкѣ не лѣнился,  
 А ночью *Житія Святыхъ*  
 Читалъ хозяину оть скучи.  
 Святыхъ мужей слова и муки—  
 Все помнилъ, но изъ чудныхъ строкъ.  
 Увы! урока не извлекъ!  
 Читалъ, читалъ,—и за услугу  
 Купца ограбилъ наконецъ.  
 Не вынесъ бѣдный мой купецъ:  
 И пиль, и плакалъ, спился съ кругу,  
 И ночью, пьяный и больной,  
 Застылъ средь улицы зимой.  
 Чужаго золота наслѣдникъ,  
 Пучковъ себя не уронилъ:  
 Глядѣлъ смиренникомъ и былъ  
 О чести строгой проповѣдникъ;  
 Не кушалъ рыбы по постамъ,  
 Молился долго по ночамъ,  
 На церковь подавалъ грошами,  
 Передъ нетлѣнными мощами

Большя свѣчи зажигалъ,  
Но плутовства не покидалъ.  
И странно! плутъ не лицемѣрилъ.  
Онъ искренно въ святыню вѣрилъ.  
Да! совѣсть надо очищать!  
Чтѣ дѣлать! страшно умирать!  
Пучковъ обѣ адѣ начитался...  
И какъ же онъ чертей боялся!  
На полчаса вздрогнуть не могъ,  
Три раза „Да воскреснетъ Богъ“  
Не повторивъ. Теперь угрюмый,  
Въ очкахъ, Псалтирь читалъ онъ вслухъ,  
Но врагъ добра, лукавый духъ,  
Мutilъ его святыя думы,  
И вдругъ— съ духовной высоты  
На рынокъ, полной суеты,  
Ихъ низводилъ.

Лукичъ явился.  
Передъ Пучковымъ извинился:  
„Я, молъ, читать вамъ помѣшалъ  
И поль вотъ грязью замаралъ“...  
Хозяинъ поглядѣлъ пытливо  
На гостя, поднялся лѣниво,  
Бумажкой книгу заложилъ,  
Зѣвнуль, молитву сотворилъ  
И отвѣчалъ: „Да, дождь сегодня.  
Все хорошо: все власть Господня.  
Ты здѣшній?“

— Здѣшній мѣщанинъ.  
Не угадали?.. Карпъ Лукинъ.—  
И рѣчъ повелъ онъ стороною:  
Я, молъ, известенъ вамъ давно,

И позабыть меня грѣшно:  
 Служиль, какъ надобно. Нуждою  
 Теперь убить. Имѣю дочь...  
 И рассказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло.  
 „Гм... жаль, что не могу помочь!  
 Мое богатство улетѣло,  
 Какъ дымъ въ трубу. Все разошлось  
 По добрымъ людямъ. Да авось  
 Промаюсь... Старъ... гляжу въ могилу...  
 И время! Господи помилуй!“  
 — Нельзя-ли, сударь, пожалѣть!  
 Вы сомнѣваетесь, извѣстно...  
 Вотъ образъ—заплачу вамъ честно!  
 Безъ покаянья умереть,  
 Коли солгу!—

„Зачѣмъ божиться?“

— Да тошно! Кажется, готовъ  
 Сквозь землю лучше провалиться,  
 Чѣмъ эдакъ вотъ изъ пустяковъ  
 Просить и мучиться напрасно! —  
 „Охъ, милый, вѣрить-то опасно!“  
 И тонко намекнулъ купецъ:  
 Обманъ, моль, всюду; всякъ—хитрецъ:  
 Наскажетъ много, правды мало...  
 Да! время тяжкое настало!  
 Не мудрено въ заемъ-то дать,  
 Но каково-то получать!

Напрасно тѣломъ и душою  
 Лукичъ божился, умолялъ,  
 Въ закладъ домишко предлагалъ...  
 Кремень-купецъ махнулъ рукою:  
 „Эхъ, ну, тебя! закладъ не тотъ!“

Твой домъ не каменный! нейдетъ!“  
— Несытая твоя утроба!  
Ну, стало, голову мнѣ снять  
И подъ залогъ тебѣ отдать?  
Вѣдь, ты глядишь подъ крышу гроба!..  
Кому казну-то ты копиши?—  
„Опомнись, съ кѣмъ ты говоришь?“  
— Съ тобою, старый песъ, съ тобою!  
Ты вмѣстѣ воровалъ со мною!  
Клади мнѣ денежки на столъ!  
Дѣлисъ! я вотъ зачѣмъ пришелъ!—  
„И ты мнѣ могъ? и ты мнѣ смѣешь?“  
— Кто? я-то?... Ты не подходи!  
И въ грѣхъ, къ примѣру, не вводи,  
Убью! вотъ тутъ и околѣешь!—

Пучковъ оцѣпенѣлъ. Нѣмой,  
Стоялъ онъ съ поднятой рукой;  
Огнемъ глаза его сверкали,  
И губы синія дрожали.  
Лукичъ захохоталъ.—Ну, что-жъ!  
Ударъ, попробуй? — что-жъ не бѣешь!—  
„Вонъ, извергъ!“

— Не бранись со мною.  
Я выйду честью! не шуми!  
Не то я... прахъ тебя возьми!...  
Не стоишь, правда.... Богъ съ тобою.—

Пучковъ стоналъ. Онъ гадокъ быль:  
Безсильный гнѣвъ его душилъ.  
— Прощай! садись опять за книги,  
Копи казну, надѣнь вериги,  
Все, значитъ, о душѣ печаль...  
А жаль тебя! ей-Богу жаль!—

„Нѣтъ, не дождаться мнѣ помоги!“  
Грустилъ дорогою бѣднякъ:  
„Не вѣрять мнѣ. — Я голь! кулакъ!  
Вотъ и ходи, считай пороги,  
И гнись, и гибни ни за что.  
На то, моль, голь! кулакъ на то!  
Гм... да! Упрекъ-то, вѣдь, забавный!  
Эхъ, ты—народецъ православный!  
Не честь тебѣ лежачихъ бить,  
Безъ шапки сильныхъ обходить!  
Кулакъ... да мало-ль ихъ на свѣтѣ?  
Кулакъ катается въ каретѣ,  
Изъ грязи да въ князья ползеть  
И кровь изъ бѣднаго сосетъ...  
Кулакъ во фракѣ, въ полушибукѣ,  
И съ золотымъ шитьемъ, и въ юбкѣ, —  
Гдѣ и не думаешь,— онъ тутъ!  
Не мелочь, не грошовый плутъ,  
Не намъ чета,—подниметъ плечи,  
Прикрикнетъ,—не найдешь и рѣчи,  
Рубашку сниметъ,—все молчи,  
Господь суди васъ, палачи!  
А ты, къ примѣру, въ горькой долѣ  
На грошъ обманешь по-неволѣ,—  
Тебя согнутъ въ бараний рогъ:  
Бранятъ, и бываютъ-то, и смѣются...  
Набей карманы,—видитъ Богъ,  
Въ пріятели всѣ назовутся!  
Будь воромъ, — скажутъ: не порокъ!  
Вотъ гадость! тьфу!“

И шагъ широкой  
Старикъ съ досады ускорилъ,  
Но вдругъ его остановилъ

Стукъ рамы. Смотритъ—домъ высокой,  
 Съ кудрявымъ вензелемъ балконъ  
 Густой сиренью окруженъ.  
 Заклятый врагъ ученыхъ споровъ,  
 Его жилецъ, профессоръ Зоровъ,  
 Съ сигарой подъ окномъ стоялъ  
 И старика рукою звалъ.

## XVI.

Ученой бурсы отпечатокъ  
 Невольно Зоровъ сохранилъ:  
 Зналъ букву, глубже не ходилъ.  
 Былъ въ разговорахъ простъ и кратокъ  
 И словомъ *вотъ* ихъ украшаль;  
 Безъ нужды кашлялъ. Богъ создаль  
 Его не злымъ, но... впрочемъ—мимо:  
 Подъ-часъ молчать необходимо...  
 Деньжонки славно наживалъ.

Лукичъ быль встрѣченъ благосклонно,  
 Обласканъ,—и не мудрено:  
 У старика тому давно,  
 Мальчишка, труженикъ безсонный,  
 Путь тяжкій Зоровъ начиналь,—  
 Латинью умъ свой притупляль.  
 Плоды науки не пропали,  
 Бѣднякъ Лукичъ дивился имъ.  
 Мальчишка выросъ. Передъ нимъ  
 Теперь просители стояли;  
 Священникъ старичекъ больной,  
 И дьяконъ, тучный и рябой.

Священникъ кланялся. Съ досадой  
 Ученый мужъ рукой махалъ:

— Вашъ сынъ дуракъ! Вотъ и пропалъ!..  
И выгнали... хм... такъ и надо:  
Зазнался.

### С в я щ е н н и к ъ.

Въ чемъ же? ради Бога,  
Скажите. Онъ изъ лучшихъ былъ.

### П Р О Ф Е С С О Р Ъ.

А вотъ: воротнички носилъ,  
Да возраженій дѣлалъ много  
Наставникамъ: я, моль, уменъ,  
Въ журналы, въ чтенье погруженъ,  
Искерпалъ мудрость всю!..

*(Священникъ хочетъ возразить).*

Молчите!

Замѣтили,— онъ ничего:  
Все то-жь! Понизили его!..

*(Священникъ снова хочетъ возразить).*

Хм... погодите! погодите! .  
Понизили по спискамъ, — онъ того..  
Ученемъ занялся небрежно...  
Ну, вотъ, за то и исключенъ!..

### С в я щ е н н и к ъ.

Онъ молодъ. Онъ былъ оскорбленъ...  
Сперва учился онъ прилежно.

### П Р О Ф Е С С О Р Ъ.

По насъ хоть звѣзды онъ хватай!  
Будь скроменъ! носъ не поднимай!

Онъ кто? Воспитанникъ духовный —  
Вотъ помни! Бойкость ненужна!  
А свѣткость вздоръ, она вредна!  
Сказалъ наставникъ, — безусловно  
И вѣрь! вы думаете какъ?  
На это власть!

С в я щ е н н и къ.

Извѣстно такъ.  
Прошу васъ, сжалитесь! Два-три слова  
Сказать вамъ стоитъ — примутъ снова...  
Позвольте мнѣ, наединѣ,  
Вамъ объяснить...

П Р О Ф Е С С О РЪ.

Не время мнѣ!  
А, впрочемъ, если вы хотите,  
Пожалуй... вотъ сюда подите.

И за ученымъ мужемъ вслѣдъ  
Вошелъ проситель въ кабинетъ.  
О чемъ они тамъ толковали,  
Однѣ нѣмыя стѣны знали.  
Дверь отворилась наконецъ;  
Священникъ просто былъ мертвѣцъ,  
Такъ блѣденъ! „Вы побойтесь Бога...  
Я-бѣ больше... бѣдность... негдѣ взять“.  
— Хм... Полно, полно толковать! —  
Ученый мужъ замѣтилъ строго.  
Несчастный попъ махнулъ рукой  
И дверь захлопнулъ за собой  
Съ проклятьемъ. Зоровъ улыбнулся.

„Хорошъ! А попъ!... Чѣдно нужно вамъ?“  
И къ дьякону онъ обернулся.

— Да вотъ-съ по разнымъ клеветамъ,  
Мой сынъ... замѣтило начальство,  
Что яко-бы онъ любить пьянство... —

„Дубковъ?

— Да-съ. —

„Знаю я его!  
Исключать. Больше ничего“.  
— За чѣд же? можетъ быть? ошибкой  
Не то что выпилъ, пошалилъ... —  
И рѣчь проситель измѣнилъ  
Такъ странно, что Лукичъ съ улыбкой  
Подумалъ: круто своротилъ!  
Хитеръ!

— Я слышалъ стороною,  
Что вы нуждаетесь въ конѣ...  
Такъ все равно-съ. Позвольте мнѣ...  
Продамъ охотно. — И съ божбою  
Плечистый дьяконъ увѣрялъ:  
— Конь добрый! я на немъ пахалъ! —  
„Взглянуть, пожалуй, не мѣшаетъ.  
Вы приведите-ка его...  
Не норовистъ онъ?“

— Ничего.

Узду, случается, скидаетъ:  
Извѣстно, наши батраки  
Лѣнтия или дураки.  
Какой присмотръ! —

„Хм.. Знаю, знаю!

Пусть поисправится вашъ сынъ.  
Вы вотъ-что, я предупреждаю,  
Вѣдь, я зависимъ... не одинъ,  
Тутъ нужно...“

— Какъ-же-сь! понимаю! —

И тучный дьяконъ вышелъ вонъ,  
Отдавъ почтительный поклонъ.

ПРОФЕССОРЪ.

Ну, чтб, Лукичъ, не надоѣло  
Стоять, да слушать? Извини...

Лукичъ.  
Помилуйте!

ПРОФЕССОРЪ.

Вотъ мы одни...  
Садись.

Лукичъ (*Садится*).

Вы звали. Вѣрно, дѣло...

ПРОФЕССОРЪ.

Хм... я коня хотѣлъ купить, —  
Раздумалъ. Надо погодить.

Лукичъ (*лукаво улыбается*).

Такъ-съ.

ПРОФЕССОРЪ.

Хорошо-ли поживаешь?

Лукичъ.

По старому-съ! и такъ и сякъ.

ПРОФЕССОРЪ.

Ну, а бываетъ, выпиваешь?

Лукичъ.

Ни капли! чтб я за дуракъ!  
Да какъ живете вы отлично!  
Полы подъ лакомъ, хоть глядись,  
Диваны, кресла...

ПРОФЕССОРЪ (*смѣется*).

Хм... Прилично...  
Нельзя, деньжонки завелись!

Лукичъ (*вздыхая*).

Да-съ! Вы попали на дорогу.  
И правда, что ученье свѣтъ.  
Поить и кормить... Я вотъ сѣдъ,  
И все дуракъ! Бѣда, ей-Богу!  
Тутъ бѣдность...

ПРОФЕССОРЪ.

Ты бы мнѣ сказалъ.  
Ты знаешь, я не скупъ; я-бъ далъ.

Лукичъ.

Сказалъ бы, сударь... какъ-то стыдно!

*Соч. И. С. Никитина. Т. II.*

## ПРОФЕССОРЪ.

Хм... вотъ пустякъ! забылъ ты, видно,  
Какъ у тебя я въ домѣ жилъ,  
Уроки-то въ саду училъ!

ЛУКИЧЪ (*смотритъ на дипломъ профессора*).

Я все гляжу, спросить не смѣю,  
На этотъ листъ... вотъ-съ на стѣнѣ...

ПРОФЕССОРЪ (*самодовольно улыбается*).

Прочти.

ЛУКИЧЪ.

Нѣть, сударь, не съумѣю.  
Написано-то не при мнѣ.

ПРОФЕССОРЪ.

Вотъ слушай:

(*встаетъ и читаетъ*)

Ecclesiasticae Academiae conventus  
pro potestate sibi concessa

Dominum Zorow:

Magistrum sanciorum humaniorumque litterarum  
solenni hoc diplome declarat honoremque ei ac  
privilegia concessa, decrevisse ac contulisse publice  
testatur.

Понялъ?

**Лукичъ** (*съ улыбкою почесывая затылокъ*).

Хоть-бы слово!  
Кого Господь-то умудритъ!  
Гм... диво! Вижу въ рамкѣ новой,  
Съ большой печатью листъ виситъ—  
И только. Правда, что наука!

**Профессоръ** (*смѣется*).

Вотъ то-то! Въ немъ-то вся и штука!

**Лукичъ** (*переминаясь*).

А чтò бы васъ я попросилъ...—  
И тутъ стариkъ заговорилъ  
О свадьбѣ Саши, о заемѣ,  
О закладной на домъ, о домѣ,—  
И на лицѣ своемъ потомъ  
Горячій потъ отеръ платкомъ,  
Вздохнулъ и низко поклонился.  
Ученый мужъ не отвѣчалъ,  
Въ раздумья медленно шагалъ  
И кашлялъ,— вдругъ остановился.  
„Ты вотъ-что, ты отдашь мнѣ въ срокъ?“  
— Не выди я за вашъ порогъ!..—  
„Изволь! сегодня я разстроенъ:  
Дѣлъ пропасть...“

— Значитъ, до утра?  
Такъ я въ надеждѣ.

„Будь покоенъ!  
Я дамъ“.

А! сынъ пономаря!..  
Изъ грязи вышелъ,—не забылся!  
Лукичъ подумалъ—и простился.

## XVII.

Все рѣшено. Осталась ночь.  
Заря надъ лѣсомъ догорала,  
По желтымъ живилямъ тѣнь бѣжала.  
Увы, измученная дочь  
День свадьбы грустно ожидала,  
Въ послѣдній разъ теперь рыдала  
Въ объятьяхъ матери,— и мать  
Ее не смѣла утѣшать.  
Онѣ другъ друга понимали,  
Что впереди, о томъ молчали,  
А горе прожитыхъ годовъ  
Такъ живо было, что безъ словъ  
Душа рвалась и въ мукахъ ныла.  
Но эти муки дочь таила,  
Нѣма съ отцомъ своимъ была,  
Межъ ними пропасть вдругъ легла  
И Сашу на-вѣкъ отѣлила  
Отъ старика... и тѣмъ больнѣй  
Была тоска послѣднихъ дней,  
Тяжелѣ рядъ ночей безсонныхъ,  
Невѣстой въ пыткѣ проведенныхыхъ!.. \*)

И вотъ пиръ свадебный умолкъ.  
Утихъ о немъ соѣдей толкъ,  
Угомонились пересуды,  
Средь улицъ гости не поютъ,  
Не пляшутъ, и въ домахъ посуды  
Подъ пѣсни пьяныя не бьютъ.

\*) См. „Примѣчанія“. стр. 8, № 14-й.

Арина вдругъ осиротѣла.  
 Грустить за дѣломъ и безъ дѣла,  
 Чуть скрипнетъ дверь, — она вздрогнетъ,  
 И слушаетъ, и Сашу ждетъ.  
 Безъ Саши горенка скучнѣе,  
 И время кажется длиннѣе,  
 И котъ не весель: спитъ въ углу,  
 Не поиграетъ на полу  
 Клубкомъ старушки. Чуть смеркаеть,  
 Она калитку запираетъ,  
 И съ робостью обходитъ дворъ —  
 Не притаился-ли гдѣ воръ,  
 И мужа ждетъ, и спицамъ снова  
 Въ ея рукахъ покоя нѣть...  
 Едва покажется разсвѣтъ,  
 Работа прежняя готова;  
 Старушкѣ не съ кѣмъ говорить,  
 Тоски и грусти раздѣлить:  
 Рѣчъ мужа, какъ всегда, сурова...  
 Но Саша блѣдная придетъ,  
 Арина такъ и обовьетъ  
 Ее руками: „Ахъ, родная,  
 Здорова-ль? Присядь, присядь!  
 Здорова-ли?“ повторяетъ мать,  
 Съ улыбкой слезы утирая;  
 „Легко-ль! недѣлю не была!  
 Ужъ я тебя ждала, ждала!  
 Ну, какъ живешь?“ И осторожно  
 О всякой мелочи ничтожной  
 Ее разспросить. „Ты смотри,  
 Ты не таись, молъ, говори...  
 Все хорошо? Ну, слава Богу!“  
 И въ лавочку черезъ дорогу  
 Съ копѣйкой трудовой спѣшить

И Сашу чаемъ угостить.  
 Свой садъ старушка позабыла:  
 Мать столяра ей досадила  
 Упрекомъ, бранью каждый день  
 Черезъ изломанный плетень:  
 — Здорово, другъ! въ саду гуляешь?  
 Хозяйка! яблоки считаешь?  
 Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,  
 Поймаю, — прямо подъ топоръ! —  
 Арина головой качала  
 И ничего не отвѣчала.  
 Она не зла, моль... это такъ:  
 Всему причина — Сашинъ бракъ.

Лукичъ на рынкѣ ежедневно  
 Встрѣчался съ зятемъ. Всякій вздоръ  
 Входилъ въ ихъ длинный разговоръ,  
 Оканчиваясь непремѣнно  
 Разумнымъ толкомъ о дѣлахъ:  
 О добротѣ хлѣбовъ въ поляхъ,  
 О томъ, что мужики умнѣютъ,  
 Не такъ легко въ обманъ идутъ,  
 Что краснорядцы богатѣютъ:  
 За рубль по гривнѣ отдаютъ...  
 Лукичъ смѣялся: „просто — чудо!  
 Глуна ты, матушка Москва!  
 Всѣмъ вѣришь!“ — Этимъ и жива.  
 Не ошибется... А не худо  
 Того-съ... — зять добрый замѣчалъ  
 И тестя къ чаю приглашалъ.

Онъ, видно, мнѣ не довѣряетъ,  
 Тесть думаль: право не поймешь...  
 И чаемъ вдоволь угощаетъ,

И льстить,—а толку ни на грошъ.  
 Я говорю, къ примѣру, буду  
 Тебѣ въ торговлѣ помогать,  
 Чужихъ равно, моль, нанимать...  
 — Извольте-съ! я васъ не забуду.  
 У насъ торговый оборотъ  
 Зимою-съ... вотъ зима придетъ.  
 Посмотримъ, какъ зима настанетъ...  
 Ну, если онъ меня обманетъ,  
 И я останусь въ дуракахъ,  
 Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?  
 За чѣ же такъ? Дитя родное  
 Принудилъ. Самъ теперь въ долгу...  
 Нѣтъ, это черезчуръ! пустое!  
 Нельзя! и думать не могу!

## XVIII.

Настала осень. Скученъ городъ.  
 Дожди, туманы, рѣзкій холодъ,  
 Ночь черная и сѣрый день,—  
 И по нуждѣ покинуть лѣнъ  
 Свой теплый уголъ. Вечерами  
 Вороны, галки надъ садами  
 Кричатъ, сбираясь на ночлегъ.  
 Порой нежданный, мокрый, снѣгъ  
 Кружится, кровли покрываетъ,  
 Къ лицу и платью пристаетъ,  
 И снова мелкій дождь пойдетъ,  
 И вѣтеръ свистомъ досаждаетъ.  
 Куда ни глянешь,—ручейки,  
 Да грязь и лужи. Окна плачутъ,  
 И морщась, пѣшешоды прячутъ  
 Свои носы въ воротники. •

Лукичъ съ досадой молчаливой  
Поглядывалъ нетерпѣливо  
На небо, снѣга поджидаль  
И непогоду проклиналь.  
На рынкѣ нечѣмъ поживиться:  
Дороги плохи, нѣть крестьянъ;  
Ходи, глотай сырой туманъ,  
Пришлось хоть воздухомъ кормиться!  
На зло кулакъ-молокосось  
Надъ нимъ трунить: „Повѣсилъ нось!  
Неволя по грязи шататься!  
Не молодъ, время отдохнуть  
И честнымъ промысломъ заняться!  
Сидѣль-бы съ чашкой гдѣ-нибудь...“  
Сюртукъ въ дырахъ, сквозь крышу льется,  
Въ окошки дуетъ, печь худа,  
На что ни взглянешь,—сердце рвется,  
Хоть умереть, такъ не бѣда.

Дождь каплетъ. Темными клоками,  
Рѣдѣя, облака летятъ.  
Вороны на плетнѣ сидятъ,  
Такъ мокры, жалки. Подъ ногами  
Листы поблеклые шумятъ.  
Садъ тихъ. Деревья почернѣли,  
Стыдясь невольной наготы;  
Въ туманѣ прячутся кусты;  
Грачей пустыя колыбели  
Качаетъ вѣтеръ, и мертвa  
Къ землѣ припавшая трава.

Лукичъ стоитъ подъ старой ивой,  
Въ рукѣ топоръ, въ глазахъ печаль.  
Пришлось бѣднягѣ на топливо

Рубить деревья,—крѣпко жаль,  
Да надо: все дровамъ замѣна,  
Ихъ въ цѣломъ домъ ни полѣна...  
И засучилъ онъ рукава.  
Чтѣ-жъ выбрать? Эти дерева  
Своей рукой отецъ покойный  
Ему на память посадилъ;  
Подъ этой ивой онъ любилъ  
Вздремнуть на травкѣ въ полдень знойный...  
„Эхъ-ма! нужда!“ Топоръ стучитъ —  
Съ плетня вороны улетаютъ,  
А щепки воздухъ разсѣкаютъ,  
И ива, падая, скрипитъ.

Старушка печку затопила,  
Лукичъ на коникѣ прилегъ.  
„О чѣмъ грустишь?“ жена спросила.  
— Такъ, что-то мочи нѣть, продрогъ.—  
„Что зять-то? какъ?“

— Смотри за щами,  
Въ мужское дѣло не входи! —  
„О-охъ, не ошибись, гляди!  
Домъ заложилъ... что будетъ съ нами,  
Когда не выкупимъ?“

— Опять!  
Нельзя, къ примѣру, помолчать? —

Дверь отворилась, и горбатый,  
Въ халатѣ, съ палкой суковатой,  
Длиннобородый мужичекъ  
Сказалъ съ поклономъ: „Встань дружокъ!  
Хозяинъ умный, тороватый!“

Явился гость,—и ты не радъ,  
И я, соколъ, невиноватъ.  
— Мы погодя побалагуримъ.  
Ты кто? Зачѣмъ?—

„Да встань-ко, встань!  
Не погоняй! кнута не любимъ...  
Теперь подушное достань“.  
— Ты, знать, отъ старости? Разсыльный?—  
„Узналь, сударикъ мой, узналь!“  
— Присядь: ты, кажется, усталъ...  
Ну, чтб сегодня? Вѣтеръ сильный?..  
Я, знаешь, все въ избѣ сижу,  
На дворъ, къ примѣру не хожу,  
Нога болитъ.—

„Хэ-хэ! проказникъ!  
Испиль воды на свѣтлый праздникъ!  
Болитъ съ похмѣлья голова...  
Хитеръ на красныя слова“.  
— Чего! ей-ей, болить! безъ шутокъ!—  
Вотъ видишь!.. Охъ! не наступлю!—  
„Хэ-хэ, сударикъ мой, люблю!  
Нужда горька безъ прибаутокъ...  
Достань-ко деньги-то, родной,  
Инъ—къ старостѣ пойдемъ со мной“.  
— Да я бы радъ! недугъ проклятый!  
Какъ быть?—

„Подушное платить!  
Я вотъ стариkъ, и самъ девятый  
Живу—плачу!.. не стать-тужить.  
Шесть душъ дѣтей, жена седьмая,  
Да я съ горбомъ... Пойдемъ, пойдемъ!

Какая тамъ нога больная!“  
— Скажи, что дома не засталъ,  
Изъ города, моль, отлучился...—  
И въ кошелькѣ Лукичъ порылся,  
Послѣдній гривенникъ досталъ.  
Хэ-хэ, сударикъ, маловато!“  
— Ей-Богу, больше гроша нѣтъ!—  
„Ну, за тобою, дѣло свято...  
Прощай покудова, мой свѣтъ!“  
„Теперь на хлѣбъ добудь, гдѣ знаешь!“  
Лукичъ подумалъ—и вздохнулъ,  
И кошелекъ на столъ швырнуль.  
„Не радъ хромать, да захромаешь!  
Попробуй-ка пожить вотъ-такъ...  
А, вѣдь, кричать: кулакъ! кулакъ!“

## XIX.

Вотъ и зима. Трешатъ морозы.  
На солнцѣ искрится снѣжокъ.  
Пошли съ товарами обозы  
По Руси вдоль и поперекъ.  
Ползетъ, скрипитъ дубовый полозъ,  
Рѣка-ли степь-ли,— нѣтъ нужды:  
Вездѣ проложатся слѣды!  
На мужичкѣ бѣлѣетъ волосъ,  
Но весель онъ; идетъ-кряхтитъ,  
Казну на холодѣ копитъ.

Кому путекъ, кому дорога —  
Аринѣ дома дѣла много!  
Вставая съ раннею зарей,  
Она ходила за водой;

Порой бѣлье чужое мыла,  
 Дескать, работа не порокъ,  
 Все будетъ хлѣбушка кусокъ;  
 Порою и дрова рубила,  
 Когда Лукичъ на печкѣ спаль,  
 Похмѣлье храпомъ выгонялъ;  
 Отъ стужи кашляла, терпѣла  
 И напослѣдокъ заболѣла.  
 Лежитъ недѣлю — легче нѣтъ;  
 Уста спеклись, все тѣло ноетъ;  
 Едва глаза она закроетъ,  
 Живьемъ изъ мрака прежнихъ лѣтъ  
 Встаютъ забытыя видѣнья...  
 Вотъ вспомнилась съ грозою ночь:  
 Въ густомъ саду шумятъ деревья,  
 Изъ теплой колыбели дочь  
 Головку въ страхѣ поднимаетъ,  
 И громко плачетъ, и дрожитъ,  
 А мужъ неистово кричитъ  
 И стулья, шатаясь, разбиваетъ...  
 Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ,  
 Малютка, убранный цвѣтами,  
 Покоится подъ образами;  
 Блеститъ въ лампадѣ огонекъ,  
 Въ углу кадильница дымится;  
 Столъ бѣлой скатертью накрытъ,  
 Подъ кисеей младенецъ спить,  
 Она отъ вѣтра шевелится,  
 А солнце въ горенку глядитъ,  
 На трупѣ весело играя...  
 И мечется въ жару больная;  
 Въ ушахъ звенитъ, въ глазахъ темно,  
 Изъ глазъ ручьями слезы ляются,  
 Межъ тѣмъ какъ съ улицы въ окно

Къ ней звуки музыки несутся,—  
 Тамъ свадьбу празднуй, идетъ  
 Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сброль...  
 Въ борьбѣ съ мучительнымъ недугомъ,  
 Смотря безсмысленно кругомъ,  
 Старушка встанетъ и потомъ,  
 Вся потрясенная испугомъ,  
 Со стономъ снова упадеть  
 И дочь въ безпамятствѣ зоветъ.

Лукичъ измучился съ больною:  
 Самъ кой-какъ печку затопляль  
 И непривычною рукою  
 Себѣ обѣль приготовляль.  
 Спѣшилъ на рынокъ, съ рынка снова  
 Жену провѣдать приходилъ,  
 Малиной теплою поилъ:  
 Вспотѣешь, будешь, молъ, здорова,—  
 И снова домъ свой покидалъ,  
 Куска насущнаго искалъ.

Вотъ входить Саша. Мать больная,  
 Кряхтя, ей дѣлаеть упрекъ:  
 „Ты рѣдко ходишь, мой дружокъ;  
 Я умираю, дорогая...  
 Охъ, тошно! такъ и давитъ грудь!  
 Хоть бы на солнышко взглянуть,  
 Все снѣгъ, да снѣгъ...“

— Я къ вамъ хотѣла  
 Вчера придти, да то дѣла,  
 То гости... — Саша солгала;  
 Свекровь ей просто не велѣла,  
 Не приказалъ и мужъ: авось

Еще, молъ, свидишься, небось!  
 Старушка ложь подозрѣвала,  
 По голосу ее узнала,  
 А голосъ Саши грустенъ быль!  
 „Дитя мое, я... Богъ судилъ...  
 Дай руку!... дай, моя родная!  
 Такъ... крѣпче жми! ну, вотъ теперь  
 Легко...“ И плакала больная,  
 Рыдала дочь. Безъ шума въ дверь  
 Входила смерть.

Былъ темный вечеръ.

Порывистый, холодный вѣтеръ  
 Въ трубѣ печально завывалъ.  
 Лукичъ встревоженный стоялъ  
 У ногъ Арины. Дочь глядѣла  
 На умирающую мать,  
 И все сильнѣй, сильнѣй блѣднѣла.  
 Старушка стала умолкать  
 И постепенно холодѣла,  
 И содроганья ногъ и рукъ,  
 Послѣдній знакъ тяжелыхъ мукъ,  
 Ослабѣвали. Вдругъ, рыдая,  
 Упала на колѣни дочь:  
 „Благослови меня, родная!“  
 — Отецъ твой... нищій... ты помочь  
 Ему... нашъ домъ... и рѣчъ осталась  
 Неконченной, — и тихій стонъ  
 Смѣнилъ слова. Но вотъ и онъ  
 Умолкъ. Развязка приближалась:  
 Въ тоскѣ поднятая рука,  
 Какъ плеть упала. Грудь слегка  
 Приподнялась и опустилась,  
 Дыханье рѣже становилось,

Взоръ неподвижный угасаль,  
По тѣлу трепетъ пробѣжалъ, —  
И стихло все... Не умолкалъ  
Лишь бури вой.

„Одинъ остался!  
Одинъ, какъ перстъ!“ Лукичъ сказалъ,  
Закрылъ лицо — и зарыдалъ...

Уснуло доброе созданье!  
Жизнь кончена. И какъ она  
Была печальна и бѣдна!  
Стряпня и вѣчное вязанье,  
Забота въ домѣ приглядѣть,  
Да съ голоду не умереть!  
На пьянство мужа тайный ропотъ,  
Порой побои отъ него,  
Про бытъ чужой несмѣлый шопотъ,  
Да слезы... больше ничего!  
И эта мелочь мозгъ душила  
И человѣка въ гробъ свела!  
Страшна ты, роковая сила  
Нужды и мелочного зла!  
Какъ громъ, ты не убьешь мгновенно,  
Войдешь ты, — поль не заскрипить,  
А душишь, душишь постепенно,  
Покуда жертва захрипитъ!

Съ разсвѣтомъ буря замолчала.  
Арина на столѣ лежала.  
Въ лампадкѣ огонекъ сіялъ;  
Онъ какъ-то странно освѣщалъ  
Лицо покойницы-старушки,  
И неподвижной и нѣмой,

И бѣлые углы подушки,  
Прижатой мертвай головой.  
Убитый горемъ и тоскою,  
Передъ иконою святою  
Лукичъ всю ночь Псалтирь читалъ.  
Унылъ и тихъ его былъ голосъ;  
Отъ страха жосткій, черный волосъ  
На головѣ не разъ вставалъ.  
Казалось, строго, и суроно  
Глядѣла блѣдная жена;  
Раба доселъ, съ жизнью новой  
Вдругъ измѣнилася она, —  
Свою печаль припоминала  
И мужу казнью угрожала...  
Старикъ внимательнѣй читалъ  
И ничего не понималъ.  
Всѣ буквы, мнилось, оживали,  
Плясали, разбѣгались вдругъ...  
При оборотѣ издавали  
Листы какой-то чудный звукъ...

Межъ тѣмъ сосѣдки понемногу  
Набились въ горенку. Однѣ  
Вздыхали и молились Богу,  
Другія въ грустной тишинѣ  
Съ тяжелой думою стояли,  
Иль обѣ усопшѣй толковали,  
Что, вотъ-де, каковы дѣла —  
Жила, жила, — да умерла!  
Мать столяра въ углу стояла,  
Съ кумой любимою шептала:  
„Вѣль, на покойницѣ платокъ,  
Чтобъ тряпка... ай-да муженекъ!  
Убранъ жену, кулакъ проклятый!

О платье и не говорю —  
 Я вчужбъ отъ стыда горю:  
 Съ заплатой, кажется, съ заплатой!..  
 А дочь слезинки не прольетъ...  
 Вотъ срамъ-то! инда зло береть!  
 Ахъ, я тебѣ и не сказала!  
 Она за сына моего  
 Хотѣла выйти... каково?  
 Да я-то шишишъ ей показала!  
 И мать-то, помянуть не тѣмъ,  
 Глупа была, глупа совсѣмъ!“

Сосѣдки вышли. Сталъ совѣта  
 Отецъ у дочери просить:  
 „Ну, Саша! мать вотъ неотпѣта,  
 Гдѣ деньги? чѣмъ мнѣ хоронить?“  
 — Мой мужъ поможетъ. Попросите  
 Здѣсь посидѣть кого-нибудь  
 И вслѣдъ за мною приходите. —  
 „Да! надо, надо шею гнуть!  
 И по дѣломъ мнѣ! охъ, какъ стою!“  
 И крѣпко жилистой рукою,  
 Остановя на трупѣ взоръ,  
 Свой блѣдный лобъ старикъ потеръ.

## XX.

Румянъ, плечистъ, причесанъ гладко,  
 Тарасъ Петровичъ за тетрадкой  
 Въ рубашкѣ розовой сидѣлъ,  
 На цифры барышей глядѣлъ  
 И улыбался. Подъ рукою  
 Сіяли проволоки счетъ;

Зеленый плющъ надъ головою  
 Висѣлъ съ окна. Полна заботъ,  
 За чаемъ Саша хлопотала.  
 Пѣлъ пѣсни свѣтлый самоваръ;  
 Въ лежанкѣ загребенный жаръ  
 Краснѣлъ; струей перебѣгало  
 По углямъ полымя. И вдругъ  
 Часы издали странный звукъ,  
 Шипѣли долго и лѣниво,  
 И, съ пятнышками вмѣсто глазъ,  
 Кукушка сѣрая тоскливо  
 Прокуковала восемь разъ.

Лукичъ вошелъ, — и сердце сжалось  
 У Саши. Жалокъ быль отецъ!  
 Оборванъ, блѣденъ... грусть, казалось,  
 Его убила наконецъ.  
 Едва старикъ перекрестился,  
 Румяный зять его вскочилъ  
 И сожалѣнья изъявилъ,  
 Что доброй тещи онъ лишился,  
 „Мнѣ, моль, жена передала,  
 Святая женщина была!..“  
 — Вотъ надо спрavitъ погребенье...  
 Нѣть гроба... сдѣтай одолженъ...  
 Дай помочь! —

„Отъ добра не прочь,  
 Зачѣмъ родному не помочь!...  
 Гм... жаль! я думаю — простуда!“  
 — Богъ знаетъ чтѣ, да умерла. —  
 „Я полагаю-сь, смерть пришла...  
 Вотъ выпейте чайку покуда!“  
 — Благодарю! не до того. —

„Напрасно съ, это не мѣшаетъ;  
 Онъ эдакъ грудь разогрѣваетъ...“  
 — Да я не зябну. Ничего...  
 Не позабудь, къ примѣру, въ горѣ! —  
 „Вотъ ключъ позвольте отыскать...  
 Я много не могу вамъ дать,  
 Не то что... да-съ! Нѣтъ денегъ въ сборѣ“.  
 — Не добивай! я такъ убитъ! —  
 „О томъ никто не говоритъ!  
 На счетъ того-съ... оно, конечно,  
 Родню позабывать грѣшно,  
 Да, вѣдь, грѣшно и жить безопасно,  
 Да-съ! поскольку знетесь неравно!  
 На вѣсть вотъ тулушишко рваный,  
 Изъ сапогъ носки глядятъ,  
 А вы намедни были пьяны...  
 Выходитъ, кто же виноватъ?“  
 — Охъ, знаю, другъ мой! Все я знаю!  
 Вѣдь, пить неволя иногда!  
 Ты думаешь, мнѣ нѣтъ стыда,  
 Что плутовствомъ я промышляю,  
 Хитрю, ъмъ хлѣбъ чужой, какъ воръ? —  
 „Разсчетъ въ торговлѣ не укоръ...  
 Все это пустяки — и только,  
 На печкѣ хочется лежать!  
 На рынкѣ горько промышлять,  
 Ну-съ, а просить теперь не горько?“  
 — Вѣстимо... если-бы ты зналъ!  
 Осмѣянъ всѣми, обнишаль,  
 Тутъ совѣсть не даетъ покою...  
 Зять! не пусти меня съ сумою!  
 Дай мнѣ подъ старость отдохнуть!  
 Поставь меня на честный путь!  
 Дай дѣло мнѣ! Господь порука, —

Не буду пить и плутовать! —  
 „Привыкли-съ. Трудно перестать!  
 Вотъ, значитъ, вамъ впередъ наука...  
 На похороны помогу,  
 Насчетъ другаго-съ, — не могу“.  
 — И съ бородою посыдѣлой  
 Опять мнѣ грабить мужиковъ?  
 Пойми ты, доброе-ли дѣло!  
 Неужто воръ я изъ воровъ?  
 Зять! Богомъ, значитъ, умоляю,  
 Подумай! Выручи! —

„Опять!  
 Охота вамъ слова терять!  
 Нельзя-съ! По чести завѣряю...  
 Рубль серебра, извольте, дамъ“.  
 — Такъ я, выходитъ, по домамъ  
 На тѣло мертвое собираю...  
 Ну, есть-ли стыдъ въ тебѣ и честь?  
 Вѣдь, я не нищий! я твой тестъ!  
 Вѣдь, я прошу не подаянья, —  
 Взаемъ. Ты слышишь, или нѣтъ? —  
 „А я даю изъ состраданья,  
 Не то что... да-съ! и мой совѣтъ:  
 Не надо брезгать“.

Саша встала.

Негодованія полна,  
 Казалось, выросла она  
 И мужу съ твердостью сказала:  
 „Я свой салопъ отдамъ въ закладъ —  
 И мать похороню!“

— Чудесно-съ!  
 Гм... дочка нѣжная... извѣстно-съ...

Хе-хе! Бывает — не велять! —  
 „Ну, если такъ, найду другое...  
 Вотъ обручальное кольцо...“  
 И Саши блѣдное лицо  
 Покрылось краскою.

— Пустое!  
 Не смѣешь, значитъ! —

„Саша, Саша!  
 Оставь! скоронимъ какъ-нибудь!“  
 Отецъ сказалъ.

— Нѣтъ, воля ваша!  
 Ужъ у меня изныла грудь  
 Отъ этой жизни... я молчала...  
 Онъ мягко стелетъ, жестко спать...  
 Пусть бьетъ! я не хочу скрывать!  
 Больною мать моя лежала;  
 Я мать провѣдать не могла!  
 Боится — столяра увижу... —  
 „Столяръ мнѣ чтоб? молва была...  
 Онъ плутъ! плутовъ я ненавижу.  
 Мужъ хоть и лыкомъ сшитъ, — люби,  
 Да знай стряпню, да не груби,  
 На то жена!“

— О, будь увѣренъ!  
 Я буду стряпать и молчать!  
 Но подъ замкомъ себя держать  
 Я не позволю!.. —

„Не намѣренъ...  
 Нельзя-съ, законная жена...“

А мужа ты любить должна —  
Вотъ только!“

Саша улыбнулась.  
Мужъ отъ улыбки поблѣднѣлъ,  
Но вмигъ собою овладѣлъ.  
„Все вздоръ! изъ пустяковъ надулась!  
Объ этомъ мы поговоримъ  
Наединѣ-сь... А вотъ роднымъ  
Поможемъ. Нужно — и дадимъ.  
Держите, батенька, Богъ съ вами!“

Тесть, молча, подаянье взялъ, —  
И точно память потерялъ:  
Пошевелилъ слегка губами,  
На зятя кинулъ мутный взоръ  
И крупный потъ на лбу отеръ.  
„А вамъ пора за умъ приняться!  
Прибавилъ зять: вы нашъ родной,  
Не съ поля вихорь, не чужой.  
А съ пьянымъ нечего мнѣ знаться!“

Старикъ съ поклономъ вышелъ вонъ.  
О чемъ-то, бѣдный, думалъ онъ?  
Но вѣрно думою печальной  
Былъ возмущенъ: на рынокъ щель —  
И, Богъ вѣсть почему, забрелъ  
Въ какой-то переулокъ дальний;  
Опомнившись, взглянулъ кругомъ, —  
И зятя назвалъ подлецомъ.

Добычи рыночной остатокъ  
Давно Лукичъ рублей десятокъ  
Въ жилетѣ плисовомъ берегъ.

Теперь вотъ зять ему помогъ,  
 На все достало, слава Богу!  
 Купиль онъ ладону, свѣчай,  
 Изюму, меду, калачай,  
 Вина, — конечно, по-немногу;  
 Поденьщиковъ приговорилъ  
 Могилу рыть и гробъ купилъ.  
 Принесъ его въ свою избушку,  
 Перекрестился, крышку снялъ,  
 На днѣ колстину разостлалъ,  
 Съ молитвой положилъ старушку,  
 Съ молитвою свѣчу зажегъ, —  
 И сѣль въ раздумыи въ уголокъ.  
 Курился ладонъ. Все молчало.  
 Играло солнце на стѣнѣ.  
 Бѣлѣлись свѣчи на окнѣ,  
 Стекло алмазами сверкало,  
 Старушка, мнилося, спала, —  
 Такъ въ гробѣ хороша была!  
 „Вотъ, думалъ онъ, вотъ жизнь-то наша!  
 Не даромъ сказано, чтõ цвѣтъ,  
 Ногою смяль его и нѣтъ.  
 Умру и я, умретъ и Саша,  
 И ни одна душа потомъ  
 Меня не вспомнитъ... Боже, Боже!  
 А, вѣдь, и я трудился тоже,  
 Весь вѣкъ и худомъ и добромъ  
 Сбивалъ копѣйку. Зной и холодъ,  
 Насмѣшки, брань, укоры, голодъ,  
 Побои, все переносилъ!  
 Изъ-за чего? Ну, чтб скопилъ?  
 Тулупъ остался, да рубаха,  
 А краль безъ совѣсти и страха!  
 Охъ, горе, горе! Вѣдь, метла

Годится въ дѣло! чѣ-же я-то?  
 Чѣ-то сдѣлалъ, кромѣ зла?  
 Вотъ свѣчи... гробъ... гдѣ это взято?  
 Крестьянинъ, мужичекъ бѣднякъ  
 На пашнѣ потомъ обливался  
 И продалъ рожь... а я, кулакъ,  
 Я пьяница, не побоялся,  
 Не постыдился никого,  
 Какъ воръ безсовѣстный, обмѣрилъ,  
 Ограбилъ, осмѣяль его —  
 И смертной клятвою увѣрилъ,  
 Что я не плутъ!.. Все терпить Богъ!..  
 Вотъ зять, какъ нищему, помогъ...  
 Въ глазахъ мутилось, сердце ныло, —  
 Я въ поясъ кланялся, просилъ!..  
 А, вѣдь, и я добро любиль,  
 Оно, вѣдь, дорого мнѣ было!  
 И смѣль, и молодъ, помню, разъ  
 Въ грозу и непогоду весною  
 Я утопающаго спасъ.  
 Когда онъ съ мокрой головою,  
 Нагой, на берегу лежалъ,  
 Открылъ глаза, пошевелился  
 И крѣпко руку мнѣ пожалъ...  
 Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ  
 И радостно перекрестился!  
 И все пропало! Все забылъ!..“

И голову онъ опустилъ;  
 И, задушить его готова,  
 Вся мерзость, прожитая снова,  
 Съ укоромъ грознымъ передъ нимъ  
 Стояла призракомъ нѣмымъ.

Бѣднякъ! бѣднякъ! печальной доли  
 Тебя урокъ не вразумилъ!  
 Своихъ цѣпей ты не разбилъ,  
 Послушный рабъ безсильной воли!  
 Ты понималъ, что честный трудъ  
 И путь иной тебѣ возможенъ,  
 Что ты, добра живой сосудъ,  
 Не совершенно уничтоженъ;  
 Ты плакалъ и на помощь звалъ...  
 Подхваченный нужды волнами,  
 Въ послѣдній разъ взмахнулъ руками  
 И... въ грязномъ омутѣ пропалъ!..

## XXI.

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли,  
 Чредѣ обычной нѣтъ конца!  
 Кричитъ младенецъ въ колыбели,  
 Несутъ въ могилу мертвѣца.  
 Живи, трудись, людское племя,  
 Вопросы мудрые рѣшай,  
 Сырую землю удобряй  
 Свою плотью!.. Время, время!  
 Когда твоя устанетъ мочь?  
 Какъ страшный жерновъ день и ночь,  
 Вращаясь силою незримой,  
 Работаешь неудержимо  
 Ты въ Божьемъ мірѣ. Дѣла нѣтъ  
 Тебѣ до нашихъ слезъ и бѣдъ!  
 Ихъ доля—вѣчное забвенье!  
 Ты даешь широкій оборотъ,—  
 И ляжетъ прахомъ поколѣнья,  
 Другое очереди ждетъ!

Прошло два года. Дымъ столбами  
 Идетъ изъ трубъ. Снѣгъ порошить.  
 Чуть солнце сквозь туманъ глядитъ,  
 Не грѣя блѣдными лучами.  
 Старушка добрая, зима  
 Покрыла шапками дома.  
 Заутро Рождество святое.  
 Санями рынокъ запруженъ,  
 Торговлей шумной оживленъ.  
 Желудка рабъ, какъ все живое,  
 Народъ кишитъ вокругъ цыплятъ,  
 Гусей, свиней и поросятъ.

„Пошелъ нальво!“ торопливо  
 Скобѣевъ кучеру кричитъ  
 И палкой нищему грозитъ:  
 „Ты что присталь?“ Но вдругъ учтиво  
 Кивнулъ кому-то головой:  
 „Деревня Долбина за мной!  
 Съ торговъ... поздравьте...“—Ой, пропала!  
 Ахъ, чтобы вамъ не было добра!  
 Вотъ мужичье!..—Мать столяра  
 Едва подъ лошадь не попала,  
 Къ горшкамъ съ кумою отошла,  
 Бесѣду снова повела:  
 — И говорю я это сыну:  
 „Оставь, моль, ты свою кручину!“  
 Нѣть! долго Сашу вспоминаль!  
 И вотъ чтò было—запивалъ!  
 Теперь ни-ни! Взялся за дѣло...  
 Поди, ты! не женю никакъ,  
 Прошу, прошу,—такой дуракъ!  
 Виши, рано... время не приспѣло...  
 Да вретъ онъ! Это ничего!  
 Ужъ уломаю я его!—

Вотъ и столяръ. Его походка  
 Размашиста. Тулупъ косматъ.  
 Пробиласъ русая бородка,  
 И весель соколиный взглядъ;  
 Лицо отъ холода краснѣетъ,  
 На кудряхъ иней. Впереди  
 Толпа зѣвакъ. Она густѣетъ.  
 Бѣднякъ-Лукичъ посереди.  
 Мужикъ съ курчавой бородою,  
 Взбѣшенный, жилистой рукою  
 Его за шиворотъ держалъ,  
 И больно билъ, и повторялъ:  
 „Вотъ эдакъ съ вами! эдакъ съ вами!“  
 Стариkъ постукивалъ зубами,  
 Халатъ съ разорванной полой  
 Отъ вѣтра въ воздухѣ мотался,  
 И кровь на бородѣ сѣдой  
 Застыла каплями...  
 „Попался!

Кричалъ народъ: тряхни его!  
 Тряхни получше! ничего!“  
 — Не бей по шапкѣ! Одурѣеть!—  
 „Не смѣеть бить! На это судь,  
 Расправа, значитъ... бить не смѣеть!“  
 — Валай! Тамъ послѣ разберутъ!—  
 Но вдругъ столяръ рукою смѣлой  
 Толпу раздвинулъ: „Стой! за чтоб?“  
 — А не обвѣшивай! за то...  
 Мужикъ отвѣтилъ: наше дѣло!  
 Я продаль шерсть, а онъ того...  
 Обвѣсилъ—вонъ-щѣ! —

„Брось его!  
 Ты кто? Разбойникъ? Смѣешь драться?

Не знаешь,—отдерутъ кнутомъ!  
 Чего ты, Карпъ Лукичъ? Пойдемъ!“  
 — Проваливай! Не станемъ гнаться!  
 Вотъ незамай онъ покряхтитъ:  
 Въ бокахъ-то у него лежитъ!—

„Эхъ, съ этимъ не дошло до драки!  
 Жалѣли, расходясь, зѣваки:  
 А молодецъ куда горячъ!  
 И статень! то-то, чай, силачъ!“

„Сосѣдъ! Ну, какъ тебѣ не стыдно!  
 Столляръ дорогой говорилъ:  
 Весь помертвѣлъ... лица не видно...  
 Чтб завтра? Вспомни!“

— Согрѣшилъ...  
 Обвѣсиль... не во чтб одѣться...  
 Озябъ... и нечѣмъ разговѣться.—  
 „А зять?..“

— Мошенникъ! Охъ, продрогъ!  
 „Ну, Саша?“

— Саша помогаетъ...  
 Въ постели... кровью все перхаетъ...  
 Охъ, больно!.. заложило бокъ...—  
 „Эхъ, Карпъ Лукичъ!“

— Молчи! я знаю!  
 Сгубилъ я дочь свою, сгубилъ!—  
 „Нѣть, я не то... не попрекаю.  
 Мне жаль тебя: сосѣдомъ былъ...  
 Бѣдняга! Выгнали изъ дома...“

Да ты идешь едва-едва...  
Квартира гдѣ?

— У Покрова.

Нетоплена. Постель — солома.  
Привыкъ, къ примѣру... Охъ, продрогъ! —  
„Слыши, Карпъ Лукичъ! Ты не сердися...  
Вотъ деньги есть... Не откажися,  
Возьми на праздникъ. Видить Богъ,  
Даю изъ дружества. Вѣдь, хуже  
Обманывать, дрожать на стужѣ...  
Возьми, пожалуйста, сосѣдъ!  
Ну, хоть взаемъ... какъ знаешь!“

— Нѣть!

Я виноватъ передъ тобою:  
Ты съ Сашей росъ... —

„Оставь! пустякъ!  
Угодно было Богу такъ.  
Возьми! Ты слыши, не спорь со мною:  
Въ карманъ насильно положу,  
Вотъ на!.. и руки подержу“.  
— Покинь! Мнѣ стыдно! —

„Знаю, знаю!  
А ты не вынимай назадъ:  
Я, чтб родному, помогаю,  
Не то что, значить... чѣмъ богатъ!  
Утри-ко лучше кровь полою,  
Неловко... Стой! Господь съ тобою!  
Ты плачешь?“

— Ничего, пройдетъ.  
Я такъ. Озябъ... Вода течетъ...

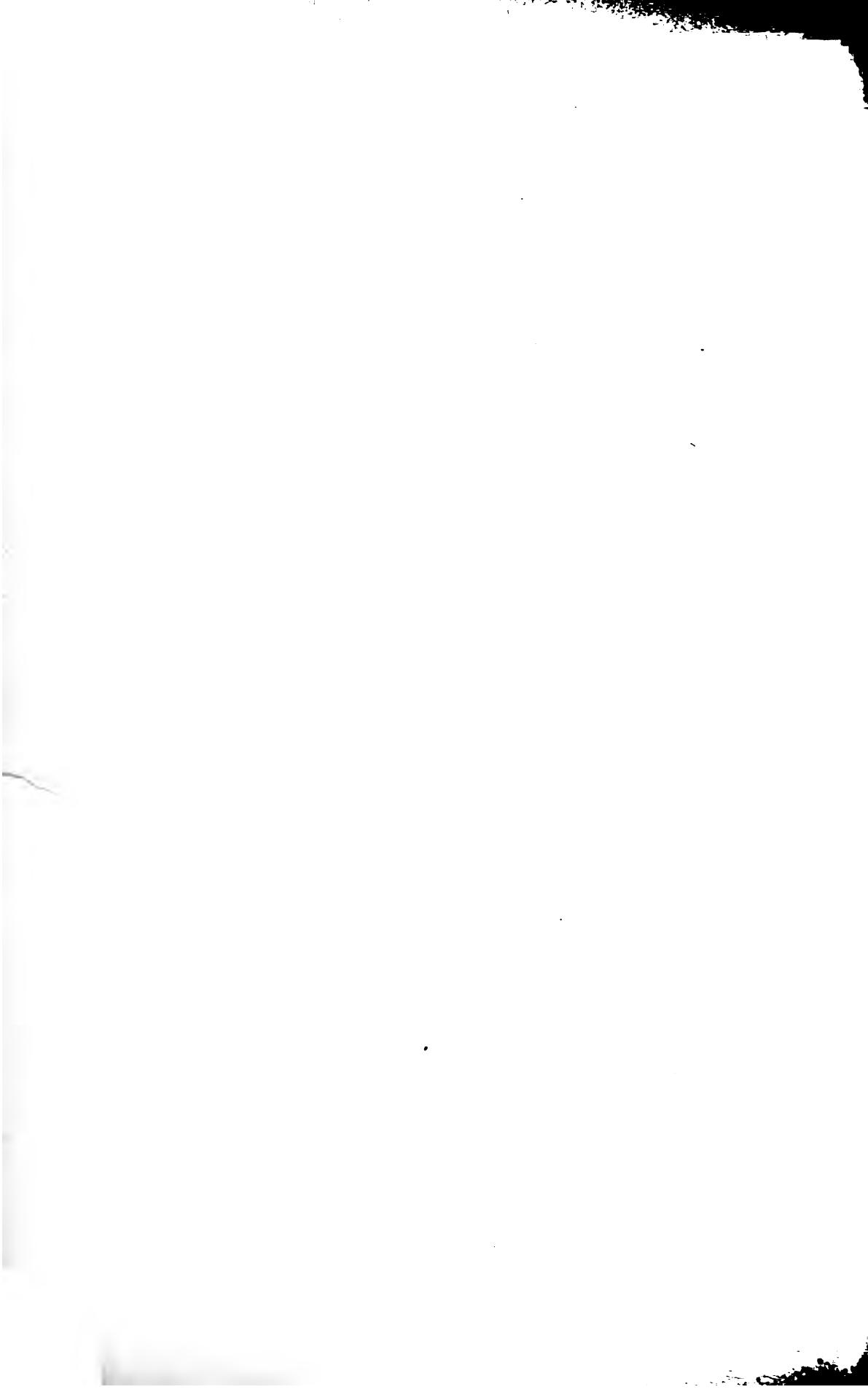
Сегодня въ воровствѣ поймали,  
Прибили... милостыню дали...  
А дочь... Проклятый зять! Прощай!—  
„Да брось его! не поминай!  
Вотъ завтра праздникъ, дѣлъ-то мало,  
Ты завернешь въ мой уголокъ,  
Мы потолкуемъ, какъ бывало,  
Ну, да! присядемъ за пирогъ...  
Ты просто приходи къ обѣду:  
Равно! И старому сосѣду  
Онъ руку дружески пожаль  
И на прощанье шапку сняль.

Лукичъ съ разорванной полою  
Побрель одинъ. Взглянуль кругомъ,—  
Знакомыхъ нѣть; махнуль рукою,—  
И завернуль въ питейный домъ.

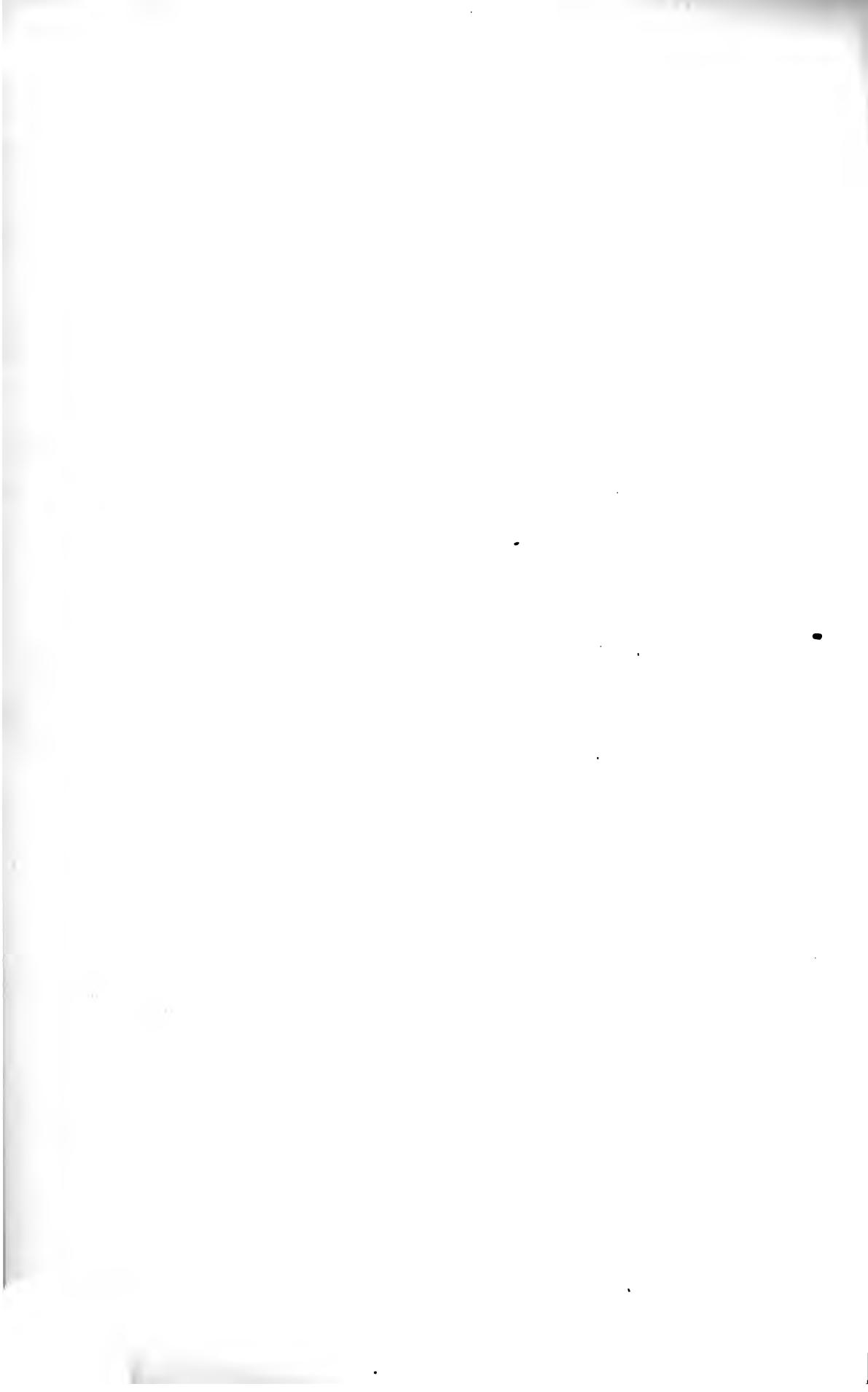
Прощай, Лукичъ! Не разъ съ тобою,  
Когда мой домъ обятье былъ сномъ,  
Сидѣлъ, я грустный, за столомъ,  
Подъ гнетомъ думъ, ночной порою!  
И мнѣ по твоему пути  
Пришлось бы, можетъ быть, идти,  
Но я избралъ иную долю...  
Какъ узникъ я, рвался на волю...  
Упрямо цѣпи разбивалъ!  
Я свѣта, воздуха желалъ!  
Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!  
Ни силъ, ни жизни молодой  
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой!

Во благо-ль? Небесамъ извѣстно...  
 Но блага я просилъ у нихъ!  
 Не ради шутки, не отъ скуки,  
 Я, какъ умѣль, слагалъ мой стихъ,—  
 Я воплощалъ боль сердца въ звуки!  
 Моей душѣ была близка  
 Вся грязь и бѣдность Кулака!  
 Мой братъ! никто не содрогнется,  
 Теперь взглянувши на тебя!  
 Пройдетъ, быть-можеть, посмѣется,  
 Потѣху пошлую любя...  
 Ты сгибъ, но велика-ль утрата?  
 Васъ много! Тысячи кругомъ,  
 Какъ, ты, погибли подъ яромъ  
 Нужды, невѣжества, разврата!  
 Придетъ-ли, наконецъ, пора,  
 Когда блеснутъ лучи разсвѣта;  
 Когда зародыши добра  
 На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,  
 Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ  
 И принесутъ сторичный плодъ;  
 Когда минетъ проказа вѣка  
 И воцарится честный трудъ,  
 Когда увидимъ человѣка,—  
 Добра божественный сосудъ?...





# ПОЕЗДКА НА ХУТОРЪ.



## ПОЕЗДКА НА ХУТОРЪ.

(Отрывок изъ поэмы „Городской Голова“).



Жъ кони у крыльца стояли;  
Отъ нетерпѣнья коренной  
Сухую землю рылъ ногой;  
Порой бубенчики звучали.  
Семенъ сидѣлъ на облучкѣ,  
Въ рубашкѣ красной, кнутъ въ рукѣ;  
На упряжь гордо любовался,  
Глядѣлъ, глядѣлъ—и засмѣялся,  
Вслухъ коренного похвалилъ  
И шляпу на бокъ заломилъ.  
Ворота настежь отворили,  
Семенъ присвистнулъ,—туча пыли  
Вслѣдъ за конями понеслась,  
Не догнала—и улеглась.

По всей степи—ковыль, по краямъ—все туманъ.  
Далеко, далеко отъ кургана курганъ,  
Облака въ синевѣ бѣлымъ стадомъ плывутъ,  
Журавли въ облакахъ перекличку ведутъ.  
Не видать ни души. Тонеть въ золотѣ день,  
Пробѣжать по травѣ вѣтру солному лѣнъ.  
А цвѣты-то, цвѣты! какъ живые стоять,

Улыбаются, глазки на солнце глядятъ,  
 Словно рѣчи ведутъ, какъ ихъ жизнь коротка,  
 Коротка да безъ слезъ, отъ заботъ далека.  
 Вотъ и рѣчка... не вѣрь! то подъ жгучимъ лучемъ  
 Отливается тонкій ковыль серебромъ.  
 Высоко, высоко въ небѣ точка дрожитъ,  
 Колокольчикъ веселый надъ степью звенить.  
 Въ ковылѣ гудовень—и поютъ, и жужжатъ,  
 Раздаются свистки, молоточки стучать;  
 Средь дорожки глухой пыль столбомъ поднялась...  
 Закружилась, въ широкую степь понеслась...  
 На всѣ стороны путь: ни лѣсочка, ни горъ,  
 Необъятная гладь! неоглядный просторъ!

Мчится тройка, изъ упряжи рвется,  
 Не смолкаетъ бубенчиковъ звонъ,  
 Облачко за телѣгою вѣется,  
 Ходитъ кругомъ земля съ двухъ сторонъ;  
 Путь-дорожка назадъ убѣгаеть,  
 А курганы заходятъ впередъ;  
 Лучъ горячій на бляхахъ играетъ,  
 То подкова, то шина блеснетъ,  
 Кучеръ къ мѣсту какъ-будто прикованъ,  
 Руки вытянуль, возки въ рукахъ,  
 Синей степью сѣдокъ очарованъ:—  
 Любо сердцу, душа вся въ очахъ!

„Не погоняй, Семень! устали!“  
 Хозяинъ весело сказалъ,—  
 Но кони съ версту пробѣжали,  
 Пока ихъ кучеръ удержалъ.  
 Лѣниво катится телѣга,  
 Хрустить подъ шинами песокъ;  
 Вздохнеть и стихнеть вѣтерокъ;

Надъ головою блескъ и нѣга.  
 Воздушный продолжая бѣгъ,  
 Сверкаютъ облака, какъ снѣгъ.  
 Жара. Вотъ оводъ закружился,  
 Гудеть, на коренную сѣль;  
 Съ просонокъ кучеръ изловчился, —  
 Хватъ кнутовищемъ,—улетѣль!  
 Ну, погоди!—Передъ глазами  
 Мелькаютъ пестрые цвѣты.  
 Умъ занять прежними годами,  
 Иль праздно погруженъ въ мечты,  
 Евграфъ вздохнулъ. Воображеніе  
 На память дѣтство привело:  
 Въ просторной комнатѣ свѣтло;  
 Складовъ томительное чтеніе  
 Тоску наводитъ на него.  
 За дверью шумъ: отецъ его  
 Торгуетъ что-то... Слышны споры,  
 О дегтѣ, лыкахъ разговоры,  
 И серебра и рюмокъ звонъ...  
 А садъ сіяніемъ затопленъ...  
 Тамъ зелень, листьевъ трепетанье,  
 Тамъ лепеть, пѣнье и жужжанье—  
 И голоса ему звучать:  
 Иди-же въ садъ! иди-же въ садъ!—  
 Вотъ онъ въ гимназію отправленъ,  
 Подросъ—и умный ученикъ;  
 Но какъ-то нелюдимъ и дикъ,  
 Кружкомъ товарищей оставленъ.  
 День сѣрый. Въ классѣ тишина.  
 Вопросъ учитель предлагаетъ:  
 Евграфъ удачно отвѣчаетъ,  
 Восторга грудь его полна.  
 Наставникъ строго замѣчаетъ:

„Мѣщанскій выговоръ у васъ!“  
 И весело хоочеть классъ,  
 Евграѳ блѣднѣеть.—Вотъ онъ дома:  
 Ему торговля ужъ знакома.  
 Но, Боже! эти торгаши!..  
 Но это смрадное болото,  
 Гдѣ ихъ умомъ, душой, работой  
 До гроба двигаютъ гроши!  
 Гдѣ все безсмысленно и грязно,  
 Гдѣ все коснѣеть и гниетъ!..  
 Тамъ ужасъ сердце обдастъ!  
 Тамъ вѣтъ смертью безобразной!..

Но вотъ, знакомый изволокъ.  
 Ужъ видѣнъ хуторъ одинокой,  
 Затерянный въ степи широкой,  
 Какъ въ синемъ морѣ островокъ.  
 Гумно заставлено скирдами.  
 Передъ избою на шестѣ  
 Бадья заснула въ высотѣ;  
 Полусклоненными столбами  
 Подперта рига. Тамъ—вдали  
 Волы у стога прилегли:  
 Вокругъ безлюдье. Жизни полны,  
 Безъ отдыха и безъ слѣда,  
 Бѣгутъ, бѣгутъ, Богъ вѣсть—куда,  
 Цвѣтовъ и травъ, и свѣта волны...

Семенъ къ крылечку подкатилъ  
 И тройку ловко осадилъ.  
 Собака съ лаемъ подбѣжала,  
 Но дорогихъ гостей узнала,  
 Хвостомъ махая, отошла  
 И на заваленкѣ легла.

Евграфъ прикащика Федота  
 Засталь въ расплохъ. За творогомъ  
 Сидѣлъ онъ съ заспаннымъ лицомъ.  
 Его печаль, его забота,  
 Жена смазливая—въ углу  
 Цыплять кормила на полу,  
 Лѣнтяемъ мужа называла,  
 Но вдругъ Евграфа увидала,  
 Смутясь, вскочила въ торопяхъ  
 Съ густымъ румянцемъ на щекахъ.

Прикащикъ бормоталъ невнятно:  
 „Здоровы-ль? Очень пріятно!“  
 Каftанъ поспѣшно вадѣвалъ  
 И въ рукава не попадалъ.  
 „Эй, Марья! Ты-бы хоть покуда...  
 Слѣпа! творогъ-то прибери!  
 Да пыль-то съ лавки, пыль сотри!..  
 Эхъ, баба!.. Кши!.. пошли отсюда!  
 А я того-сь... велѣль пахать...  
 Вотъ гречу будемъ засѣвать“.  
 Евграфъ сказалъ: „давно-бы время!“  
 Въ амбаръ прикащика повель  
 И гречу указалъ на сѣмя,  
 Всѣ закрома съ нимъ обошелъ;  
 Въ овесъ, и въ просо, и въ пшеницу  
 Глубоко руку погружалъ,—  
 Все было сухо. Приказалъ  
 Смѣнить худую половицу  
 И, выходя, на хлѣвъ взглянулъ,  
 Федота строго упрекнуль:  
 „Эхъ, братъ! навозу по колѣни...  
 За чѣмъ ты смотришь?“

— Все дѣла!

Запущенъ, знамо, не отъ лѣни...  
Кобыла, жаль, занемогла!—  
„Какая шерстью?“

— Вороная.—

Евграфъ конюшню отворилъ,  
Прикащикъ лошадь выводилъ.  
Съ боками впалыми, больная,  
Тащилась, чуть переступая.  
„Хорошъ присмотръ! опоена!“  
Ему, знать, черти рассказали,  
Прикащикъ думалъ.—Нѣтъ-съ едва-ли!  
Мы смотримъ. Оттого больна—  
Не любить домовой. Бываетъ,  
На ней всю ночь онъ разъѣзжаетъ  
По стойлу; поутру придешь,—  
Такъ у бѣдняжки потъ и дрожь.—  
Евграфъ вспыхнулъ. „Вѣдь, вотъ мученье!  
Найдетъ хоть сказку въ извиненье!“

Но, проходя межами въ полѣ,  
Казалось, онъ вздохнулъ на волѣ,  
Свою досаду позабылъ  
И всходы зелени хвалилъ.  
Прикащикъ разводилъ руками.  
„Распашка много-съ помогла...  
Вотъ точно пухъ земля была,—  
Такъ размягчили боронами!“

— Гдѣ овцы? Я ихъ не видаль.—  
„Вонъ тамъ... гдѣ кустъ-то на курганѣ!“  
Но взоръ Евграфа замѣчалъ  
Лишь пятна сѣрыя въ туманѣ;  
Что-жъ! ночью можно отдохнуть—  
И онъ къ гурту направилъ путь.

Заснула степь, прохладой дышетъ,  
 Въ огнѣ зари поль-неба пышетъ,  
 Поль-неба въ сумракѣ виситъ,  
 По тучамъ молнія блеститъ;  
 Проворно крыльями махая,  
 Съ тревожнымъ крикомъ въ вышинѣ  
 Степныхъ гостей несется стая.  
 Маячить всадникъ въ сторонѣ,  
 Промчался конь,—хвостомъ и гривой  
 Играетъ вѣтеръ шаловливой,  
 При зорькѣ пыль изъ-подъ копытъ  
 Румянымъ облакомъ летитъ.  
 Неслышнимъ шагомъ ночь подходитъ,  
 Не мнетъ травы,—и вотъ она,  
 Легка, недвижна и темна,  
 Молчаньемъ чуткимъ страхъ наводитъ.  
 Вотъ снова блескъ,—и грянуль громъ,  
 И степь откликнулась кругомъ.

Евграфъ къ избушкѣ торопился,  
 Прикащикъ слѣдомъ поспѣшаль;  
 Барбосъ ихъ издали узналъ,  
 На встрѣчу весело пустился,  
 Но вдругъ на вѣтеръ подняль носъ,  
 Вдали послышавъ скрипъ колесъ,—  
 И въ степь шарахнулся...

За щами,  
 Румянъ и пѣтомъ окропленъ,  
 Межъ тѣмъ посиживаль Семенъ,  
 Его веселыми рѣчами  
 Была прикащика жена  
 Чуть не до слезъ разсмѣшена.  
 „Эхъ, Марья Львовна! Ты на волю

Сама недавно отошла;  
 Ты, значитъ, въ милости была  
 У барина: и чаю въ волю  
 Пила, и все... А я, какъ песь,  
 Я, какъ щенокъ, средь дворни рось;  
 Ёль, чтб попало. Съ тумаками  
 Всей барской челяди знакомъ.  
 Отецъ мой, знаешь, былъ псаремъ,  
 Да умеръ. Баринъ жиль на-славу:  
 Давалъ пиры, держалъ собакъ;  
 Чужой-ли, свой-ли,—чуть не такъ,  
 Своей рукой чинилъ расправу.  
 Жилъ я, не думалъ, не гадаль,  
 Да въ музыканты и попалъ.  
 Ну, воля барская, известно...  
 Ужъ и пришло тогда мнѣ тѣсно!  
 Одѣли, выдали фаготъ,—  
 Играй! Бывало—потъ пробьетъ,  
 Чтд силы дую,—все нескладно!  
 Растиянуть, выдерутъ изрядно,—  
 Опять играй! Да цѣлый годъ  
 Такимъ порядкомъ дулъ въ фаготъ!  
 И вдругъ въ отставку: не годился!  
 Я радъ—молебенъ отслужилъ,  
 Да, видно, много согрѣшилъ:  
 У насъ ахтеръ вина опился—  
 Меня въ ахтеры... Стало,—рокъ!  
 Пошла мнѣ грамота не въ прокъ!  
 Бывало, чтб: рога приставятъ,  
 Твердить на память рѣчъ заставятъ,  
 Ошибся—въ зубы! Въ гробъ-бы легъ,—  
 Евграфъ Антипычъ мнѣ помогъ.  
 Я, значитъ, зналь его довольно,  
 Ну, вижу—добръ; давай просить:

„Нельзя-ль на волю откупить?“  
 Вѣдь, откупилъ! А было больно!—  
 И пятерней Семень хватиль  
 Объ столъ.—Эхъ-ма! собакой жилъ!“

Евграфъ за ужинъ не садился:  
 И не хотѣлъ, и утомился,  
 И свѣчу сальную зажегъ,  
 На лавку въ горенкѣ прилегъ,  
 Разъ десять Марья появлялась,  
 Сколызитъ платокъ съ открытыхъ плечъ,  
 Лукавы были взглядъ и рѣчъ,  
 Тревожно грудь приподнималась...  
 Евграфъ лежалъ къ стѣнѣ лицомъ  
 И думалъ вовсе о другомъ.  
 Носилась мысль его безъ цѣли;  
 Едва глаза онъ закрывалъ,  
 Въ степи ковыль припоминаль,  
 Надъ степью облака летѣли;  
 То снова вздоръ о домовомъ  
 Въ ушахъ, казалось, раздавался,  
 Прикащикъ глупо улыбался...  
 „Гм... Знахарь нужень-съ... Мы найдемъ...  
 Взялся читать,—въ глазахъ пестрѣло,  
 Вниманіе скоро холодѣло.  
 Но, постепенно увлеченъ,  
 Забылъ онъ все, забылъ и сонъ.

Ужъ пѣтухи давно пропѣли,  
 Надъ свѣчкой вѣтется мотылекъ;  
 Кругъ свѣта паль на потолокъ,  
 И тиши, и сумракъ вкругъ постели;  
 По стекламъ красной полосой  
 Мелькаетъ молния порой,

И вѣтеръ ставнемъ ударяетъ...  
 Евграфъ страницу пробѣгаєтъ,  
 Его душа потрясена,  
 И чтб за\* пѣснь ему слышна!

„Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву...“  
 Стоитъ Дездемона, снимаетъ уборъ,  
 Чело наклонила, потупила взоръ,  
 „Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву...“  
 Блѣдна и прекрасна, въ тоскѣ зами-  
     раетъ,  
 Печальная пѣсня изъ устъ вылетаетъ:  
 „Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву!  
 Зеленая ива мнѣ будетъ вѣнкомъ...“  
 И падаютъ слезы съ послѣднимъ сти-  
     хомъ.

Уходитъ ночь, разсвѣтъ блеснулъ.  
 И наконецъ Евграфъ уснуль.



**ТАРАСЪ.**



# ТАРАСЪ.

## I.



ужда, нужда! Все старыя избенки,  
Въ избенкахъ сырость, темнота;  
Изъ-за куска и грязной одеженки  
Всѣ бются... прямо нищета!

Не весела ты, глушь моя родная!  
Поникли ивы надъ рѣкой,  
Молчитъ дорожка, травкой заростая,  
И бродитъ людъ, какъ испитой.

Вотъ ужъ вечеръ идетъ,  
Росой травку кропить;  
Въ синихъ тучахъ зоря  
Разыгралась-горитъ.

Золотыя дворцы  
По-надъ лѣсомъ плывутъ,  
Золотые сады  
За дворцами ростутъ.

Черезъ синюю глубь  
Мостъ янтарный виситъ...  
Изъ-за темныхъ дубовъ  
Ночь-царица глядитъ.

Вздохи — чары и лънь  
Разлеглись на цвѣтахъ,  
Огоньки по травѣ  
Зажигаютъ въ потьмахъ.

Вотъ за горкой крутой  
Колокольчикъ запѣлъ,  
На горѣ призатихъ,  
Подъ горой зазвенѣлъ.

Зазвенѣлъ по селу,  
Въ чистомъ полѣ поетъ,  
На широкій просторъ  
Думу-сердце зоветъ...

Житье, житье! закованъ точно въ цѣпи,  
Молчи, да чахни отъ тоски...  
Эхъ, если-бы махнуть мнѣ на Донъ въ степи,  
Или на Волгу въ бурлаки!

Такъ изнывалъ Тарасъ отъ думъ-заботы  
И, грезя про чужую даль,  
Онъ шелъ межами съ полевой работы  
Домой, на горе и печаль.

## II.

Тарасу съ лѣтства приходилось жутко:  
Отецъ его былъ строгъ и крутъ,  
Женѣ побои называлъ онъ шуткой,  
И называлъ наукой кнутъ.

Бывало, коть подъ ноги подвернется,—  
Кота полѣномъ... „будь уменъ!“  
Храни господь, когда вина напьется,  
Бѣги семья изъ дома вонъ!

Пристанеть къ гостю, крѣпко обнимаетъ,  
 Цѣлуется; „другъ мой дорогой!  
 Я вотъ тебѣ...“ И въ ноги упадаетъ.  
 Гость скажетъ: вотъ чудакъ какой!“

— „Кто, я чудакъ? А, ты мужикъ богатый!  
 Не любишь знать съ бѣднякомъ!  
 Такъ на-вотъ! помни, лапотникъ проклятый“.  
 И друга хватить кулакомъ.

Испуганный, сынишко встрепенется  
 И матери тайкомъ шепнетъ:  
 „Охъ, матушка! опять отецъ дерется...  
 „Уйдемъ! онъ и тебя прибьетъ...“

— „Ступай-ка за грибами, вотъ лукошко“,  
 Отвѣтить мать: „тутъ хлѣбъ лежитъ...“--  
 И въ темный лѣсъ знакомою дорожкой  
 Мальчишка бѣгомъ побѣжитъ.

И тамъ онъ ляжетъ на травѣ росистой.  
 Прохлада, сумракъ. Вотъ запѣль  
 Зеленый чижъ подъ липою душистой;  
 Вотъ дятель на березу сѣль

И застучалъ. Вотъ заяцъ по тропинкѣ  
 Пронесся, — и ужъ слѣду нѣть.  
 Тутъ стрекоза вертится на былинкѣ;  
 По листьямъ жукъ ползетъ на свѣтъ.

Тревожно шепчетъ робкая осина.  
 Сквозь зелень, видны вдалекѣ  
 Уснувшихъ водъ зеркальная равнина,  
 Рыбакъ съ сѣтями въ членокѣ,

Стада овецъ, луга, пески, заливы,  
 Въ водѣ и надъ водой лѣса,  
 За берегами золотыя нивы,  
 Вокругъ—въ сіяныи небеса.

И очарованъ звуками лѣсными,  
 Цвѣтовъ дыханьемъ упоенъ,  
 Ребенокъ грезитъ снами золотыми,  
 Весь въ слухъ и зрѣнье превращенъ.

Когда корой прозрачною и тонкой  
 Синѣла, въ осень, гладь озеръ,  
 Иной приютъ манилъ къ себѣ ребенка, —  
 Сосѣда постоянный дворъ.

Тамъ бурлаки порой почлегъ держали,  
 Или гуляли косари,  
 Про степь и Волгу пѣсни распѣвали  
 Всю ночь до утренней зари.

И за сердце хваталъ напѣвъ унылый.  
 Вдругъ свистъ... и вскакивалъ бурлакъ —  
 „Пой веселый...“ И пѣсня съ новой силой  
 Неслась, какъ вихрь... „Дружнѣй! вотъ такъ,

И свистомъ покрывался звукъ жилейки,  
 И поль отъ топота гудѣль,  
 И прыгалъ столъ, и прыгали скамейки...  
 Ребенокъ слушалъ и смотрѣль.

И брань отца была ему болынѣе,  
 Когда домой онъ приходилъ,  
 И уголокъ родной глядѣль скучнѣе,  
 И онъ, Богъ вѣсть, о чёмъ грустилъ.

## III.

Прошли гола. И на дворѣ, и въ полѣ  
 Тарасъ работникъ хотѣ куда,  
 И головы не клонитъ въ темной долѣ  
 Ни передъ кѣмъ и никогда.

Чуть міроѣдъ на бѣдняка наляжетъ, —  
 Тарасъ ужъ тутъ. Глаза блестятъ,  
 Лицо блѣднѣеть... „Ты не трогай!“ скажетъ,  
 „Не бей лежачихъ!.. не велятъ!...

Ты кто такой!..“ И мѣряетъ глазами  
 Нахала съ головы до ногъ.  
 Отецъ махнетъ съ досадою руками:  
 „Не сдобровать тебѣ, сынокъ!

„Подрѣжутъ крылья!.. Такъ оно бываетъ...“  
 Надвинетъ шапку и пойдетъ;  
 И въ кабакѣ до ночи пропадаетъ;  
 Домой насилиу добредетъ.

„Ну, кто тутъ! Эй, жена! зажги луchinу!  
 Я шапку пропилъ... да! смотри.  
 Весь вѣкъ работалъ... ну, пора и сыну  
 Работать... чертъ васъ побери!

„Весь вѣкъ пахалъ... все нищій... что-жъ ра-  
 бота?

Вѣстимо такъ. И хлѣбъ и квасъ —  
 Мы все добудемъ! Важная забота!  
 Ну, пьянь. Никто мнѣ не указъ! —

И въ уголокъ свои деньжонки спрячетъ,  
Забудетъ,—и давай искать;  
Кричть: „разбой!“ и охаетъ, и плачетъ:  
Ты воръ, Тарасъ! не смѣй! молчать!“

„Ты воръ! будь проклятъ! сохни, какъ лучина!“  
Стоить, ни слова сынъ въ отвѣтъ;  
Въ его глазахъ угрюмая кручина,  
Въ его лицѣ кровинки нѣтъ.

Сидитъ на лавкѣ бѣдная старушка,  
Лицо слезами облито.  
И такъ печальна бѣдная избушка,  
Что не глядѣль бы ни на что.

Ужъ разсвѣтаетъ. Тучки краской алой  
Покрыты. Закраснѣлся прудъ,  
И весело подъ кровлей обветшалой  
Пѣвуньи-ласточки снують.

Въ дали туманъ рѣдѣетъ надъ лугами.  
Вотъ слышны: рѣзкій скрипъ воротъ  
И голосъ бабы: „поѣзжай межами,  
Тамъ перелѣскомъ путь пойдетъ...“

— „Эхъ-ма, ужъ день!“ Тарасъ тряхнетъ куд-  
рями,  
„Ну, видно, послѣ, моль, поспишь...“  
И вотъ съ сохою ёдетъ онъ полями;  
Дорога—скатерть, въ полѣ—тиши;

Надъ лѣсомъ солнце золотомъ сверкаетъ,  
И птичка въ вышинѣ поетъ,  
Звенить, поетъ и устали не знаетъ...  
И парень пѣсню заведетъ.

И грустно, грустно эта пѣсня льется.  
 Онъ ъдетъ лугомъ,—будить лугъ,  
 Онъ ъдетъ лѣсомъ,—темный лѣсъ проснется  
 И съ нимъ поетъ, какъ старый другъ.

Зоря погасла. Кончена работа.  
 Уснуть-бы, кажется, пора,  
 Да спать-то парню не даетъ забота, —  
 Коней ведеть онъ со двора

Поить... И шляпу на-бекренъ надѣнетъ;  
 Ворота настежь распахнетъ,  
 По улицѣ, посвистывая, ъдетъ,  
 А за угломъ—подруга ждетъ.

Кругомъ безлюдно. Тепель лѣтній вечеръ.  
 Рѣка при мѣсяцѣ блеститъ.  
 И знаетъ только перелетный вѣтеръ,  
 Чтоб парень съ милой говорить.

Печальна жизнь, печальна съ милой встрѣча:  
 Она поникла головой,  
 Въ отвѣтъ на ласки не находитъ рѣчи,  
 Стоитъ и парень самъ не свой.

„Я самъ не радъ, голубка дорогая!  
 „Какъ мнѣ жениться на тебѣ?  
 „Свяжу тебя, свяжу себя, родная...  
 „Гнѣзда не вить ужъ мнѣ себѣ.

„Мнѣ тѣсно тутъ. Не связывай мнѣ воли.  
 „Авось придутъ иные дни...  
 „А сгину гдѣ, безъ счастья и безъ доли, —  
 „Меня хоть ты-то не кляни!“

— „На муку, вѣрно“, отвѣчаетъ голосъ:  
 „Да на печаль я рождена,  
 „И пропаду, чтѣ одинокій колось,  
 „И все молчать, молчать должна!

„Отецъ и мать мнѣ попрекнуть тобою!  
 „Тамъ замужъ... чахни отъ тоски!  
 „И всѣмъ-то будетъ воля надо мною  
 „До гробовой моей доски!..“

— „Не быть тому! добьюсь до красной доли!  
 „Не стать мнѣ силы занимать,  
 „И будешь ты и въ радости, и въ холѣ,  
 „И въ нѣгѣ вѣкъ свой вѣковать“.

## IV.

Блестятъ, мерцаютъ звѣзды надъ полями.  
 Сосѣда грязная изба  
 Чуть не биткомъ набита косарями,  
 Въ избѣ веселая гульба.

Дымъ тютюна, жара... Весь въ сажѣ черной,  
 Ночникъ мигаетъ надъ столомъ,  
 Трещитъ. И ходитъ по рукамъ проворно  
 Стаканъ, наполненный виномъ.

Поютъ и пляшутъ косари степные,  
 Кафтаны сброшены съ ихъ плечъ,  
 Растрепаны ихъ кудри молодые,  
 Смѣла размашистая рѣчъ.

Тарасъ сидить угрюмый и печальный.  
 Онъ друга поб-сердцу съискать,

И про свою любовь къ сторонкѣ дальней,  
И про тоску поразсказалъ.

„Эхъ курица!“ товарищъ крикнулъ громко:  
„Тебѣ-ль летѣть въ далекій путь!  
„Связался тутъ съ какою-то дѣвченкой,  
„Боишься крыльями махнуть!

„Гулялъ-бы ты, какъ я, соколъ, гуляю:  
„Три года на Дону прожилъ,  
„Теперь на Волгу лыжи направляю,  
„Про домъ и думать позабылъ“.

И долго говорилъ косарь кудрявый,  
И все хвалилъ степей просторъ,  
Красу казачекъ, косарей забавы, —  
И пѣсней кончилъ разговоръ.

Тарасъ вскочилъ. Лицо его горѣло!  
„Такъ здравствуй ты, чужая даль!  
„Ну,—въ степь, такъ въ степь! Все сердце из-  
болѣло!..  
„Вина! Запьемъ свою печаль!...“

И взялъ онъ паспортъ, помолился Богу  
И отдалъ старикамъ поклонъ:  
. Благословите, моль, родные, на дорогу,  
„Такъ, значитъ, надобно: законъ“.

Старикъ кричалъ, — ничто не помогало,  
И плюнулъ, наконецъ, со зла.  
Старушка къ сыну на плечо припала  
И оторваться не могла.

„Касатикъ мой, мой голубъ сизокрылый!  
 „Господь тебя да сбережетъ!..  
 „Заѣль тебя, заѣль отецъ постылый,  
 „Да и меня-то въ гробъ кладетъ“.

— „Возьми-ка съ горя обѣ-стѣну убейся“,  
 Сказалъ ей мужъ: „вишь обнялись!  
 „Ступай, сынокъ! ступай, какъ вихорь вейся,  
 „Какъ вихорь по-свѣту кружись!..—

## V.

И, рас простясь съ родимыми полями,  
 Взявъ только косу со двора,  
 Пошелъ Тарасъ, съ котомкой за плечами,  
 Искать и счастья и добра.

Одна зоря смѣялася другою,  
 За темной ночью день вставалъ.  
 Все шелъ косарь, все дальше за собою  
 Поля родныя оставляль.

Порой, усталый, на траву приляжетъ,  
 Горячій потъ съ лица отреть,  
 Ремни котомки кожаной развязжетъ,  
 И скучный завтракъ свой начнетъ.

На немъ отъ пыли платье почернѣло,  
 Въ клочкахъ подошвы сапоговъ,  
 Лицо его отъ солнца загорѣло,  
 Но какъ онъ веселъ и здоровъ!

Идетъ мой парень, а надъ нимъ порою  
 Иль журавлей кружится цѣпь,  
 Иль пролетаютъ облака толпою,  
 И вотъ онъ углубился въ степь.

„О, Господи! что-жъ это за раздолье!  
 „А глушь-то... степь да небеса!  
 „Трава, цвѣты—ужъ, правда, тутъ приволье,  
 „Краса, чтѣ рай земной, краса!“

Межъ тѣмъ трава клонилась, поднималась,  
 Ей вѣтеръ кудри завивалъ,  
 По этимъ кудрямъ тѣнь переливалась  
 И яркій лучъ перебѣгалъ.

Средь изумрудной зелени, какъ глазки,  
 Цвѣты глядѣли тутъ-и-тамъ,  
 По нимъ играли радужныя краски,  
 И кланялись цвѣты цвѣтамъ.

И голоса безъ умолку звучали:  
 Жужжанье, пѣсни, трескотня  
 Со всѣхъ сторонъ неслись и утопали  
 Въ сіянїи солнечнаго дня.

Смеркается — и говоръ затихаетъ,  
 Край нѣба въ полыми горитъ,  
 Ночь темная украдкой подступаетъ,  
 Степной травы не пробудить.

Зажглась звѣзда, зажглось ихъ много, много,  
 И мѣсяцъ въ сумракѣ блеститъ,  
 И спопъ лучей воздушною дорогой  
 Идетъ — и въ глубь рѣки глядитъ

Все стихло, спитъ. Но степь какъ будто дышетъ,  
 Въ дремотѣ звуки издаєтъ:  
 Вотъ, гдѣ-то свистъ далекій ухо слышитъ,  
 И кажется, чумакъ поетъ.

Рѣдѣютъ тѣни. Звѣзды пропадаютъ,  
 Въ огнѣ несутся облака  
 И медленно, рѣдѣя, померкаютъ.  
 Трава задвигалась слегка.

Свѣтло. Вспорхнула птичка. Солнце встало,  
 Степь тонетъ въ золотомъ огнѣ,  
 И снова все запѣло, зазвучало  
 И на землѣ, и въ вышинѣ...

Вотъ въ сторонѣ станица показалась,  
 Стекломъ воды отражена,  
 Сидитъ на берегу; вся увѣнчалась  
 Садами темными она.

По зелени некошенной равнины  
 Разсыпался табунъ коней.  
 Безлюдье, тишина. Холмовъ однѣ вершины  
 Оглядываются ширью степей.

Вошелъ Тарасъ въ станицу и дивится:  
 Казачка, въ пестромъ колпачкѣ,  
 На скакунѣ, ему на встрѣчу мчится  
 Съ баклагой круглою въ рукѣ.

Желтѣютъ гумна. Домики нарядно  
 Глядятъ изъ зелени садовъ.  
 Вотъ спить казакъ подъ тѣнью виноградной,  
 И какъ румянъ онъ и здоровъ!

Ни грязныхъ бабъ въ понявахъ подоткнутыхъ,  
 Ни лицъ не видно испытыхъ,  
 И нѣть тутъ нищихъ блѣдныхъ, необутыхъ,  
 Калѣкъ и съ чашками слѣпыхъ...

Какъ-разъ мой парень подоспѣль къ покосу,  
 Нанялся скоро въ косари.  
 „Ну, въ добрый часъ!“ И наточилъ онъ косу  
 При свѣтѣ утренней зари.

Киши, работа! Въ шляпѣ да въ рубахѣ  
 Идетъ, махаетъ онъ косой:  
 Коса сверкаетъ, и, при каждомъ взмахѣ,  
 Трава ложится полосой.

Тамъ—въ вышинѣ орелъ иль кречетъ вьется,  
 Иль туча крылья развернетъ,  
 И темной вихорь мимо пронесется,—  
 Тарасъ и коситъ, и поетъ...

Стога ростутъ. Покосъ къ концу подходитъ:  
 Степь засыпаетъ въ тишинѣ  
 И на сердце, нагая, грусть наводитъ...  
 Косарь не радъ своей казнѣ.

Такъ много нуждъ! Онъ пролилъ сколько пота,  
 Казны такъ мало накопилъ...  
 Куда-жъ идти? Опять нужна работа;  
 Опять нужна растрата силъ!

И будешь съть... такъ до сырой могилы  
 Трудись, трудись... но жить когда?  
 Къ чему казна, когда растратишь силы  
 И надорвешься отъ труда?

Въ степи стемнѣло. Около дороги  
Горятъ на травкѣ огоньки:  
Въ густомъ лѣсу чернѣются треноги,  
Висятъ на крючьяхъ котелки.

Въ водѣ пшено съ бараниной варится.  
Усѣлись косари въ кружокъ,  
И слышенъ говоръ: никому не спится,  
И слышенъ изрѣдка рожокъ.

Вокругъ молчанье. Мѣсяцъ обливаетъ  
Стоговъ верхушки серебромъ,  
И при огнѣ изъ мрака выступаетъ  
Шалашъ, покрытый камышомъ.

„Ну, не къ добру“, сказалъ косарь плечистый,  
Умолкъ нашъ соловей степной!..  
„А ну, Тарасъ... привстань съ травы росистой;“  
„Уважь, *лучинушку* пропой!

— „Ну, нѣтъ, дружище, что-то не поется.  
„Гроза-бы, что-ли ужъ, нашла...  
„Такая тишина, трава не пошатнется!  
„Нѣтъ, лѣтомъ лучше жизнъ была.“

— „Домой, пріятель, видно захотѣлось.  
„Ты говорилъ: тутъ рай въ степяхъ!..“ —  
„И былъ тутъ рай, да все ужъ пригляделось;  
„Работы нѣтъ, трава въ стогахъ ..“

И думалъ онъ: вотъ я и домъ покинулъ...  
Была-бы только жизнъ по мнѣ,  
Вѣдь, кажется, я-бъ гору съ мѣста сдвинулъ,  
Да чго... заботы все однѣ!..

Живется-жъ людямъ въ нуждѣ безъ печали!  
 Такъ наши дѣды жизнь вели,  
 Росли въ грязи, пахали, да пахали,  
 Съ нуждою бились, въ гробъ легли.

И съ ними... Точно смерть утѣха!  
 Ищи добра, броди въ потьмахъ,  
 Покуда, свѣту Божьему помѣха,  
 Лежитъ псевзака на глазахъ...

Эхъ, ну, васъ къ чорту, горькія заботы!  
 О чемъ тутъ плакать горячо?  
 Пойду туда, гдѣ болѣе работы,  
 Гдѣ нужно крѣпкое плечо.

## VI.

Горитъ зоря. Румянный вечеръ жарокъ.  
 Румянецъ по рѣкѣ разлитъ.  
 Пестрѣютъ флаги плоскодонныхъ барокъ,  
 И людъ на пристани кишитъ.

Въ высокихъ шапкахъ чумаки съ кнутами,  
 Татаринъ съ бритой головой;  
 Въ бешметѣ съ откидными рукавами  
 Курчавый грекъ; цыганъ сѣвой;

Купецъ дородный съ важною походкой,  
 И съ самоваромъ сбитенщикъ,  
 И плутъ еврей съ козлиною бородкой,  
 Вѣстей торговыхъ проводникъ,—

Кого тутъ нѣтъ! Докучный пискъ шарманокъ,  
Смѣхъ бурлаковъ и скрипъ колесъ,  
И брань, и пѣсни буйныя цыганокъ,—  
Все въ шумъ надъ берегомъ слилось.

Куда ни глянь—подъ хлѣбомъ берегъ гнется:  
Хлѣбъ въ балаганахъ, хлѣбъ въ бунтахъ...  
Не даромъ Русь кормилицей зовется  
И почиваетъ на поляхъ.

Вокругъ вольницы веселый свистъ и топотъ;  
Народу,—пушкой не пробьешь!  
И всюду шумъ, какъ будто моря ропотъ;  
Шумъ этотъ слушать устаешь.

„Вотъ гдѣ разгуль! Вотъ милая сторонка!“  
Тарасъ кричитъ на берегу:  
„Гуляй, ребята! вотъ моя мошонка!  
„Да грянемъ пѣсню... помогу!

„Ну, *внизъ по матушкѣ по Волѣ...* дружно!..“  
И пѣсня громко понеслась;  
Откликнулся на пѣсню лугъ окружной,  
И даль рѣки отозвалась...

А небо все темнѣло, померкало,  
Шла туча синяя съ дождемъ,  
И молнія гладь Дона освѣщала,  
И перекатывался громъ.

Вдругъ хлынулъ дождь. Гроза забушевала,  
Народъ подъ кровли побѣжалъ.  
„Шабашъ, ребята! Пѣсни значитъ, мало!“  
Тарасъ товарищимъ сказалъ.

Пустился къ Дону. Жилистой рукою  
 Челнокъ отъ барки отвязалъ,  
 Схватилъ весло, — и тѣшился грозою,  
 По гребнямъ волнъ перелеталъ.

И бурлаки качали головами:  
 „Неугомонный человѣкъ!  
 „Вишь, понесло помѣряться съ волнами!  
 „Ни за копѣйку сгубить вѣкъ“.

## VII.

Одѣты сѣрые луга туманомъ;  
 То дождь польетъ, то снѣгъ летитъ.  
 И глушь, и дичь. На берегу песчаномъ  
 Угрюмо темный лѣсь стоитъ.

Дождю на встрѣчу мѣрными шагами  
 Подъ лямкой бурлаки идутъ,  
 И тянутъ барку крѣпкими плечами,—  
 Слабѣть канату не даютъ.

Ихъ ноги грязью до колѣнь покрыты,  
 Шапочонки лѣзутъ на глаза.  
 Потерлось платье, лапти поизбиты,  
 Отъ поту взмокли волоса.

„Бери причалъ! живѣе—что-ль заснули!“  
 Продрогшій кормчій закричалъ.  
 И бурлаки веревки натянули,—  
 И барка стала на привалъ.

Огонь зажженъ; дымъ въ ключьяхъ улетаетъ;  
Несутся быстро облака;  
И вѣтромъ барку на волнахъ качаетъ,  
И плещетъ на берегъ рѣка.

Тарасъ потерпъ мозолистыя руки  
И сѣль, задумавшись, на пень.  
„Ну, ну! перенесли мы нынче муки!“  
Промолвилъ кто-то: „скверный день!

„Убѣгъ бы, да притянуть къ становому  
„И отдеруть...“—„Доволокемъ!“  
Сказалъ другой: „гуляй, пока до дому,  
«Тамъ будь, что будетъ!.. ужъ попьемъ!..“

Вотъ мы вчера къ Тарасу приставали,  
„Куда, — не пьеть! Такой чудакъ!“  
— „А что, Тарасъ, ты право крѣпче сталъ“,  
Сказалъ оборванный бурлакъ:

„Тутъ тянешь, тянешь,—смерть, а не работа,  
„А ты и ухомъ не ведешь!..“  
Тарасъ кудрями мокрыми отъ пота  
Тряхнулъ и молвиль: „не умрешь!“

„Умрешь,—зароемъ“. — „У тебя все шутки.  
„О дѣлѣ, видишь, рѣчь идетъ.  
«Вѣдь, у тебя — то пѣсни-прибаутки,  
„То скука... шутъ тебя пойметъ!..“

— „Разсказывай! Перебивать не буду...“  
Онъ думалъ вовсе о другомъ,  
Хоть и глядѣлъ, какъ желтыхъ листьевъ груду  
Огонь обхватывалъ кругомъ.

Припомниль онъ сторонушку родную  
И свой печальный, бѣдный домъ;  
Отецъ клянетъ его на-пропалую,  
А мать рыдаетъ за столомъ.

Примомниль онъ, какъ разставался съ милой,  
Зачѣмъ? Чтѣ ждало впереди?  
Гдѣ-жъ доля-счастье?.. Какъ она любила!..  
И сердце дрогнуло въ груди.

„Сюда, ребята! Плотникъ утопаетъ!“  
На баркѣ голосъ раздался:  
И по доскамъ толпа перебѣгаетъ  
На барку. „Экъ онъ, сорвался!“

— „Да гдѣ? — „Вонъ тутъ. Ну, долго-ль оству-  
питься?“  
— „Вотъ горе: вѣтеръ-то великъ!“ —  
„Плыви скорѣй!“ — „Не-што, плыви топить-  
ся!“ —  
„Спасите!“ разносился крикъ,

И голова мелькала надъ волнами.  
Тарасъ ужъ бросился въ рѣку  
И во всю мочь размахивалъ руками.  
„Держись!“ кричаль онъ бѣдняку.

„Ко мнѣ держись!“ Но громкаго призыва  
Товарищъ слышать ужъ не могъ —  
И погрузился въ волны молчаливо...  
Тарасъ нырнуль. Ужъ онъ продрогъ

И былъ далеко. Глухо раздавался  
И шумъ воды, и вѣтра вой;

Пловецъ изъ синей глуби показался  
И вновь исчезъ. Нѣмой толпой

Стоялъ народъ съ надеждою несмѣлой.  
И вынырнулъ Тарасъ изъ волнъ...  
Глядять,—за нимъ еще всплываетъ тѣло...  
И разомъ грянуло: „спасенъ!“

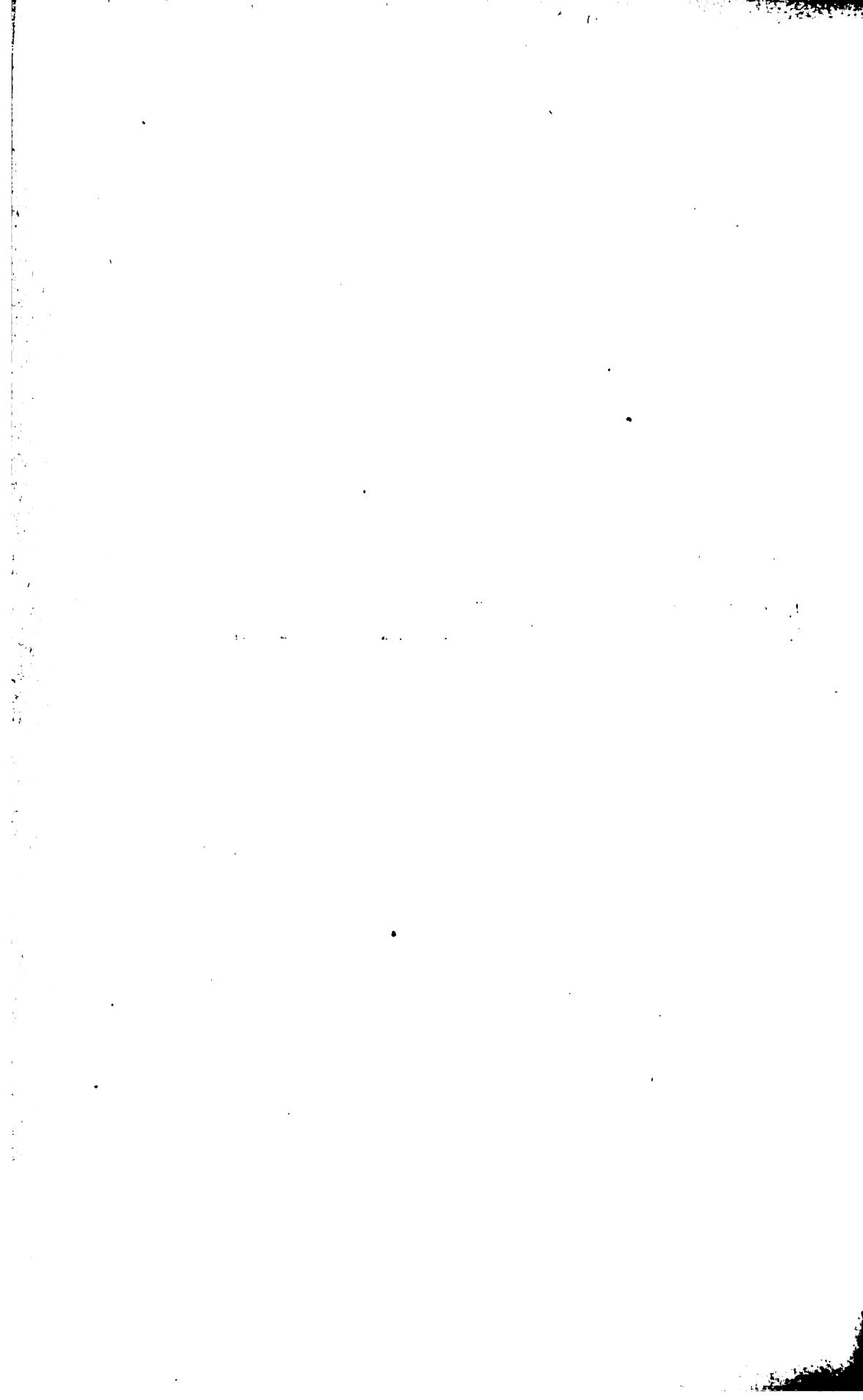
И шапками въ восторгѣ замахала  
Толпа, забывшая свой страхъ.  
А буря выла. Чайки пропадали,  
Какъ точки, въ темныхъ облакахъ.

Усталъ пловецъ. Измученный волнами,  
Едва плыветъ. Онѣ бѣгутъ.  
Всѣ въ бѣлой пѣнѣ, дружными рядами,  
И все ростутъ, и все ростутъ.

Хотѣлъ онъ крикнуть,—замерло дыханье...  
И въ воздухѣ рукой потрясь,  
Какъ будто жизни посыпалъ прощанье,  
И крикнулъ—и пропалъ изъ глазъ!



# **ДНЕВНИКЪ СЕМИНАРИСТА.**



## Дневникъ семинариста \*)

184... 18 июля.

Слава Тебѣ, Господи! Вотъ и каникулы! Вотъ, наконецъ, я и дома... Да! Нужно, подобно мнѣ, позубрить круглый годъ уроки ежедневно, да еще два раза въ день,—за исключениемъ, разумѣется, праздниковъ, промѣрить отъ квартиры до семинаріи версты четыре или болѣе; потому, въ душной комнатѣ, въ кружкѣ шести человѣкъ товарищѣй, подъ-чась въ дыму тютюна, погнуться до полночи надъ запачканной тетрадкой или истрепанною книгой, подтвердить греческій и латинскій языки, геометрію, герменевтику, философию и прочее и прочее, и послѣ броситься съ досадою на жесткую постель и заснуть съ тощимъ желудкомъ, оттого, что какія-нибудь тамъ жи-денъкія, сваренныя съ свинымъ саломъ щи, пролиты на полъ пьяною хозяйкой дома,—нужно, говорю я, все это пережить и перечувствовать, чтобы оцѣнить всю прелесть теплаго, гостепріимнаго, родного угла... ухъ! Дай потянусь на этомъ кожаномъ стулѣ, въ этой горениѣ съ окнами, выходящими въ зеленый, обрызганный росою, садъ, въ этомъ раю, гдѣ я самъ большой, самъ старшой, гдѣ имѣть право прикрикнуть на меня только одинъ мой добрый батюшка... А,

\*) По всейѣвѣроятности „Записки Семинариста“, о которыхъ говорилъ Никита въ письмѣ къ Второву (см. Біографію, стр. 59), впослѣдствіи были имъ уничтожены, за исключениемъ развѣ начальничьихъ странецъ, вошедшихъ въ этотъ Дневникъ, написанный для „В. Бесѣды“.

право здѣсь настоящій рай: тихо, ствѣтло. Изъ сада пахнетъ травою и цвѣтами; на яблоняхъ чирикаютъ воробы; у ногъ моихъ мурлычить мой старый знакомецъ, сѣрый котъ. Яркое солнце смотрѣть сквозь стекло и золотымъ снопомъ упирается въ чисто-вымытую и выскребенную ножомъ, сосновую дверь. Батюшка мой такой тихій, такой незлопамятный! Если и случается мнѣ что нибудь набѣдокурить, онъ покачаетъ головою, сдѣлаетъ легкій упрекъ и—только. Между тѣмъ, странное дѣло! я такъ боюсь его оскорбить!... А вотъ помнія, былъ у насъ учитель во 2-мъ классѣ училища, Алексѣй Степанычъ, коренастый, съ черными нахмуренными бровями, и такой рябой и корявый, что смотрѣть скверно. Вызоветъ онъ, бывало, тебя на средину класса и крикнетъ: «читай!» А изъ глазъ его такъ и сверкаютъ молніи. Взглянешь на него украдкой и начнешь измѣняться въ лицѣ, въ головѣ пойдешь путаница, и все вокругъ тебя заходитъ: и ученики, и учитель, и стѣны—просто диво! И понесешь такую дичь, что послѣ самому станетъ стыдно. «Не знаешь, мерзавецъ!» зарычитъ учитель: «къ порогу!...» И начнется, бывало, жаркая баня... Что-жъ вы думаете? Попадались такие ученики, которые, не жалѣя своей кожи, находили непонятное удовольствіе бѣсить своего наставника. Бывало, иной ляжетъ подъ розги, закусить до крови свой палецъ и—молчитъ. Его сѣкнуть, а онъ молчитъ. Его сѣкнуть еще болѣе, а онъ все молчитъ. Алексѣй Степанычъ смотрѣть и со зла чуть не рветъ на себѣ волосы... Да мало ли что случалось! Однажды ученикъ дѣлалъ дѣленіе и до того спутался, что никакъ не могъ рѣшить задачи. Стоитъ бѣдняжка у доски, лицо разгорѣлось, по щекамъ текутъ слезы, носъ выпачканъ мѣломъ, руки и правая пола сюртука тоже въ мѣлу—Алексѣй Степанычъ злится, не приведи Господи. «Ну, говорить: что-жъ ты?... рѣшай!» И вдругъ повернулся направо. «Богородицкій! какъ ты обѣ этомъ думаешь?» Богородицкій вскочилъ со скамьи, вытянулъ руки по швамъ и, вспомнивъ, что въ катихизисѣ есть подобный вопросъ съ надлежащимъ къ нему отвѣтомъ, громогласно и нараспѣвъ отвѣчалъ: «я думаю и разсуждаю обѣ этомъ таѣ, какъ повелѣваетъ мать, наша Церковь». Мы всѣ переглянулись, однакожъ засмѣяться никто не смѣлъ. Алексѣй Степанычъ шир-

нуль ему въ глаза и крикнулъ: «на колѣни!» Ну, въ семинаріи у насъ совсѣмъ не то: розги почти совсѣмъ устраниены, а если и употребляются въ дѣло, такъ это ужъ за что нибудь особенное. Наставники обращаются на *ты*, въ чему я долго не могъ привыкнуть. Оно въ самомъ дѣлѣ странно: профессоръ, магистръ духовной академіи, человѣкъ, который, Богъ знаетъ, чего ни прочелъ и ни изучилъ, обращается, напримѣръ, ко мнѣ или къ моему товарищу, сыну какого-нибудь пономаря или дѣячка, и говоритъ: «прочтите лекцію». Долго я не могъ къ этому привыкнуть. Теперь ничего. И мнѣ становится уже непріятно, иногда и вовсе обидно, если кто-либо говоритъ мнѣ *ты*; въ этомъ *ты* я вижу къ себѣ нѣкоторое пренебреженіе. Замѣчу кстати: мнѣ необходимо привыкать къ вѣжливости, или, какъ говорить мой пріятель Яблочкинъ, къ порядочности (Яблочкинъ необыкновенно даровитъ, жаль только, что онъ помышлялся на чтеніи какого-то Бѣлинскаго и вообще на чтеніи разныхъ свѣтскихъ книгъ). Батюшка сказалъ, что съ первыхъ чиселъ сентября я буду жить въ квартирѣ одного изъ нашихъ профессоровъ съ тою цѣлію, чтобы онъ имѣлъ непосредственное наблюденіе за моимъ поведеніемъ, следилъ за моими занятіями и, гдѣ нужно, помогалъ мнѣ своими соображеніями. Этотъ надзоръ, мнѣ кажется, рѣшительно во всемъ меня сваляетъ. Либо ступишь не такъ, либо что скажешь не такъ, вотъ сейчасъ и сдѣлаютъ тебѣ замѣчаніе сначала одно, а тамъ другое, третье, и такъ далѣе. Впрочемъ, можетъ быть, я и ошибаюсь: батюшка навѣрно желаетъ мнѣ добра. Стой! вотъ еще новая мысль: что если этотъ дневникъ, который я намѣренъ продолжать, по какому нибудь несчастному, непредвидѣнному случаю, попадется въ руки профессора? Вотъ выйдетъ штука... воображаю!... Да нѣтъ! быть не можетъ! Во-первыхъ, у меня, какъ и прежде, будетъ въ распоряженіи свой сундучокъ съ замкомъ, въ который я могу прятать все, что мнѣ заблагоразсудится; во-вторыхъ я стану читать его или въ отсутствіе профессора, или во время его сна; стало быть, опасенія мои на этотъ счетъ не имѣютъ никакого основанія. Жаль мнѣ бросить эту работу! Записывая все, что вокругъ меня дѣлается, быть можетъ, я со временемъ привыкну свободнѣе излагать свои мысли

на бумагѣ. Притомъ самая окружающая меня жизнь здѣсь въ деревнѣ, и тамъ, въ городѣ, въ семинаріи, какъ она ни бѣдна содержаніемъ, все-таки не вовсе лишена интереса. Вчера, напримѣрь, мнѣ случилось быть у нашего дьячка Кондратыча. Чудакъ онъ, ей-Богу! Лѣтами еще не старъ, лѣтъ этакъ тридцати съ чѣмъ нибудь, выпить любить, а когда выпьетъ, ему никто ни почемъ. и прихожанинъ-мужикъ, и дьяконъ, и даже мой батюшкя. Придирки свои онъ обыкновенно начинаетъ жалобою на свое незавидное положеніе: «что, дескать, я? дьячокъ—вотъ и все! тварь—и больше ничего! Червякъ—и только!.. И зальется горькими слезами, и—вдругъ отъ слезъ сдѣлаетъ неожиданный переходъ къ такой рѣчи: «да-съ, я червякъ, воистину червякъ! Ну, а ты, смѣю тебя спросить, ты что за птица?.. Тутъ голосъ его начнетъ возвышаться все болѣе и болѣе. Кондратычъ засучиваетъ рукава, лѣвую ногу выставляетъ впередъ, правую руку съ сжатымъ кулакомъ бойко замахиваетъ назадъ, словомъ: принимаетъ грозное, наступательное положеніе, и въ эту минуту къ нему не подходитъ никто, иначе расшибеть въ дребезги; если кулаковъ его окажется недостаточно, пустить въ ходъ свои зубы, ужъ чѣмъ-нибудь да насолить своему, какъ онъ выражается, врагу-супостату. Жена Кондратыча робкая, загнанная, забитая женщина, въ добавокъ худенькая, маленькая и подслѣповатая, вѣчно плакачется на своего мужа, жизнь свою называетъ мукою, себя мученицей; мужъ называетъ ее сльпою Евлампіею. Итакъ, говорю я, вчера вечеромъ случилось мнѣ быть у Кондратыча. Когда я вошелъ въ его избу, онъ ходилъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за веревочку, которую быть опоясанъ, и распѣвалъ: «Взбранной воеводѣ побѣдительная, яко избавльшеся отъ злыхъ»... Посреди избы стояла большая, опрокинутая вверхъ дномъ, кадушка. «А, мое вамъ почтение, Василій Ивановичъ!» сказалъ Кондратычъ, замѣтивъ меня на порогѣ: «мое вамъ всенижайшее почтеніе, господинъ философъ, будущій пастырь словесныхъ овецъ... сдѣлайте одолженіе, садитесь... А это что у васъ за мѣшочекъ въ рукѣ?.. Я совершенно потерялся. Дѣло въ томъ, что батюшкя приказалъ мнѣ отнести дьячихъ немногого пшена, но такъ, чтобы мужъ ея этого не замѣтилъ,

потому что Кондратычъ, при всей своей нищетѣ, при всемъ своемъ безобразномъ пьянствѣ, гордъ невыносимо. «Это такъ», отвѣчалъ я, краснѣя.—«А коли такъ, стало быть и пышки въ маѣ». Мы сѣли. Минуты три прошло въ молчаніи. Вдругъ подъ кадушкою послышалось всхлипываніе. Я взглянулъ на дьячка. Онъ преспокойно поправилъ свою тоненькую, завязанную грязнымъ шнуромъ, босу и отвѣтилъ: «мыши скребутъ». Всхлипываніе усилилось. Я вскочилъ, приподнялъ край кадушки и, къ величайшему моему удивленію, откуда вышло или, правильнѣе сказать, выползло живое существо, — это была жена Кондратыча, блѣдная, безъ платка на головѣ, съ расстрапанными волосами. «Что это значитъ?» спросилъ я дьячка. «Гм... что это значитъ... да-съ!» И, не спѣша, вынувъ онъ свою тавлину, щелкнулъ по ней указательнымъ перстомъ, потянулъ въ одну ноздрю табаку и съ глубокомысленнымъ видомъ произнесъ: «жена моя увидала васъ въ окно и, не желая показать молодому юношѣ свою красоту, скрылась въ эту подвижную храмину. Смѣю вамъ доложить, она у меня прецѣломудренная женщина!... Разумѣется, Кондратычъ говорилъ вздоръ. По справкѣ оказалось, что онъ уже не въ первый разъ издѣвается такимъ образомъ надъ безотвѣтною бабою. Въ минуту гибѣя и ужъ, конечно, порядочно выпивши, Кондратычъ опрокидываетъ кадушку тамъ, гдѣ ее находитъ, т. е. на дворѣ или въ избѣ, и обыкновенно кричитъ женѣ: «слѣпая Евлампія, гряди сѣмо!..» Бѣдная женщина, не смѣя ему прекословить, подползаетъ подъ, такъ называемую, подвижную храмину, а дьячекъ ходить вокругъ и распѣваетъ: «Вѣбраний воеводѣ побѣдительная...» Батюшка мой отчасти прощаетъ ему эти мерзости изъ состраданія къ его женѣ, которая безъ мужа должна будетъ пойти съ сумою, потому что Кондратычъ, какъ онъ ни плохъ, все же, ее кормить, отчасти просто по добротѣ своего сердца. Дьячокъ, съ своей стороны, умѣть заискать кого ему нужно. На дняхъ, когда благочинный входилъ въ нашу церковь, Кондратычъ забѣжалъ ему впередъ: «Позвольте, позвольте!..» — «Что ты, братъ?» — «А вотъ-съ..» и, вынувъ изъ своего кармана носовой платокъ, услужливый дьячокъ смахнулъ имъ пыль съ сапогъ благочиннаго, прежде нежели

тотъ успѣлъ ему что-либо возразить. «Каковъ онъ у васъ?» спросилъ послѣ благочинный у моего батюшки. «Пить иногда и характера не совсѣмъ покойнаго. — «Ну, что-жъ дѣлать! Увѣщавай его словомъ Божіимъ. Поглядишь, исправится. Одинъ Богъ безъ грѣха»... Однако, пора обѣдать. Послѣ обѣда завалюсь спать и просплю до вечера, просто—наслажденіе!

Вечеромъ.

Ужъ смерклось. Съ пастбища возвращается стадо коровъ, покрытое облакомъ пыли. Пастухъ пополкиваетъ кнутомъ. Гдѣ-то вдалекѣ, вѣроятно, какой-нибудь молодой парень наигрываетъ въ жилейку. На улицѣ слышенъ скрипъ отворяемыхъ и затворяемыхъ воротъ. Бабы, въ пестрыхъ поневахъ и въ бѣлыхъ рогатыхъ кичкахъ, расходятся въ разныя стороны отъ колодца. Коромысла мѣрно качаются на ихъ плечахъ, въ желѣзныхъ ведрахъ свѣтится холодная ключевая вода. Солнце медленно прячется въ синихъ тучахъ за темнымъ лѣсомъ, и его пурпуровый румянецъ горитъ на листьяхъ деревъ, на соломенныхъ кровляхъ бревенчатыхъ избушекъ, на стеклахъ узенькихъ оконъ и на поверхности свѣтлаго озера, окаймленнаго зеленымъ камышомъ. Славная, право, картина! А ужъ какъ я спать послѣ обѣда!.. мнѣ кажется, ударъ грома не могъ бы меня разбудить... Да какъ и не спать? Пирогъ, щи съ говядиною, подбитыя сметаною, жареная, налитая яйцами, курица, творогъ, каша молочная—вотъ что было у насть за обѣдомъ. Маменька подчивала меня, какъ гостя, и я принужденъ былъ сѣсть нѣсколько лишнихъ кусковъ единственно для того, чтобы доставить ей удовольствіе. Добрая она, право! Говоритьъ, что я похудѣлъ въ продолженіе года отъ усиленныхъ занятій науками и совсѣмъ инѣ беречь свое здоровье; въ особенности не читать книгъ по ночамъ, чтобы не испортить зрѣнія. Разумѣется, все это было сказано въ отсутствіе батюшки, который не любить потакать лѣни, а главное не терпить, чтобы женщины мѣшались въ дѣло науки. Прямое назначеніе женщинъ,—говорить онъ,— заботы о семейномъ домашнемъ быту, вѣтъ котораго онѣ никакуа негодны. Взглядъ батюшки еще не такъ строгъ; другое смотрѣть на женщину, какъ на аспида и василиска. Правда,

я мало читалъ, но изъ всего мною прочитаннаго выходитъ заключеніе такого именно рода, что женщина — аспидъ и василискъ... Кто пробѣжитъ начало моихъ записокъ, безъ сомнѣнія, скажетъ: «что за наивность! Въ какія странныя разсужденія вдастся писавшій эти строки!» — Такъ-то такъ, м. г., сказалъ бы я ему, только вы забываете, что я связанъ по рукамъ и по ногамъ. Если бы я спросилъ о чёмъ-либо, не прямо относящемся къ моему дѣлу — къ лекціи, кого-либо изъ моихъ товарищѣй, — болѣе скромный изъ нихъ посмѣялся бы надо мною, болѣе дерзкій послалъ бы меня къ чорту. На всякий, возникающій во мнѣ, вопросъ, на всякое, рождающееся во мнѣ сомнѣніе я долженъ искать отвѣта только въ самомъ себѣ. За что же лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и передъ всѣми мнѣ приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову, по крайней мѣрѣ въ тѣ минуты, когда работаетъ моя голова, когда перо мое не успѣваетъ слѣдить за быстротою мысли, пусть я буду независимъ, пусть я буду человѣкомъ, свободно проявляющимъ даръ своего живого слова. Въ Воронежѣ, говорить, проявился недавно прасоль-поэтъ. Жаръ и холодъ пробѣжалъ по моему тѣлу, когда въ одномъ изъ современныхъ журнальныхъ я прочиталъ эти животрепещущія строки:

Иль у сокола  
Крылья связаны?  
Иль пути ему  
Всѣ заказаны?..

Впрочемъ, изъ нашихъ наставниковъ никто не упомянулъ о немъ, какъ о человѣкѣ, подающемъ какія-либо надежды. Говорить, былъ знаменитый поэтъ Пушкинъ, но я совсѣмъ его не читалъ. Въ словесности, какъ образецъ высокаго слога въ поэзіи, я помню слѣдующіе, выученные мною наизусть, стихи Державина:

Се ты вѣковъ явленье чудно,—  
Сбылось пророчество, сбылось!  
Мечъ, возсіавшій изъ-подъ спуда,  
Герой мой вновь свой лавръ вознесъ...

Послѣдняго стиха я никогда не могъ произнести свободно, потому что, при чтеніи его, у меня перехватывало въ горлѣ дыханіе. Вотъ Яблочкинъ, такъ ужъ молодецъ по этой части! сколько онъ знаетъ наизусть стиховъ! Предь моимъ отъездомъ сюда онъ читалъ мнѣ поэму «Демонъ». Стихи необыкновенно музыкальны. Передъ глазами одна за другою рисуются картины, когда ихъ слушаешь; но впечатлѣніе, производимое цѣлою поэмой, наводить на странныя, невыразимыя мысли... Что если бы, по окончаніи курса въ семинаріи, удалось мнѣ попасть въ университетъ... да нѣтъ! не съ моими способностями. Яблочкинъ — другое дѣло: онъ хоть сейчасъ выдержитъ университетскій экзаменъ. — «Пѣшкомъ, говорить, на Христово имя пойду, а ужъ буду въ университетѣ». — Я ему вѣрю: съ его настойчивымъ характеромъ онъ все сдѣлаетъ. А какъ онъ смѣлъ! Однажды въ классѣ, когда профессоръ говорилъ о мѣсто пребываніи души въ человѣческомъ тѣлѣ и рѣшилъ этотъ вопросъ тѣмъ, что душа обитаетъ во всемъ нашемъ тѣлѣ, Яблочкинъ неожиданно поднялся со скамьи. «Позвольте предложить вамъ возраженіе», — сказалъ онъ профессору.

— Хорошо.

«Такъ какъ въ сумасшедшемъ человѣкѣ душа не можетъ проявлять разумно своего существованія, а по существу своему недѣятельна она быть не можетъ, то чѣмъ душа эта бываетъ занята въ продолженіе иногда многихъ лѣтъ, до самой смерти сумасшедшаго?»

Профессоръ сталъ въ тупикъ и, послѣ долгаго молчанія, сурово отвѣтилъ: «садитесь на мѣсто и впередъ прошу поменьше разсуждать, а слушать внимательно то, что вамъ скажутъ». Яблочкинъ сѣлъ читать какой-то журналъ и не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на лекцію профессора, который говорилъ о Сенекѣ, о Сократѣ, о Піѳагорѣ и, ужъ Богъ знаетъ, о комъ, всѣхъ трудно припомнить... Однако, засѣла мнѣ въ голову эта семинарія! О чѣмъ бы я ни позволилъ рѣчь, непремѣнно коснусь семинаріи... Полно! Мнѣ еще нужно подумать о планѣ заданного намъ на каникулярное время разсужденія на тему: «какимъ образомъ умъ, какъ источникъ идей, можетъ служить средствомъ къ приобрѣтенію познаній?» По поводу этой

темы Яблочкинъ сказалъ мнѣ: «подивись, братъ, нашимъ способностямъ. На эту мудреную фразу у насъ напишутъ нѣкоторые по три или по четыре листа самымъ мелкимъ почеркомъ, а простой записки къ знакомому никто изъ насъ не напишетъ толково; мало этого: десяти словъ не свяжутъ въ разговорѣ, какъ слѣдуетъ. Замѣть, братъ, это и намотай себѣ на усь». — Однако и ты напишешь, когда прикажутъ, — отвѣчалъ я. «Само собою такъ. Воздадите Кесарево Кесареви».

## 22.

Цѣлую недѣлю я не брался за перо: не до того было. Наступила рабочая пора,—уборка хлѣба. Жары стоять нестерпимые. На небѣ нѣтъ ни облачки. Вѣтеръ горячій. Жницы работаютъ съ разсвѣта до поздней ночи. На подошвахъ ихъ необутыхъ ногъ, которыми онѣ смѣло ступаютъ по срѣзаннымъ стеблямъ ржанаго колоса, трескается кожа; на ладоняхъ появляются мозоли, нѣкоторыя величиною въ орѣхъ; лица у всѣхъ покрыты загаромъ и потомъ; на свѣжіе слѣды горячаго пота ложится сухая пыль, образуетъ черные полосы, которыя, въ свою очередь, покрываются новою пылью, и такъ далѣе, и такъ далѣе... Всѣхъ мучить невыносимая жажда, а въ полѣ нѣтъ ни одной капли холодной воды, потому что она на разсвѣтѣ привозится изъ села въ жбанахъ или въ бочонкахъ и, по прошествіи 3—4-хъ часовъ, дѣлается теплою, совершенно негодною для питья. Нѣтъ и отрадной тѣни, куда бы можно было преклонить усталую голову и вдохнуть въ себя струю прохладнаго воздуха. Грудныя малютки, которыхъ матери берутъ съ собою въ поле, лежать подъ снопами на разостланыхъ бѣлыхъ зипунахъ, время отъ времени плачутъ, замолкаютъ и опять плачутъ. Матери торопливо кормятъ ихъ грудью и снова берутся за серпъ. При дорогѣ сидѣть грачи съ распущенными крыльями и раскрытымъ клювомъ: даже имъ тяжело отъ нестерпимаго жара. Батюшка, не смотря на свой санъ, собственно ручно накладываетъ на вось полновѣсные снопы, подмазываетъ дегтемъ колеса, впряженѣ лошадь и сохраняетъ при всемъ этомъ невозмутимое спокойствіе: такъ онъ радъ хорошему урожаю! Примѣръ его и на меня дѣйствуетъ благодѣтельно. Только отъ непривычки

къ работе къ вечеру у меня страшно ломять плечи и руки. Ночью сплю, какъ убитый, даже и во снѣ ничего не грезится. Сегодня, часъ вѣтакъ въ 5-ть, когда жаръ нѣсколько убавился и работа закипѣла дружнѣе, изъ села прискакалъ верхомъ мальчишка безъ шапки, босоногий, въ оборванной рубашонкѣ, и своимъ дѣтскимъ языкомъ насили могъ растолковать батюшкѣ, что умираетъ его больная мать, что нужно ея исповѣдать и пріобщить Святыхъ Таинъ. Батюшка поморщился. Сердце мое сжалось и, грѣшный человѣкъ, я осудилъ его въ душѣ. Очевидно, ему жаль было терять золотое, рабочее время. Впрочемъ, нерѣшимость его была минутная: съ моей помошью онъ побросалъ съ телѣги снопы и крупною рысью отправился въ село. Больная умерла въ сумерки. Вечеромъ, когда мы готовились сѣсть за ужинъ, вошелъ кузнецъ Фома, старикъ, бѣлый, какъ лунь.

«Здравствуй, отецъ Иванъ! Вотъ я сына хочу женить...»

— Знаю, знаю. Часъ добрый! сказалъ батюшка.

«Покорнейше благодаримъ. Прими-ка, вотъ, чѣмъ богать».

Фома поклонился и поставилъ на столъ штофъ водки.

— Спасибо, другъ, спасибо! Только напередъ тебѣ самому ее надо отвѣдать.

«Почему не такъ, коли будешь на то твоя милость». Батюшка налилъ стаканъ.

— Выпей-ка на здоровье.

«Начинай, отецъ Иванъ. За мною дѣло не станетъ».

— Я бы не отказался; ты знаешь, я не пью.

«Ну, и просить не стану. Благослови».

— Богъ тебя благословить.

Фома выпилъ, крякнулъ и вытеръ усы рукавомъ своего сѣраго халата.

«За вѣнчанье-то, отецъ Иванъ, дорого-ль съ меня положишь?»

— Сойдемся, другъ, сойдемся.

«Вѣстимо дѣло. Все-таки мнѣ надо расчитать, что и какъ»...

Батюшка скоро съ нимъ условился.

«Ну, вотъ, сказалъ Фома: спасибо, что не прижимаешь; добрый

ты, значить, человѣкъ, не то, что нашъ дѣячокъ, этакая дрянь, и не глядѣть бы на него».

— Богъ дастъ, исправится. Ну, каково убираетесь съ хлѣбомъ?

«Убираемся помаленьку. Такъ спѣшимъ, что на—поди!» И, послѣ непродолжительного разговора объ уборкѣ хлѣба, Фома поклонился и вышелъ.

«Зачѣмъ вы взяли это вино?» спросилъ я у батюшки.

— Затѣмъ, чтобы не обидѣть старика. Таковъ обычай.

«Ну, а зачѣмъ вы его подчивали?

— Опять таковъ обычай. Вотъ погоди, когда будешь попомъ да придется тебѣ самому плести плетни, чинить соху, чистить хлѣвъ, да ходить со двора на дворъ съ просьбою, нельзя-и, моль, вотъ, въ томъ мнѣ помочь, да въ этомъ пособить, тогда ко всему привыкнешь. — И батюшка грустно сѣлъ за столъ, какъ будто вопросы мои пробудили въ немъ тяжелыя мысли.

### 30.

Полевые работы идутъ горячо попрежнему, и я почти къ нимъ привыкъ: руки и плечи болятъ у меня уже меньше. Въ прошлое воскресеніе мы всѣ порядочно поотдохнули. Время, проведенное мною въ церкви, при слушаніи Божественной литургіи, показались мнѣ особенно приятнымъ. Мужички стояли такъ тихо, такъ благоговѣйно! Ни одинъ человѣкъ не улыбнулся, не смотря на то, что дѣячокъ нашъ пѣлъ преотвратительно. При взглядѣ на толпу народа, въ головѣ моей мелькнула неѣпая мысль: что, если бы я былъ ученикомъ богословія? Я могъ бы надѣть стихарь, въ виду всѣхъ стать передъ налоемъ и сказать краснорѣчивое, поучительное слово... По выходѣ изъ церкви, на паперти, меня встрѣтили двѣ чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Онѣ занимаются печениемъ просфоръ, посыпаютъ богатыхъ купцовъ въ городѣ, которые надѣляютъ ихъ разными сѣастными припасами, иногда отправляются странствовать по Святымъ мѣстамъ, на счетъ какихъ доходовъ? — положительно сказать не могу. Старую черничку нѣкоторые мужички, въ особенности пожилыя бабы, почитаютъ за святую. Она носить на груди засаленную тетрадку «Сонъ Пресвятаго Богородицы», чи-

таеть ее по складамъ набожныхъ бабамъ; тѣ слушаютъ, подпирая руками голову, вздыхаютъ, нерѣдко плачутъ и награждаютъ читальщицу кусками холстини. Батюшка смотрить на нихъ подозрительно, но онѣ живутъ, повидимому, такъ безукоризненно и такъ хорошо сумѣли себя поставить во мнѣніи всѣхъ прихожанъ, что бояться имъ рѣшительно нечего. Эти чернички съ такою настойчивостію и вѣжливостію просили меня къ нимъ зайти, удостоить ихъ, какъ выражались онѣ, моимъ посѣщеніемъ, что мнѣ совѣтно было отказаться. Въ горенкѣ у нихъ необыкновенная чистота. Окна вымыты и вытерты до того чисто, что при свѣтѣ солнца кажутся зеркальными. Гладкій сосновый полъ тоже вымытъ, высокобленъ ножомъ, и на немъ не видно ни соринки. По угламъ нѣть ни одного клочка паутины. Стѣны недавно обѣлены. Столъ накрытъ бѣлою, какъ снѣгъ, скатертью. Передъ иконою, убранною искусственными розовыми цветами и оправленною блестящею фольгою, ярко теплится лампадка. Рогачи поставлены у порога въ уголкѣ, вѣроятно, съ тою цѣллю, чтобы не всякому бросались въ глаза. Ихъ деревянныя рукояти такъ вычищены, что подумаешь, онѣ вышли изъ-подъ руки искуснаго столяра. Изъ простыхъ вопросовъ молодой чернички о томъ, что нового въ городѣ, каково мнѣ тамъ живется, не скучаю-ли я въ деревнѣ, я замѣтилъ, что она очень неглупа. Старуха достала, между тѣмъ, изъ маленькаго сундука графинъ краснаго вина и поставила его на столъ, на кругломъ зеленомъ подносѣ, вмѣстѣ съ рюмкою. Не смотря на всѣ мои увѣренія, что я никогда не пиль и не пью вина, я не могъ не исполнить желанія гостепріимныхъ хозяекъ, когда онѣ сказали, наконецъ, что я ихъ обижую, что, съдовательно, я ими гнушаюсь, если не хочу выпить того, что предлагается мнѣ отъ души. Молодая черничка сидѣла напротивъ меня и такъ близко, что ея горячее дыханіе касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди бѣлою перламутровою пуговкой, разстегнулось и я горѣлъ отъ стыда и еще отъ другого, доселе не знакомаго мнѣ чувства. Совѣсть моя говорила мнѣ, что я поступаю не хорошо, что мнѣ не слѣдовало долго оставаться въ этой уютной горенкѣ, между тѣмъ непонятная сила удерживала меня на мѣстѣ,

случайно занятомъ мною противъ молодой чернички. Приблизилась пора обѣда. Я опомнился, схватилъ фуражку поблагодарилъ хозяекъ за ихъ радушный пріемъ. Онѣ пригласили меня передъ вечеромъ пить чай. Скажу чистосердечно, я быль радъ этому приглашенію, хотя и отказывался отъ него изъ приличія.

31 утромъ.

Нѣтъ, я не былъ вчера у черничекъ. Всѧ эта ночь проведена мною безъ сна, въ страшной, мучительной тоскѣ. Полураздѣтый, я ворочался съ боку на бокъ въ своей постели, творилъ молитвы,—и все напрасно: сонъ убѣгалъ отъ моихъ глазъ. Голова моя горѣла, какъ въ огнѣ. Подушка жгла мои щеки, простыня обдавала меня жаромъ. Около полуночи я вышелъ изъ терпѣнія и сѣлъ къ открытому окну, думая, что ночная прохлада освѣжитъ мое пылающее лицо и приведетъ въ порядокъ мои мысли. Все было напрасно... Тускло сияли звѣзды на синемъ небѣ. Въ саду лежалъ непроницаемый мракъ. Порою слышался шопотъ сонныхъ листьевъ, тревожимыхъ перелетнымъ вѣтромъ. Въ этомъ шопотѣ мнѣ чудились звуки ласковой женской рѣчи. Въ темнотѣ ночи передъ моими глазами носился образъ красивой, молодой женщины. Она глядѣла на меня такъ привѣтливо, съ такою любовью манила меня къ себѣ своею бѣлою рукою. Я боялся, что сойду съ ума, вышелъ на крыльцо и началъ лить себѣ на голову воду изъ висѣвшаго тамъ на веревочки глинянаго рукомойника. Эти строки я пишу при блѣдномъ свѣтѣ только-что занимающагося утра. На востокѣ загорается красная полоса. Клочки алыхъ, прозрачныхъ облаковъ быстро пролетаютъ въ голубой высотѣ. Въ росистомъ саду изрѣдка слышится шорохъ пробуждающейся птички. Батюшка теперь скоро проснется, и мы всѣ отправимся на работу. Скорѣе-бы нужно въ широкое поле: въ этой тѣсной комнатѣ душно, какъ въ раскаленной печи...

1 августа.

Перевозка сноповъ окончилась вчера рано. Я быль дома еще за свѣтло. При наступленіи сумерокъ, умылся, почистилъ свое платье

и пошелъ побродить по селу. Ужъ не знаю, какъ это случилось, только мнѣ скоро пришлось проходить передъ знакомымъ окномъ, у котораго сидѣла молодая черничка и вязала чулокъ (зовутъ ее, какъ я послѣ узналъ, Натальею Федоровной). «Зайдите къ намъ на минутку», сказала она, съ улыбкой, кивая мнѣ головой. Сердце мое забилось. Я остановился въ нерѣшительности—и зашелъ.

«А я цѣлый день сижу все одна: старуха моя ушла къ знакомой, больной бабѣ, вѣрно и ночевать тамъ останется. Садитесь, пожалуйста».

Разговоръ нашъ шелъ сначала довольно вяло. Но Наталья Федоровна была такъ находчива, что я невольно оживился.

«Ахъ, какая жара!» сказала она, сбросивъ съ своей груди темный платокъ, и сѣла со мною рядомъ. Плечо ея касалось моего плеча.

«Я думаю, руки ваши отъ работы теперь сдѣлялись грубѣе, чѣмъ были прежде. Вы были сегодня въ полѣ?»

Она взяла меня за руку и крѣпко ее сжала.

— «Да, былъ», отвѣчала я взволнованнымъ голосомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ.

«Огонь надо зажечь, сказала она и опустила занавѣску.

Въ комнатѣ стало темно.

«Помогите мнѣ сыскать свѣчу... Никакъ ее не найду», говорила она со смѣхомъ. «Не тутъ ли она стоитъ за вами?...»

И лица моего опять коснулось горячее дыханіе, моего плеча коснулось полуобнаженное горячее плечо. По всему моему тѣлу пробѣжалъ сладостный трепетъ. Дыханіе мое прервалось. Я крѣпко обвили объими руками ея тонкій станъ и на губахъ моихъ, первый разъ въ моей жизни, загорѣлся огненный поцѣлуй...

Нѣсколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла, и я могу спокойнѣе и глубже заглянуть въ свою душу. Отчего я не обратилъ вниманія на это тревожное чувство боязни, которое отталкивало меня въ минувшее, памятное мнѣ теперь, воскресенье отъ

порога черничекъ? Зачѣмъ я скрылъ отъ своего отца мое первое съ ними знакомство? Ясно, что я умышленно закрывалъ свои глаза, чтобы не видѣть того, что я долженъ быть видѣть заранѣе. Ясно, что я съ намѣреніемъ не даваль воли своему разсудку... Ну, любезный Василій Ивановичъ, помни этотъ урокъ! Нѣть, братъ, шалишь!.. Теперь каждый свой шагъ ты долженъ строго обдумывать. Изъ каждого твоего намѣренія, готоваго перейти въ дѣло, ты напередъ обязанъ выводить вѣроятныя послѣдствія. Мне кажется, въ эти дни я постарѣлъ иѣсколькими годами. Я горю со стыда, когда батюшка останавливается на мнѣ свой умный, проницательный взоръ, будто хочетъ сказать: «Ахъ, Вася, нехорошее ты дѣло сдѣлалъ!..»

Какая здѣсь, однако, скуча, Боже милостивый! Ни одной книжонки нѣть подъ рукою, не только порядочной, и дрянной нѣть. Живуть же тутъ добрые люди, да мало этого, и на жизнь свою не жалуются. На дняхъ я зашелъ къ нашему сосѣду. Сердце мое сжалось, какъ посмотрѣлъ я на его горемычное житѣе. Стѣны избушки покрыты копотью; темнота, сырость... Печь растрескалась. Разбитое окно заложено клочкомъ старой рогожи. Полъ земляной. На мокрой соломѣ хрюкаетъ свинья; хозяинъ говорить, что она заболѣла, такъ вотъ и взялъ онъ ее въ избу. Подлѣ животнаго ползаетъ маленькая дѣвочка, босоногая, въ изорванной рубашонкѣ. Другое, грудное дитя, лежитъ въ засаленной люлькѣ, повѣшанной на веревкахъ подлѣ печи; во рту у него грязная соска, наполненная жидкую пшеницей кашею. Женасосѣда, желтая и покрытая морщинами, ходить точно потеряная. Ротъ постоянно полуоткрытъ; глаза смотрять безмыслиемъ. Не то чтобы она была глупа отъ природы, да нужда-то слишкомъ ее заѣла. Еще одинъ мальчуганъ, лѣтъ 10-ти, неумытый и оборванный, раскинулся на печи, безъ подушки и подстилки, и наигрываетъ въ жилейку, утѣшая себя пронзительными звуками. Всю эту картину освѣщала дымная лучина. «Вотъ, сказалъ я между прочимъ сосѣду: сынъ-то у тебя болтается безъ дѣла. Не хочешь ли, буду учить его грамотѣ, покамѣсть здѣсь поживу. Я скоро его выучу».

— Э-эхъ, касатикъ! Онъ свиней пасеть, за это добрые люди хлѣбомъ его кормятъ, а грамота ваша нась не кормить. На что намъ нужна ваша грамота? Богъ съ нею!..

Противъ этого я не нашелъ возраженій и замолчалъ.

10.

Сегодня съ нашимъ батракомъ Федуломъ, на трехъ телѣгахъ, я ъездилъ въ лугъ за сѣномъ. Воза такъ были накручены, что лошади едва тащили ихъ по песку. Федулъ шелъ со мною рядомъ, покуривая коротенькую трубку. Я никогда не видаль такихъ крѣпко-сложенныхъ людей, какъ нашъ батракъ. Росту онъ небольшого, но въ плечахъ необыкновенно широкъ. Черные курчавые волосы, черная курчавая борода и густыя нахмуренные надъ сѣрыми глазами, брови придаютъ лицу его угрюмое выражение. Говорить онъ вообще мало и никогда не смотритъ на того, съ кѣмъ говоритъ.

«А что, Василій Ивановичъ», неожиданно спросилъ онъ меня: «скажи ты мнѣ на милость, чему въ городѣ учать?

Вопросъ этотъ меня удивилъ.

— Какъ же я тебѣ растолкую, чему нась учать? Вѣдь, ты не поймешь.

«Отчего-жъ не понять? Пойму».

— Ну, слушай. У нась изучаютъ риторику, философию, богословіе, физику, геометрію, разные языки...

«И будто вы знаете все это?»

— Кто знаетъ, а кто и не знаетъ.

«Такъ. Ну, а прибыль-то какая-же отъ вашего ученья?»

— Та прибыль, что ученый умнѣе неученаго.

«Вотъ-что! Однако, отецъ Иванъ косить и пашеть не лучше моего. Опять ты вотъ говоришь, что у васъ разныхъ языкамъ учать. Отецъ Иванъ, какъ и ты, имъ учился. Отчего-жъ онъ не говорить на разныхъ язычахъ? Я у васъ 10 лѣтъ живу, пора бы услышать».

— Да съ кѣмъ же онъ станетъ тутъ говорить?

«Вѣстимо не съ кѣмъ... Прибыли-то, значитъ, отъ вашего ученья немногого. Вотъ если бы вашъ братъ ученый пріѣхалъ къ намъ, да рассказалъ толкомъ; это вотъ-такъ надо сдѣлать, это вотъ-такъ, и стало бы нашему брату мужику отъ этого полегче, тогда вышло бы хорошо, а то... Ну карій! чего-жъ ты сталъ?»...

Лошади подымались на гору. Карій рѣшительно отказывался идти. Федуль забѣжалъ ему впередъ. «Ты коли везти, такъ вези, не то я дамъ тебѣ такого тумака по лбу, что искры изъ глазъ посыпятся». Тумака ему однако-же онъ не далъ, а, упервшись своимъ широкимъ плечомъ въ задъ телѣги, крикнулъ: «ну!..», и карій свободно потянулся свой тяжелый возъ.

Попадавшіяся мнѣ навстрѣчу молодыя бабы и дѣвки смотрѣли на меня съ какою-то странною улыбкой, и мнѣ не разъ приходилось слышать такого рода привѣтъ: «гляди, молодка, гляди! Поповичъ идетъ... Экой верзила!...» Правду сказать, наши лихачи парни тоже отзываются обо мнѣ не слишкомъ вѣжливо и безъ особенной застѣнчивости находить во мнѣ кровное родство съ извѣстною породой молодыхъ, домашнихъ животныхъ, которая обыкновенно бываютъ и красивы и бойки, покуда еще незнакомы съ упряжью. Мнѣ кажется, я никому и ничемъ не подавалъ здѣсь повода къ этимъ насмѣшкамъ и никому не сдѣлалъ зла; откуда же взялось это обидное пренебреженіе къ моей личности? Вѣроятно, оно является, благодаря существованію какого-нибудь Кондратьича и ему подобныхъ. Жаль, что нашему брату отъ этого не легче... Нѣть, скверно тутъ жить!..

Скука моя растетъ день отъ дня. Поутру сверху до-низу я перепѣль все въ своеѣ сундучкѣ, думая найти въ немъ какую-нибудь забытую книженку, или исписанную тетрадь. Ничего не отыскалъ! Развернешь одно—учебная книга; развернешь другое—знакомыя лекціи: логика, психологія, объясненіе разныхъ текстовъ... все это извѣстно и неизвѣстно... Быть по сему. Буду отъ нечего дѣлать опять продолжать свой дневникъ. Но, если бы пришлось мнѣ пожить здѣсь долгое время, полагаю навѣрное, я ограничился бы тѣмъ, что вносила

бы въ него слѣдующія, краткія замѣтки: сегодня мы были въ полѣ или сегодня было то же, что вчера, или сегодня ничего особеннаго не случилось, и такъ далѣе, все въ этомъ же родѣ... Что прикажете дѣлать? Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ... Итакъ—продолжаю.

Въ домѣ нашемъ идетъ страшная возня: приготовленіе къ храмовому празднику, т. е., ко дню Успенія Пресвятой Богородицы. Могутъ окна, двери, полы и прочее. Федулъ хлопочетъ на дворѣ: зарѣзаль нѣсколько куръ, зарѣзаль трехъ гусей, зарѣзаль барана, теперь приготавляется снимать кожу съ теленка, и по поводу этой рѣзни находится въ отличномъ настроеніи духа, сыплетъ шутками и съ какимъ-то особыеннымъ удовольствиемъ вонзаетъ свой острый ножъ въ теплое мясо животнаго, умирающаго въ судорогахъ передъ его глазами. Матушка безпрестанно сердится на кухарку, кричитъ, что она лѣнива и ничего не понимаетъ. «Ну, что жъ, лѣнива, такъ лѣнива!» отвѣтить кухарка и съ такимъ ожесточеніемъ начнетъ скрестя ножомъ сосновую дверь, что скрипъ желѣзныхъ петлей становится слышанъ на весь домъ, или скажетъ: «ну, что жъ, глупа, такъ глупа!»— и сунеть съ необыкновенною скоростію въ устье печи горшокъ или чугунъ, станеть къ ней задомъ и время отъ времени тяжело вздыхаетъ: «охъ, хо, хо, житъе, житъе!... Батюшка не мѣшается ни во что. Молвить иногда матушкѣ: «потише, попадья, потише!» и пойдетъ къ своему дѣлу. Матушка тотчасъ же притихнетъ. Вообще она ему во всемъ безусловно покоряется. Теперь вопросъ: гдѣ взять вилокъ? окончательно ее добиваетъ. У насъ вилокъ одна только пара, а гостей будетъ много. Для благочинного приглашенного совершать литургию, решено приготовить его любимое блюдо: жаренаго поросенка, начиненнаго гречневою кашею, съ гусинымъ жиромъ, съ preemptъ, съ лукомъ и еще съ чѣмъ-то, ужъ, право, не знаю. Для гостей втораго разряда, за неимѣніемъ особой спальни, очищена баня, въ которой на полу и на полку постлано свѣжее, дущистое сѣно. Что касается меня, никакъ не придумаю, на что-бы употребить мнѣ свободное время. По крайней мѣрѣ хотя бы спалось поболѣе, все было лучше,—такъ нѣть: лежишь до полночи съ открытыми глазами и, радъ-не-радъ, слушаешь лай или вой голодныхъ собакъ.

17 ночь.

Нашъ хромовой праздникъ окончился. Слава Тебѣ Господи! Гости разѣхались. Ворота затворены. Въ домѣ глубокая тишина. Ну, и было же съ ними хлопотъ! Первый обѣдъ, за которымъ присутствовали благочинный и человѣкъ 15 нашей родни, прибывшей съ разныхъ сторонъ, за нѣсколько десятковъ верстъ, прошелъ безъ особыхъ исторій и шума.. За обѣдомъ батюшко выбиралъ для благочинного самые лучшіе, самые жирные куски мяса, повторяя: «покорнейше прошу отвѣдать. Сдѣлайте одолженіе, коли что дурно, не осудите, все, знаете, свое домашнее»... и усердно потчивалъ его виномъ. «Отвѣдаю, отвѣдаю», говорилъ благочинный: «пожалуйста, меня не торопи. Тише ѳдешь, дальше будешь»... И въ самомъ дѣлѣ онъ не торопился: рассказывалъ разныя анекдоты, отирая крупный потъ на своемъ лицѣ и медленно опоражнивалъ новое блюдо. Матушка измучилась, упрашивая и кланяясь за каждою рюмкою. Гости пили, повидимому, единственно изъ приличія, съ большою неохотою. Но въ половинѣ стола сами начали просить вина разными намеками: гусь-то, молъ, по сухой землѣ рѣдко ходить, или утка-то безъ воды не любить жить... и тому подобное. Всѣ эти свахи, двоюродныя и троюродныя сестры, и сватовы жены вели неумолкаемый, безтолковый разговоръ, и, по окончаніи обѣда, нѣкоторые изъ нихъ запѣли пѣсни съ припѣвомъ:

А, люли! Ай, люли!  
Ай, люшенъки! Ай, люли!

Тогда какъ въ другомъ углу раздавалось хлопанье ладоней подъ веселую пѣсню:

У воротъ гусли вдарили!  
Ой, вдарили, вдарили!  
Ой вдарили, вдарили!

Батюшка чувствовалъ сильную усталость, и между тѣмъ не смѣлъ свободно сѣсть или облокотиться на столъ въ присутствіи своего начальника, внимательно слушалъ его разсказы и почтительно соглашался съ его приговорами: «это совершенная истина! или—какъ вамъ этого не знать! Вамъ лучше нашего это извѣстно...» Одинъ только мѣщанинъ, дальний родственникъ матушки, держалъ себя независимо и крѣпко ударялъ объ столъ кулакомъ, приговаривая: «мы знаемъ, у кого гуляемъ! Ну, вотъ и все... и мое почтеніе...! Такъ что ли отецъ Иванъ? Вѣрно!... По выходѣ изъ-за стола, благочинный осматривалъ наше гумно, ригу, огородъ, на которомъ спѣютъ дины, и прочія домашнія постройки. Батюшка сопровождалъ его съ открытою головою. Что прикажете дѣлать! Благочинный, говорить, самолюбивъ и не задумывается чернить того, кто ему не нравится. Лошади его были накормлены овсомъ до послѣдней возможности. Кучеръ едва ворочалъ языкомъ. Лицо его походило на красное сукно. Съ отѣзdomъ начальника, батюшка повеселѣлъ и сдѣлался разговорчивѣе. Въ сумерки независимый мѣщанинъ такъ насытился, что упалъ середи двора и бормоталъ околесную: «какой безменъ? на безменѣ не обвѣсишь... а вотъ пенька твоя гнилая. Оттого и не доплачено... вѣрно! ступай къ чорту!... Батюшка терпѣть не можетъ, когда упоминается дьявольское имя. Онъ подошелъ къ полусонному гостю и сказалъ: «Эй, любезный! любезный! перекрестись!»

— Проваливай къ чорту! отвѣтилъ мѣщанинъ и перевернулся на другой бокъ. Федуль еще съ утра былъ на веселѣ и все приставалъ къ батюшкѣ, чтобы онъ далъ ему денегъ.

«Пожалуйста, выйди вонъ», отвѣчалъ ему батюшка: «ты видишь, у меня чужіе люди».

— Это ужъ твое дѣло, говорилъ Федуль, растопыривъ руки, какъ крылья. Я сказалъ, что хочу выпить, ну—и кончено!..

Батюшка далъ ему четвертакъ, Федуль положилъ его на свою широкую ладонь, подбросилъ вверхъ и такъ крѣпко ударилъ по ней другою ладонью, что одна старушка гостья плонула и сказала: «вишь, какъ его, окаяннаго, разбираетъ!.. Вечеромъ я вышелъ на крыльцо,

но, увы!... сойти съ него не могъ. Федулъ сдвинулъ съ мѣста большій, самородный камень, служившій ступенью, и каталъ его по двору. «Дуракъ! что ты дѣлаешь?» крикнулъ я на Федула.

— Камень катаю. Человѣка ломать—грѣхъ: не вытерпить, а камень вытерпить, вотъ я его и ворочаю, да! Руки чешутся, оттого и ворочаю.

«Положи его на мѣсто. Съ ума ты сошелъ!»

— Не спѣши. Покатаю и положу.—Онъ такъ и сдѣлалъ.

На слѣдующіе дни повторилась та же исторія ъды и питья съ небольшими измѣненіями. Очищенная для гостей баня оказалась не-нужною: они провели ночь, какъ попало и гдѣ пришлось, т. е., на мѣстахъ, гдѣ кого убиль на-новаль могучій хмѣль. Повторяю опять: слава Тебѣ, Господи! Всѣ разъѣхались!

#### 26.

Время, однако, идетъ да идетъ своимъ чередомъ. Мнѣ уже недолго остается жить въ деревнѣ, быть, какъ говорится, баклуши. Да и пора отсюда. Вѣчно слышишь разворы о пашнѣ, о посѣвахъ, заботы о томъ: упадеть ли во время дождь, сколько мѣръ даетъ изъ колпны рожь, сколько гречи, и проч. и проч. У того-то заболѣла овца. Сосѣда Кузьму видѣли въ новыхъ сапогахъ. Объ этомъ тоже разговариваются, и нѣкоторые смотрятъ на Кузьму съ завистью. Тетка Матрена сушила на печи ленъ и чуть не сожгла избы,—все это передходитъ изъ устъ въ уста и возбуждаетъ разные толки. Матушка опечалена предстоящей со мною разлукой, приготовлять мнѣ жирныя пышки, слобные сухари и разные крендели. Отъѣздъ назначенъ завтра. Не смотря на скучу, которая на меня напала здѣсь въ послѣдніе дни, я съ грустью обошелъ знакомыя поля, побывалъ и въ лугу, и въ лѣсу и,—стыдно сказать,—проходя мимо окна черничекъ, остановился въ раздумье... Окно было занавѣшено. Калитка была заперта. А что, если бы Наталья Федоровна сидѣла подъ окномъ и позвала меня въ свою свѣтлую горенку, ужели бы я отказался съ нею проститься? Признаюсь, во мнѣ все-таки таится задняя мысль, что эти страницы могутъ попасть въ чьи-либо руки. Я не смѣю высказа-

зать того, что творится теперь и что творилось прежде въ моей душѣ... Дорого мнѣ стоило сдержать свое честное слово, много я вынесъ тоски и борьбы, но — я его сдержалъ: я ужъ не видалъ болѣе милой Наташи... Только уѣхать отсюда нужно скорѣе, непремѣнно скорѣе, иначе силы мои упадутъ. Птакъ — въ городъ. И потянетсѧ снова однообразная семинарская жизнь. И пойдуть безконечные уроки, замѣчанія, выговоры и... полно заранѣе горевать! До свиданія, родной мой уголокъ! Спасибо тебѣ за пріютъ, за тотъ покой, которымъ ты меня окружалъ! Быть можетъ, по прошествії года, снова приведетъ меня Богъ сидѣть у этого, отвореннаго въ садъ, окна, смотрѣть на эту темную зелень и вдыхать запахъ росистой травы и, быть можетъ, снова войдеть въ мою комнату, какъ входитъ она теперь, наша молчаливая кухарка и молвить, почесывая по привычкѣ спину: «Василій Иваныч! самоваръ подали. Іда!»...

1 сентября.

Ну, вотъ, мы и въ городѣ. Стоимъ, покамѣстъ на прежней квартирѣ, въ старомъ домишкѣ сварливой, неопрятной мѣщанки, которая, узнавъ, что я не буду болѣе ея жильцомъ, насчитываетъ на батюшку лишніе два рубля. «Давай», говорить, «давай. Небось, не обѣдняете! Вы сами дерете съ живого и съ мертваго»... Батюшка уже былъ у профессора и условился съ нимъ въ цѣнѣ, но что-то хмуриТЬ брови; вѣрно, моя новая квартира обойдется ему не дешево. Яблочкинъ ушелъ отъ меня недавно. Не знаю, потому-ли, что я его нѣсколько времени не видалъ, лицо его показалось мнѣ страшно худо и блѣдно. Но какъ онъ бываетъ хорошъ, когда начинаетъ съ увлечениемъ о чёмъ-нибудь говорить! Голубые глаза горятъ, щеки покрываются яркою краскою, бѣлокурые, выющіеся отъ природы, волосы закидываются назадъ и открываютъ бѣлый широкій лобъ. Сообразно настроенію души, черты лица мѣняются ежеминутно. Во время разговора, всѣ члены его приходятъ въ движение.

«А, Бѣлозерскій!» воскликнулъ онъ, отворяя дверь въ мою комнату: «пріѣхалъ? ну, молодецъ! Давай руку. Эхъ, дружище! какъ тебя въ деревнѣ-то откормили; вотъ что значить батюшкинъ да ма-

тушкинъ сынокъ, не то что нашъ братъ, сынъ пономаря и круглый спрота. Какъ поживаешь?

— Попрежнему, отвѣчалъ я.

«Съ одинаковымъ душевнымъ спокойствіемъ? Ну, и прекрасно. Это въ тебѣ наследственная добродѣтель. Отецъ твой, какъ ты самъ не разъ говорилъ, тоже ничѣмъ не возмущается. Главное, ты умный и добрый малый, за что я отъ души тебя люблю. А знаешь-ли, что? На дняхъ я познакомился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, окончившимъ курсъ въ Московскомъ университетѣ; онъ служить здѣсь чиновникомъ. У него прекрасная библиотека. Хочешь, душа моя, читать? какъ сыръ въ маслѣ будешь кататься».

— Еще бы не хотѣть! Давай только книгу получше!

«Охъ, ты! получше... вкусъ-то у тебя немножко испорченъ. Ну, да исправится современемъ, ничего».

— Гдѣ ты провелъ каникулы?

«Въ деревнѣ одного помѣщика. Училъ его ротозѣя - сынишку первымъ четыремъ правиламъ ариометрии. Ну, душа моя, помѣщикъ! Представь себѣ откормленного на убой быка, съ черными щетинистыми усами, съ угреватымъ расплывшимся лицомъ,—вотъ его портретъ. Чѣмъ, ты думаешь, онъ занимается? Лежитъ на мягкому диванѣ въ вязаной, красной ермолкѣ, въ шелковомъ халатѣ, въ пестрыхъ туфляхъ и насвистываетъ разные марши. «Гришка! Подай трубку!»... Замѣть: столъ стоитъ у его изголовья, на столѣ табакъ и трубка; чего-бы, кажется, кричать? Этотъ Гришка до того загнанъ и запуганъ, что совсѣмъ почти потерялъ даръ слова и движется съ потупленной головою и унылымъ лицомъ, какъ живая кукла. Такой проклятый быкъ, ни одного журнала не выписываетъ! Дочка у него тоже замѣчательное въ своемъ родѣ созданіе: раздавить кто-нибудь при ней муху, она чуть не падаетъ въ обморокъ, увидѣть на своемъ платьѣ козявку, поднимаетъ крикъ. Однажды вечеромъ влетѣлъ въ комнату жукъ. Барышня взвизгнула. Сѣнныя дѣвки, съ вѣниками и съ полотенцами въ рукахъ, начали метаться изъ угла въ уголъ за бѣднымъ наскокомъ. Наконецъ, побѣда была одержана: жукъ вылетѣлъ въ окно. Барышня приняла лавровицневыхъ капель и легла

въ постель. Въ домѣ все притапило дыханіе; даже быкъ на нѣкоторое время пересталъ насищивать свои марши»...

— Ну, что-жъ ты не поссорился съ ними?

«Нѣтъ, выдержалъ. А солено было! На первыхъ порахъ барину угодно было посыпать меня за водой. «Молодой человѣкъ, принесите-ка мнѣ воды!» Я ограничивался тѣмъ, что передавалъ его приказанія въ переднюю: Григорій! баринъ требуетъ воды. Или: «молодой человѣкъ, набейте мнѣ трубку!» Я опять отправлялся въ переднюю: Григорій! баринъ требуетъ трубку. И тому подобное. Съ этого времени барская спесь перестала разсчитывать на мою холопскую услугливость. Однажды я читалъ стихотворенія Шенѣ. Одно изъ нихъ произвело на меня такое впечатлѣніе, что я позабылся и сказалъ вслухъ: «что это за прелесть!» «Чѣмъ вы восхищаетесь?» спросила меня слабонервная барышня. Я показалъ ей прочитанныя мною строки. «Въ самомъ дѣлѣ, очень мило» — «Переведи, Наташа, по-русски, промычалъ быкъ: я послушаю». Наташа попробовала перевести и не смогла. «А ну-ка вы, г. учитель». Я перевѣль. Быкъ взбѣсился. «Какъ, чортъ возьми! Какой-нибудь кут... (онъ хотѣлъ сказать: кутейникъ, но поправился), какой-нибудь молодой человѣкъ, учившійся на мѣдные деньги, свободно владѣть французскимъ языкомъ, а у насъ 5 лѣтъ жила француженка, и ты не можешь перевести стихотворенія, — а?... Послѣ этого пусть дьяволъ возьметъ всѣхъ вашихъ гувернантокъ! Вотъ-что!»... Барышня долго на меня дулась за то, что я будто бы хотѣлъ порисоватьсь передъ ея папашею... «Нѣтъ-ли у тебя что-нибудь покурить?».

— Ничего нѣтъ. Ты знаешь, я почти не курю.

«Скупишись, душа моя,—это скверно!»

— Что-жъ дѣлать! Батюшка и безъ того жалуется на большие расходы. Поздравь меня, Яблочкинъ: я буду жить у нашего профессора К.

«Будто? Ты не шутишь?»

— Нисколько. Такъ угодно моему батюшкѣ.

«Жаль. Вѣрно старикъ твой еще не утратилъ работѣнаго уваженія къ буреѣ и думаетъ, что всякий профессоръ есть своего рода свѣтило—*vir doctissimus*».

— Что-жъ ты находишь тутъ дурного?

«А то, что въ квартирѣ своего наставника ты займешь должность камердинера, разумѣется, если ему понравишься, а не понравишься, займешь должность лакея».

— Ну, далеко хватиць! Увидимъ.

«Увидишь, душа моя, увидишь! Во всемъ этомъ я вижу только одну хорошую сторону: квартира твоя какъ разъ противъ моей, стало быть, ты можешь навѣщать меня, когда тебѣ вздумается. У меня теперь пропасть дѣла. Старушка чиновница, у которой я живу, и съ сыномъ которой приготовляюсь вмѣстѣ поступить въ университетъ, ежедневно мнѣ повторяетъ: «трудитесь молодой человѣкъ, трудитесь! Поѣдете, Богъ дасть, съ моимъ Сашенько въ Москву, я и тамъ васъ не забуду. Такая добрая!»

— Итакъ, ты навѣрное ѿдѣшь въ университетъ?

«Навѣрное. Совѣтую и тебѣ то же сдѣлать».

— Я бы не прочь. Батюшка не позоволитъ. Онъ не хочетъ, чтобы я выходилъ изъ духовнаго званія.

«Врешь! Доброй воли у тебя недостаетъ — вотъ и все! Проси, моли, плачь... что-жъ дѣлать! Не позоволить!... Я круглый сирота, а видишь, не вѣшаю головы! Горько иногда мнѣ приходится, но когда подумаю, что я пробиваю себѣ дорогу безъ чужой помощи, одинъ, собственными своими силами, что кусокъ хлѣба, который я ъмъ, добыть моимъ трудомъ, что перо, которымъ я пишу, куплено на мою трудовую копѣйку, что я никому не обязанъ и ни отъ кого независимъ, — и на глазахъ моихъ выступаютъ радостныя слезы... Развѣ это не отрадно?... Однако прощай! Мнѣ некогда».

Послѣ этого разговора я долго сидѣлъ въ раздумы и ничего не могъ иридумать. Я знаю, что батюшка меня не послушаетъ. А такой непреклонной воли, такой энергіи, какъ у Яблочкина, у меня нѣть. Вѣрно мнѣ придется идти безпрекословно по той дорогѣ, которую вдуть другіе, подобные мнѣ, труженики.

## 2.

Утромъ, вмѣстѣ съ батюшкой, я былъ у профессора Федора Федоровича К. Признаюсь, сердце сильно забилось въ моей груди отъ

какой-то глубокой робости, когда въ первый разъ я переступил порогъ его передней. О насть доложилъ мальчуганъ, одѣтый въ панковый, съ разодранными локтями, бешметъ. «Пусть войдутъ», послышалось за дверью. Мы вошли. Это былъ кабинетъ профессора. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и курилъ папироску. На колѣнахъ его мурлыкалъ сѣрый котенокъ. Съ жаднымъ любопытствомъ осматривалъ я эту комнату, это недоступное мнѣ доселѣ святилище. Надъ диваномъ висѣли, въ деревянныхъ рамкахъ, за стеклами, засиженными мухами, портреты неизвѣстныхъ мнѣ духовныхъ лицъ. Въ маленькомъ шкафѣ на одной только полкѣ стояло нѣсколько учебныхъ книгъ; двѣ остальныхъ полки были пусты. На столѣ лежали разбросанныя тетрадки и засохшія перья. Занавѣски на окнахъ потемнѣли отъ пыли. Вообще комната не отличалась особенно чистотою. «Садитесь, отецъ Иванъ, безъ церемоніи», сказалъ профессоръ, не трогаясь съ мѣста, не перемѣнивъ своего положенія, вѣроятно изъ опасенія потревожить дремавшаго котенка. Батюшка, прежде нежели сѣлъ, указалъ на меня и поклонился въ поясъ профессору. «Отдаю его вамъ подъ ваше покровительство. Учите его добру и наблюдайте за его занятіями. Покорнѣйше вѣсь прошу!» и опять послѣдовалъ низкій поклонъ. — Хорошо! Хорошо! Потакать не станемъ. Впрочемъ, онъ изъ лучшихъ учениковъ; слѣдовательно, при моемъ надзорѣ, вы можете быть спокойны насчетъ его дальнѣйшихъ успѣховъ. «Покорнѣйше вѣсь благодарю!» отвѣчалъ батюшка и опять поклонился. Профессоръ всталъ и отворилъ дверь нальво. «Вотъ комната, которую будеть занимать вашъ сынъ». Комната оказалась не болѣе 4-хъ квадратныхъ аршинъ, съ тусклымъ окномъ, выходившимъ на задній дворъ. Подлѣ стѣны стояла узенькая кровать, когда-то окрашенная зеленою краскою. Свою отдѣлкою она напоминала мнѣ кровати нашей семинарской больницы. Подъ задними ножками были подложены кирпичи, потому что онѣ были ниже переднихъ. Въ углѣ висѣлъ мѣдный рукомойникъ, подъ которыемъ на черной табуреткѣ стоялъ глиняный тазъ, до половины напитый грязною водою. Стѣны были оклеены бумажками, которыхъ во многихъ мѣстахъ отклеились и висѣли блоками. «Приберется, хоро-

шай будеть комната», сказаъ профессоръ: «пустъ только занимается дѣломъ. Мѣшать ему здѣсь никто не станеть...»—Это главное, это главное! повторилъ батюшка: обѣ удобствѣ не беспокойтесь. Мы люди привычные ко всему.—«И прекрасно! пустъ съ Богомъ перебѣжаетъ».—Когда прикажите?—«Хоть сейчасъ, мнѣ все равно. Скажите вашему сыну, чтобы онъ ноприлѣженїе занимался, а голодать за моимъ столомъ онъ не будеть: я люблю хорошо поѣсть. Что вы дѣлали во время каникулъ?» Послѣднія слова относились ко мнѣ. Я покраснѣлъ. Сказать прямо, что я возилъ споны, казалось мнѣ какъ-то неловко. «Почти ничего», отвѣчалъ я. — Это дурно! Надо трудиться: безъ труда далеко не уѣдешь.—«И я ему то-же вишуаю», сказаъ батюшка.—«Такъ и слѣдуетъ. Вы думаете, мнѣ вотъ легко досталось, что я вышелъ въ люди? Нѣть, нелегко! 16 лѣтъ я не разгибалъ спины, сидя за книгами, и никакой твари не обидѣлъ, ни словомъ, ни дѣломъ. У насть заносчивостію не возьмешь. Это, молодой человѣкъ, вы примите къ свѣдѣнію. Иначе цѣлый вѣкъ будете перезванивать въ колокола и распѣвать на клиросѣ». Во время этой рѣчи профессоръ сидѣлъ и поглаживалъ рукою котенка. Мы почтительно стояли у порога. Батюшка тяжело вздыхалъ. «Прошу васъ не оставить его своимъ вниманіемъ».—Хорошо, хорошо! — Затѣмъ мы поклонились и вышли.

На обратномъ пути батюшка внимательно разматривалъ огромныя выѣски на каменныхъ домахъ, читаль ихъ и торопливо давалъ дорогу всякому порядочно-одѣтому человѣку. Мнѣ кажется, онъ немножко какъ-бы одичалъ, живя безвыѣздано въ своей деревнѣ. Отдохнувъ нѣсколько въ горенкѣ нашей старой квартиры, гдѣ, кромѣ насть, не было ни одной души, онъ сказалъ мнѣ: «Ну, Вася, тебѣ уже 19 лѣтъ; стало быть, ты можешь понимать, чтѣ хорошо и что дурно. Учись прилежно. Старшихъ слушай и береги деньги. Я ихъ не жалѣю и помѣщаю тебя къ профессору, желая тебѣ добра. Смотри же, не обмань моихъ надеждъ!» Мнѣ было что-то очень грустно. «Батюшка», сказаъ я: «Яблочкинъ Ѳдетъ въ университетъ. Позвольте и мнѣ съ нимъ туда же приготовиться». — Пусть онъ Ѳдетъ. Часть ему добрый. А ты пребывай въ томъ званіи, для котораго ты при-

званъ, и мечты свои оставь, если не хочешь меня обидѣть. — Я утеръ украдкою слезу и началъ собираться къ переѣзду на новую квартиру.

3.

Вотъ я и на новосельи. Батюшка отправился домой ночью, потому что спѣшилъ къ посѣву ржи. Сегодня въ первый разъ мнѣ пришлось обѣдать за однимъ столомъ съ профессоромъ. У меня недостаетъ словъ выразить, въ какое затрудненіе поставилъ меня этотъ обѣдъ! На столѣ стояли два прибора, и каждый былъ накрытъ особою салфеткою. Я рѣшительно не зналъ, что мнѣ съ нею дѣлать и куда мнѣ ее положить. Спасибо, что профессоръ вывелъ меня изъ замѣшательства своимъ примѣромъ. Далѣе дошло дѣло до серебряной ложки, похожей на лодочку, тогда какъ я привыкъ обходиться съ деревянною, круглою. Неловко безъ привычки, да и только. Того и смотри, что оболью щами или скатерть, или свой атласный черный жилетъ. Когда мнѣ пришлось взять на свою тарелку кусокъ жаренаго мяса и разрѣзывать его, я сдѣлалъ таки глупость: брызнуль на бѣлую скатерть подливкою и окончательно потерялся. Мои длинныя ноги, казалось, стали еще длиннѣе. Я не зналъ, куда ихъ дѣвать. Попробовалъ протянуть ихъ свободно подъ столомъ,—но увы! толкнулъ ножку стола и коснулся ноги профессора. Подумалъ, подумалъ—и съ величайшою осторожностью помѣстилъ ихъ подъ свой стуль. Къ счастію, въ продолженіе обѣда профессоръ почти ничего не говорилъ; иначе какъ бы я могъ сообразить отвѣтъ и въ то же время управляться съ ножемъ и вилкою?... Прислуживала намъ старая кухарка, одѣтая опрятно и, какъ видно, хорошо знающая свое дѣло. Изъ-за стола я вышелъ голоднымъ, потому что не смѣялъ дать воли своему аппетиту, не желая показаться человѣкомъ, никогда не ви- давшимъ порядочнаго куска. Проклятая застѣнчивость!..

«Ну Бѣлозерскій, дай-ка мнѣ папироску; онъ вотъ на окнѣ лежать», сказаль мнѣ Федоръ Федоровичъ, выходя изъ-за стола: «да, пожалуйста, будь поразвязнѣе и ужъ извини, братъ, что я начинаю съ тобою обращаться на *ты*. Смѣшино же намъ церемониться: ты проживешь у меня не одинъ день...»

Такъ, подумалъ я, вотъ и первое сближеніе ученика съ профессоромъ. Посмотримъ, что будетъ далѣе.

«Позвольте узнать, что вы посовѣтуете мнѣ прочитать по части философіи?»

Онъ рекомендовалъ мнѣ слѣдующее:

Опытъ науки философіи, Надеждина.

Опытъ системы нравственной философіи, Дроздова.

Опытъ философіи природы, Кедрова;

и нѣсколько разныхъ руководствъ по логикѣ и психології. Все это, сказалъ онъ, вы можете спросить въ семинарской библіотекѣ. Ну, подумалъ я: эта пѣсня потягнется надолго. Библіотекарь, занимающій виѣстъ съ тѣмъ и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугомъ, или тѣмъ, что влючь отъ библіотеки забыть имъ дома, или, когда бываетъ не въ духѣ, просто откажеть такъ: вы просите книги, а навѣрное урока не знаете... Читатели!.. Трепать берете, а не читать... ступайте, откуда пришли!..

Въ продолженіе этого дня у Федора Федоровича не мало перебывало лицъ нашего духовнаго сословія. Онъ принималъ ихъ не однажды. Однихъ приглашалъ въ гостиную и указывалъ на стулья, говоря: «садитесь безъ церемоніи. Ну, что у васъ новаго? Каково уродился хлѣбъ?» (Послѣдній вопросъ онъ предлагалъ почти всѣмъ. Желалъ бы я знать, что ему за дѣло до урожая?). Другіе останавливались на порогѣ гостиной и объясняли ему свои нужды въ такихъ робкихъ выраженіяхъ, сопровождая ихъ такими глубокими поклонами, принимали на себя такой уничиженный, раболѣпный видъ, что мнѣ вчужѣ становилось досадно и горько. Федоръ Федоровичъ ходилъ по комнатѣ, играя махрами своего шелковаго пояса (вероятно, онъ никогда не снимаетъ въ комнатѣ своего халата), нѣкоторымъ обѣщаю свое покровительство; нѣкоторымъ говорилъ: «не могу, не могу! Тутъ не поможетъ мое ходатайство». Остальныхъ выслушивалъ въ передней и, бросивъ быстрый взглядъ на какое-нибудь замасленное, потертое полукафтанье, отрывисто восклицалъ: «некогда! приходи въ другое время!» Наконецъ за однимъ дѣячкомъ просто за-

хлопнула дверь, сердито сказавъ: «надоѣли! всякая дрянь лѣзеть»!.. Заглянувъ случайно въ кабинетъ, я увидѣлъ подъ письменнымъ столомъ нѣсколько бутылокъ рому, голову сахару, а на столѣ два фунта чаю. Естѣи о чай. Послѣ вечерни, когда былъ поданъ самоваръ, Федоръ Федоровичъ послалъ меня за табакомъ. Вотъ, говорить, 30 к. сер., возьми четверку 2 сорта турецкаго, только смотри — средняго, а не крѣпкаго. Табаку я купилъ, но возвратился промокшій до костей, потому что дождь поливалъ, какъ изъ ведра.

«Ну, что, сказалъ онъ: промокъ?»

— Ничего, отвѣчалъ я.

«Выпей вотъ чашку чаю».

Чай былъ еще холоденъ и такъ жидокъ, что походилъ на мятную воду; однакожъ я не смѣль отказаться, рыпилъ и опрокинулъ чашку. «Не хочешь ли еще?» Я поблагодарилъ и отказался. Федоръ Федоровичъ положилъ въ жестянную сахарницу возвращенный ему мною кусочекъ сахара, замкнулъ ее и приказалъ мальчику прибрать самоваръ.

Послѣ ужина, за которымъ я сидѣлъ уже нѣсколько смѣлѣе, Федоръ Федоровичъ вышелъ въ переднюю, остановилъ маятникъ стѣнныхъ часовъ, чтобы онъ не беспокоилъ его ночью своимъ стукомъ, и далъ мнѣ мѣдный подсвѣчникъ и сальную свѣчу. «Если нужно, можешь зажечь». Тутъ онъ замѣтилъ дремавшаго на стулѣ мальчугана, котораго зоветъ Гришкою, и дернулъ его за вихорь. «Пошли, чертенокъ, въ кухню. Видишь, нашель мѣсто, гдѣ спать! Комната моя, при мѣсячномъ свѣтѣ сквозь тусклыя стекла, показалась мнѣ пустымъ, заброшеннымъ чуланомъ. Я попробовалъ отворить окно: съ задняго двора пахнуло навозомъ, и я съ досадою его закрылъ. Легъ на свою жесткую кровать, но заснуть не могъ: воображеніе мое работало неутомимо. Мнѣ вспомнились наши знакомыя поля, покрытыя желтою рожью, моя свѣтлая, уютная горенка и темный, кудрявый садъ. И вотъ яснѣе и яснѣе возникъ передо мною образъ улыбающейся женщины, забѣжалось ея открытое плечо, и я почувствовалъ крѣпкое пожатіе нѣжной руки. Что со мною, подумалъ я и приложилъ руку ко лбу; лобъ горѣлъ, какъ въ огнѣ. Неужели я про-

студился? Нечего сказать, не весело мое новоселье. И медленно и тихо поднялся я съ кровати, чтобы не разбудить спавшаго профессора, зажегъ свѣчку и написалъ эти строки.

## 5.

Теперь снова за трудъ. Все начинаеть входить въ свою обыкновенную колею. Сегодня поутру въ нашей семинарской церкви былъ торжественный молебенъ, на которомъ присутствовали профессора и почти всѣ ученики. Послѣ того, какъ дьяконъ провозгласилъ многоязычіе всѣмъ учащимъ и учащимся, хоръ пѣвчихъ привелъ въ восторгъ большую часть слушателей своимъ чутъ не сверхъ-естественнымъ крикомъ, въ особенности отличались басы. Изъ церкви ученики разошлись по классамъ. Всѣдѣ за толпою моихъ товарищѣй, вошелъ и я въ нашъ философскій классъ, дверь котораго отпѣрь намъ съ дой сторожъ, отставной солдатъ съ лицомъ, изрытымъ оспою. Эти каменные громадной толщины стѣны, покрытыя зеленою краскою, эти бѣлые, мѣстами растрескавшіеся, своды потолка, эта высокая печь, никогда не затопляемая въ зимнее время и существующая неизвѣстно для какой цѣли, эти окна съ желѣзными рѣшетками, эти черные, изрѣзанные перочинными ножами, столы съ обтертыми скамьями и широкая, черная доска, утвержденная отлого на трехъ ножкахъ,—все это показалось мнѣ такъ знакомо, будто я былъ здѣсь назадъ тому не болѣе двухъ дней. Воздухъ сырой, какъ въ подвалѣ, и все вокругъ покрыто слоями густой пыли. На доскѣ кому-то вздумалось вывести пальцемъ: *терпѣніе великая добродѣтель*, и слова эти вышли чрезвычайно отчетливо. Въ классѣ начались, по обыкновенію, толкотня, пересаживанье съ мѣста на мѣсто, прыганье черезъ столы, ходьба по нимъ и смутный, безтолковый шумъ. Въ одномъ концѣ какая-то забубенная голова напѣвала вполголоса: «Я не думала ни о чѣмъ въ свѣтѣ тужить»; въ другомъ кто-то выводилъ густымъ басомъ: «Многая лѣта! мно-га-я лѣ-ѣ-та!» Куда ты къ черту лѣзешь? раздается громкій крикъ: ногу отдавилъ! «А ты не разставляй ихъ», отвѣчалъ сиплый голосъ. Я зналъ свое четвертое мѣсто на скамье первого стола. «Слышишь, Краснопольскій!» сказалъ ученикъ, перегнувшись черезъ мою спину. «Ты, братъ, зачѣмъ же увезъ въ де-

ревню моего Поль-де-Кока?» — Забылъ отдать, ей-Богу, забылъ! отвѣчалъ Краснопольскій, торопливо доѣдая мучную булку. — «Дай-ка, братъ, мнѣ булки-то немножко. Есть что-ли?» — На, вотъ. — «А стоишь на прежней квартирѣ?» — Нѣтъ, хозяйка отказалася. — «Отчего отказалася?» — У меня, говорить, теперь дочь на возрастѣ. — Ученики захототали. Краснопольскій обратился ко мнѣ: «Ты куда пойдешь послѣ класса?» — На квартиру, сказалъ я. — «Пойдемъ-ка лучше въ трактиръ чай пить, вотъ что за нашею семинаріею, тамъ мало бываетъ народу. — «Нѣтъ, не пойду», отвѣчалъ я. — «Ну, какъ хочешь. Ты гдѣ стоишь?» — У нашего профессора. — Краснопольскій вытаращилъ на меня глаза. «У Федора Федоровича?» — Да. — Товарищъ мой почесалъ за ухомъ и молчаливо отвернулся въ сторону. Странно! вотъ что значитъ покровительство наставника... Этахъ, пожалуй, и всѣ станутъ посматривать на меня недовѣрчиво... «Тсс... по мѣстамъ!» сказалъ кто-то. И вдругъ все пришло въ порядокъ. Дверь отворилась, и Федоръ Федоровичъ вошелъ. Одинъ изъ учениковъ, среди глубокаго молчанія, прочиталъ «Царю Небесный», послѣ чего нашъ наставникъ кивнулъ слегка на всѣ стороны головою: «садитесь!» Смотря на выраженіе его лица, на его манеры и поступъ, я никакъ не могъ понять, откуда явилась въ немъ эта перемѣна. Федоръ Федоровичъ дома — и здѣсь — это двѣ совершенно противоположныя личности. Тамъ онъ и говорить просто, и ходить, какъ мы всѣ ходимъ, и на лицѣ его нѣтъ чувства собственного достоинства, а въ классѣ и лицо у него другое, и манеры другія, и поступъ другая, и даже голосъ рѣшительно не его голосъ. Сію минуту видишь, что это профессоръ, а не простой человѣкъ, Федоръ Федоровичъ. И вотъ, поднявъ голову и помахивая правою рукою, въ которой держала шляпу, онъ прошелся взадъ и впередъ по классу, взъерошилъ свои волосы; всѣ тотчасъ смытили, что будетъ сказана рѣчь, и встали. Онъ началъ: «Господа! я не буду говорить вамъ объ отеческой заботливости и неусыпномъ попеченіи вашаго начальства, благодаря которому вы такъ долго отдыхали послѣ учебныхъ занятій. Равнымъ образомъ я не буду говорить о той важной обязанности, которая ожидаетъ васъ впереди и къ которой можетъ привести васъ одно

только безукоризненное поведение, неразрывно соединенное съ постояннымъ трудомъ. Все это вамъ самимъ должно быть извѣстно. Скажу одно: силы ваши теперь освѣжились. Итакъ — вамъ предстоитъ съ новымъ рвениемъ взяться за трудъ, ожидающей васъ на широкомъ полѣ науки. Что касается меня, я употреблю всѣ, зависящія отъ меня средства, чтобы не пропало даромъ время, которое вы проведете со мною въ этихъ стѣнахъ... И онъ торжественно указалъ лѣвою рукою на стѣны. «Садитесь!» Мы сѣли. Сѣль и Федоръ Федоровичъ къ своему четырехъугольному столику и вынулъ изъ бокового кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственныя или, лучше сказать, академическія записки о психологіи, по которымъ когда-то учился онъ самъ и которая передѣлывалась и сокращалась теперь для насъ. Послѣдовало медленное чтеніе. Федоръ Федоровичъ взвѣшивалъ каждое слово, какъ иной купецъ взвѣшиваетъ на рукѣ червонецъ, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюдение, какого требуетъ психологія, повидимому, не представляетъ собою занятія трудного, потому что предметъ самонаблюденія для каждого человѣка есть онъ самъ. Но, то самое обстоятельство, отъ котораго зависитъ, повидимому, легкость психологическихъ изслѣдований, что каждый человѣкъ есть самъ для себя и предметъ и содержаніе психологическихъ наблюденій, составляетъ одну изъ главныхъ трудностей въ дѣлѣ самонаблюденій; потому что меньше всего знаетъ то, что онъ есть. Чтобы наша душа могла наблюдать самое себя, для этого ея мысль, ея сознаніе должны быть обращены на нее же саму; между тѣмъ: А) познаніе, пріобрѣтаемое нами такимъ образомъ о нашей душѣ, совсѣмъ не такъ ясно, какъ познаніе о вѣнчнемъ мірѣ и другихъ предметахъ. Познаніе объ этихъ предметахъ можетъ быть намъ яснымъ оттого, что они противопоставляются нашей душѣ, какъ отличное отъ нея; но наше же не можетъ противопоставить самого себя себѣ, какъ новѣйший предметъ. Правда, что при самонаблюденіи возможно раздвоеніе нѣкоторымъ образомъ и самопротивопоставленіе нашего сознанія, потому что, кромѣ акта наблюденія, должны также продолжаться дѣйствія наблюденія; но, при такомъ раздѣленіи сознанія обыкновенно ослабляется сила и живость наблю-

даемыхъ имъ психологическихъ явлений. Тогда какъ во внѣшнемъ мірѣ предметы представляются намъ въ раздѣльности, міръ внутренний является предъ внутреннимъ окомъ въ совершенномъ смѣшаніи...

Я привожу здѣсь этотъ отрывокъ изъ лекціи, съ тою цѣлію, чтобы онъ поглубже, такъ сказать, засѣлъ въ мою голову. Объясненіе раздвоенія нашего сознанія и самопротивопоставленія нашего я, къ со- жалѣнію, прервалось громкимъ смѣхомъ одного ученика, который не съумѣлъ удержаться, слушая какой-то уморительный анекдотъ потѣшившаго его товарища. Федоръ Федоровичъ всталъ, изслѣдоваль сущность дѣла до мельчайшихъ подробностей, виновныхъ поставилъ къ порогу на колѣни и, казалось, все кончено. Напротивъ. Началось безконечное разсужденіе объ обязанностяхъ воспитанниковъ вообще, воспитанниковъ духовнаго сословія въ особенности. Половина слушателей зѣвала, другая слушала своего наставника по привычкѣ его слушать. Стоявшія на колѣняхъ ученики, едва онъ оборачивалъ къ нимъ свою спину, или показывали ему кулакъ, или дразнили его языкомъ. Раздался звонокъ,—и у всѣхъ просіяли лица. Федоръ Федоровичъ указалъ въ тетрадкѣ на мѣсто, до котораго нужно было выучить къ слѣдующему дню урокъ, и классъ окончился. Это свободное и ненужное ни на что время, отъ 10 до 11 часовъ, покуда явится новый профессоръ,—у насъ въ нѣкоторомъ родѣ антрактъ. Ученики выходятъ въ корридоръ, толкаются въ классѣ, словомъ, происходитъ обычная неурядица. О профессорѣ исторіи, котораго начался въ 11 часовъ, я скажу послѣ. Нельзя же вдругъ: хорошенькаго понемножку. Въ корридорѣ я встрѣтилъ Яблочкина. Онъ сердится, что я давно къ нему не захожу.

## 6.

Квартира Яблочкина не велика, но такая уютная и чистенькая, что прелест! Стулья обиты новымъ ситцемъ. Столикъ полированый. Въ простѣнкѣ зеркало. На окнахъ разставлены цветы, которые, по словамъ Яблочкина, старушка-хозяйка любить до страсти. Когда я вошелъ въ переднюю, крѣпостной человѣкъ этой старушки снялъ съ меня шинель. Предупредительность его такъ меня смутила,

что я покраснѣлъ до ушей. Мнѣ никогда не случалось пользоваться чужими услугами. Яблочкинъ что-то переводилъ изъ Гораций. «Здравствуй, Вася!» сказалъ онъ, пожимая мнѣ руку: «насилу обо мнѣ вспомнилъ». И бросилъ въ сторону книгу. Лицо его, что случается рѣдко, было такое свѣтлое и веселое, что я не могъ удержаться и спросилъ, что это значитъ. «Да, такъ душа моя, ничего нѣть особеннаго. День ясный. Кругомъ тихо. Въ комнатѣ пахнетъ цвѣтами. На ногахъ у меня, видишь?» Онъ поднялъ со смѣхомъ одну ногу: «новые сапоги. Задачку я написалъ въ одинъ присѣсть. Сталъ переводить Гораций, переводится безъ труда,—вотъ я и радъ. Такъ-то, приятель!» Яблочкинъ обнялъ меня и ударилъ ладонью по плечу. «Ну, каково поживаешь на новой квартирѣ?»

— Такъ себѣ, сказалъ я: ни хорошо, ни дурно. Дурно то, что нѣкоторые товарищи, благодаря моей новой квартирѣ, посматриваютъ на меня косо.

«А ты этого не предвидѣлъ? Разумѣется, съ этого времени тебя будуть бояться, какъ пересказчика, доносчика и тому подобное. Впрочемъ, это вздоръ!... Что-жъ ты просился у своего отца въ университетъ?»

— Просился. Я впередъ тебѣ говорилъ, что онъ откажеть.

«Вотъ, ей-Богу, народъ! Видѣть пробитую дорогу и думаетъ, что лучше этой дороги и нѣть, и не должно быть... А все-таки у тебя нѣть воли; ну, отчего бы не сдѣлать по своему?»

— Это дѣло рѣшено, отвѣчалъ я... Поговоримъ о другомъ.

«Т. е., о семинаріи? Изволь. Вчера въ началѣ класса, было обращено къ намъ вступительное слово такого рода: «Теперь мы снова приступаемъ къ занятіямъ. На экзаменѣ передъ каникулами отцу-ректору угодно было замѣтить, что нѣкоторые изъ васъ отвѣчали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни спрошу, читалъ мнѣ лекцію безъ запинки. А кто во время чтенія будетъ посматривать на потолокъ, да выдѣлывать эти: гмъ, гмъ... того, хотя бы онъ стоялъ въ первомъ десяткѣ, я сопихну въ 3-й разрядъ. Вотъ вамъ и все!»... Что ты на это скажешь?»

— Ужъ мы не разъ это слышали. Приказано,—стало быть, нужно исполнять.

«Ну, нѣтъ, душа моя! Зубрить я не стану. И, если бы въ самомъ дѣлѣ пришлось мнѣ во время отвѣта взглянуть на потолокъ или въ сторону — преступленіе было бы не важное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменѣла: ни молодѣеть, ни старѣется»...

Въ эту минуту, съ журналомъ въ рукахъ, вошелъ въ комнату гимназистъ, сынъ старушки. Яблочкинъ отрекомендовалъ ему меня, какъ своего лучшаго товарища. При постороннемъ человѣкѣ мнѣ тотчасъ сдѣлалось неловко, и я ломалъ свою голову изъ-за пустѣйшаго вздора: опять-ли сѣсть мнѣ на прежнее мѣсто, или приличнѣе будетъ постоять. Гимназистъ обратился къ Яблочкину. «Алексѣй Сергеевичъ! я прочиталъ вотъ въ этомъ номерѣ «Отечественныхъ Записокъ» одну изъ статей: разборъ сочиненій Пушкина. Что за языки! Что за энергія! Только, знаете-ли, я не довѣряю похваламъ, которая разсыпаются здѣсь его антологическимъ стихотвореніямъ. Они мнѣ не нравятся. Я люблю болѣе всего то, что берется прямо изъ окружающей насъ жизни».

— Въ вѣсѣ мало поэтическаго чутья. Что-жъ такое! Вамъ не нравится и «Каменный гость» Пушкина.

Тутъ у нихъ начался споръ о художественномъ воспроизведеніи дѣйствительности въ поэзіи, обѣ образности, о пластикѣ. Изъ словъ ихъ я понималъ немногое, не хочу таиться; самолюбіе мое сильно страдало. Наконецъ, старушка зачѣмъ-то кликнула своего сына и онъ ушелъ.

«Этотъ господинъ, вѣрно, хорошо развитъ», замѣтилъ я Яблочкину.

— Ничего. Онъ отличный малый. Трудится много, читается съ толкомъ. Развитіемъ своимъ обязанъ, конечно, не гимназии, отъ которой пахнетъ мертвичною, а самому себѣ.

«Нѣтъ-ли у тебя чего-нибудь почитать? Дай, пожалуйста», сказала я.

— Насилу ты надумался. Бери, душа моя, — книгъ достанетъ. Вотъ «Мертвые Души» Гоголя, не читаль?

«Нѣтъ».

— Ну, возьми.

Скоро будетъ полночь. На дворѣ шумитъ дождь. За стѣною хранишь Федоръ Федоровичъ, и гдѣ-то изрѣдка чирикаетъ сверчокъ. Я только-что дочиталъ «Мертвыя души» и спѣшу сказать о нихъ нѣсколько словъ подъ вліяніемъ свѣжаго впечатлѣнія. Я взялся за книгу еще съ утра. Нечего говорить, что я читалъ ее съ увлечениемъ. Время, проведенное мною за обѣдомъ, казалось мнѣ безкощечно-длиннымъ, и я вертѣлся на стулѣ, придумывая подъ какимъ бы предлогомъ выйти изъ-за стола, чтобы снова приняться за чтеніе. «Или ты нездоровъ?» мнѣ сказалъ Федоръ Федоровичъ. — Нѣть, ничего,— «Что-жъ ты вертишься?» — Такъ. Быть что-то не хочется.— «Ну, выходи. Кто жъ мѣшаешь». И я вышелъ. Такъ вотъ кто этотъ Гоголь!... И обѣ этомъ-то Гоголѣ одному изъ нашихъ наставниковъ угодно было выразиться, что произведенія его пахнутъ кухнею и конюшнею, что имъ выведены на сцену какие-то обжоры и разная сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нѣть, почтеннѣйший наставникъ! Ужъ на этотъ разъ позвольте съ вами не согласиться. Чичиковъ, Плюшкинъ, Собакевичъ, Ноздревъ... это такія личности, которыхъ никогда не выйдутъ изъ моей памяти. Читая книгу, мало того, что я ихъ вижу,— мнѣ кажется, я ихъ осозаю, мнѣ кажется, я чувствую ихъ дыханіе. Жизнь ключемъ бѣть изъ каждой строки! Господи, да какой же я дуракъ! Прожить 19 лѣтъ и не прочитать ни одной порядочной книги!... Все живое до того мнѣ чуждо, какъ будто я существую на другой планетѣ, и нѣть у меня ни костей, ни плоти. Но, слава, Богу! этотъ день ие пропалъ у меня даромъ.

Яблочкинъ далъ мнѣ еще нѣсколько книгъ. Но читать почти never: такъ много времени отнимаютъ классы и затверживанье наизусть разныхъ уроковъ, — право, досадно! Иногда сидишь, сидишь въ классѣ и задашь себѣ, ради скучи, вопросъ: «Изъ-за чего я тутъ сижу?» И никакъ не рѣшишь этого простого вопроса. Сегодня, напримеръ, въ 11 часовъ утра, явилась въ классъ высокая, тощая и блѣдная фигура, одѣтая, по своему обыкновенію, въ длиннохвостый фракъ со свѣтлыми пуговицами. Это былъ наставникъ, читающій намъ геометрію. Послѣ молитвы «Царю небесному», черный фракъ

двигался нѣсколько минутъ изъ угла въ уголъ по классу, затѣмъ послѣдовали старческій кашель, щелчокъ по табакеркѣ, нюханье табаку и вытираніе носа платкомъ. Мы ко всему этому привыкли и ждали, что будетъ далѣе. «Дайте мнѣ мѣлу!» Ученикъ подалъ ему кусокъ мѣлы и вытеръ грязною тряпкою черную доску. Такъ какъ тряпка была въ мѣлу и выпачкала ему руки, онъ ударилъ ладонью обѣ ладони и при этомъ, разумѣется, счѣль нужнымъ, на потѣху товарищѣй, скрочить рожу. И вотъ на доскѣ появились углы и треугольники. Геометрія не считается у насъ въ числѣ главныхъ предметовъ преподаваемыхъ, и потому на черченіе наставника никто не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ останавливалъ время отъ времени свою работу, нюхалъ табакъ, поглядывалъ наискусѣ на изображеніе имъ круги и треугольники и снова продолжалъ:  $AB+AC=AD+AC=S$  и при томъ уголъ  $BAC$  и такъ далѣе, позади меня два ученика преснокойно играли въ три листка. искусно пряча подъ столомъ избитыя, засаленныя карты. Вдругъ одинъ изъ нихъ, вѣроятно въ порывѣ восторга, крикнулъ: «Флюсть!» Наставникъ вздрогнулъ и обернулся. «Какой флюсть? Кто это сказалъ?» И, пойдя къ нашему столу, ни съ того ни съ сего, напалъ на сидѣвшаго подле менѣ товарища. «А, въ карты играть?.. хорошо!.. Пойдемъ къ инспектору». [Бѣднякъ струсили и указали на виновнаго. «Это вотъ онъ что-то сказалъ».—А, это ты! крикнулъ наставникъ: хорошо!... пойдемъ къ инспектору. — «Помилуйте, отвѣчай съ улыбкой ученикъ: я сказалъ: плюсь, а не флюсть». — Пошелъ на средину класса!.. ну, стой тутъ. Гдѣ карты! — «У менѣ никакихъ нѣть картъ». — А, нѣть... выворачивай карманъ. Такъ... Выворачивай другой... Гм... нѣть... растегни жилетъ. — Карты нигдѣ не нашлось: онъ уже давно были переданы въ десятка руки. «Ну, чортъ вѣсъ разберетъ! Зачѣмъ ты нарушаешь порядокъ!—виноватъ! Я увлекся вашею задачею; вы, кажется, хотѣли поставить минусъ, а мнѣ показалось, что нужно плюсь, я и крикнулъ: плюсь! — «То-то увлекся... Пошелъ на мѣсто!» Динь, динь, динь! Пробило 12 часовъ. «Уже?» спросилъ наставникъ. Обратился къ журналисту и подписалъ въ журналѣ свою фамилію. «Дайте-ка мнѣ геометрію»...

Книга была подана. «Отъ сихъ до этихъ», сказалъ онъ и провелъ своимъ острымъ ногтемъ на поляхъ страницы двѣ черты.

Я такъ спѣшилъ на квартиру, что рубашка моя взмокла отъ пота; мнѣ страшно хотѣлось бѣсть. Послѣ обѣда опять пришлось тащиться въ семинарію, чтобы перевести полстранички изъ Лактанція. И какой переводъ!.. Тянуть слово за слово; иного хоть убей, не знаетъ, въ какомъ времени стоитъ глаголь и не различить подлежащаго отъ-сказанемаго. Только время пропадаетъ даромъ.

## 15.

Однако мнѣ невозможно вести дневникъ свой, какъ бы хотѣлось, т. е., заносить въ него впечатлѣнія свои ежедневно: и времени свободнаго у меня мало, и боюсь, что Федоръ Федоровичъ нечаянно отворить дверь въ мою комнату и поймаеть меня на мѣстѣ преступленія съ поличнымъ въ рукахъ. Жаль! Знаю, что лица, которыя я здѣсь вывожу, очерчены блѣдно, что языкъ припахиваетъ бурсою; но все-таки эта работа доставляетъ мнѣ удовольствіе. Она нисколько меня не стѣсняетъ, она не походитъ на известное разсужденіе изъ заданной темы, гдѣ необходимы приступъ, дѣленіе, доказательства, сравненія, примѣры и заключеніе. Пишу то, что проходитъ у меня въ головѣ, что вижу, что затрагиваетъ меня за сердце. Материалъ у меня не слишкомъ много, потому что среда, въ которой я вращаюсь, ужъ черезчуръ тѣсна. Не спорю, что она имѣеть свою физиономію, что на ней лежитъ своя оригинальная печать, но для меня-то нѣтъ въ ней новаго ни на волосъ. Какъ бы то ни было, буду писать, когда случится, безъ особенной послѣдовательности и строгой связи. Быть можетъ, кто-нибудь прочтетъ эти строки черезъ 20 или 30 лѣтъ и скажетъ: такъ вотъ при какой обстановкѣ шло воспитаніе нашихъ отцовъ!.. Прочтеть, — и не бросить въ насы камня. Нынѣшній день была у насъ лекція французскаго языка, который, за неимѣніемъ профессора, читается ученикомъ Богословія такъ называемымъ лекторомъ. Этотъ богословъ, въ пестрыхъ клѣтчатыхъ штанахъ и въ яркомъ, разноцвѣтномъ жилетѣ, держитъ себя важнѣе, чѣмъ кто-нибудь изъ нашихъ наставниковъ. «Ну-съ», говорить онъ подспѣноватому ученику, голова котораго покрыта зол-

тушными струпьями, «переводите»... И стоитъ, покачивая своимъ вытянутымъ до невозможности корпусомъ. Лѣвая нога его картино отставлена впередъ, одна рука занята книгою, другая играеть бронзовую цѣпочкою. Ученикъ моргаетъ и посматриваетъ изъ-подлобья налево и направо: «подскажите, молъ, анаеемы?..» И вотъ слышится шопотъ: человѣкъ, любящій добротѣль... «Не подсказывать, го-спода!» замѣчаетъ лекторъ. «Вы, я думаю, и склонять-то не умѣете. а? Ученикъ молчитъ. «Склоняйте Г'юаше.

— «Именителный Г'юаше»

Родительный...»

«Довольно, довольно! Какой тутъ ломъ? Экое произношеніе! Оно и видно, что вамъ приличнѣе держать ломъ въ рукахъ, а не книгу». Въ классѣ раздается сдержанній хохотъ. Лекторъ радъ, что сказалъ острое словцо. «Слѣдующій!» — «Я нездоровъ», пробасилъ плачистый верзило, лѣниво поднимаясь со скамьи съ заспанымъ лицомъ и закрывая широкою ладонью зѣвающій ротъ. «Желудокъ, вѣрно, обременили!» Въ классѣ опять раздается хохотъ. И такимъ образомъ проходитъ время съ пользою для учащихся, съ пріятностію для наставника.

20.

Вчера Федоръ Федоровичъ праздновалъ день своего рожденія. Къ этому событию онъ приготовлялся за недѣлю впередъ. Вотъ, молъ, и тотъ-то меня посѣтить, и такой-то у меня будетъ, и записывалъ для памяти, что ему нужно купить. Подъ-часъ, сидѣть съ латинскимъ лексикономъ въ рукахъ, приготовляя изъ хрестоматіи переводъ странички къ слѣдующему классу, и вдругъ положить его въ сторону и скажетъ: «Ахъ, паюсной икры еще надоно, чутъ не забыть!» И замѣтить на бумагѣ: 1 фунтъ паюсной икры. Икры, повторить онъ и задумается, потупивъ голову, посмотреть на цифры, сдѣлаетъ сложеніе и плюнетъ: «Вотъ оно что! Десять руб. сер. не хватить, не смотря на то, что чай, сахаръ и ромъ у меня не купленные». Даже со мною онъ заводить обѣ этомъ рѣчь: «Вотъ, молъ, каково теперь содержаніе! на все такая дороговизна, что смерть!» Ужъ не намекаетъ ли онъ, что дешево взялъ съ меня за квартиру?...

Григорій, иначе называемый Гришкою, сбился съ ногъ, бѣгая на рынке и съ рынка. Покупка разныхъ разностей, по известной причинѣ, не сдѣлалась разомъ. Потребовалось луку — и Григорій бѣжитъ; понадобилось горчицы — и Григорій опять бѣжитъ. Только-что возвратится, облитый горячимъ потомъ, — «Гришка!» раздается изъ кабинета: «пошелъ сюда!» Ступай, возьми уксусу на 10 коп. И Григорій опять бѣжитъ, повторяя дорогою: «Уксусу на 10 коп., уксусу на 10 коп.» Вечеромъ подъ этотъ, въ нѣкоторомъ родѣ, торжественный день, Федоръ Федоровичъ былъ у всенощной и возвратился оттуда съ двумя большими просфорами и тотчасъ же вывелъ крупными буквами на одной за здравіе, на другой: за упокой. Усталый мальчуганъ дремалъ въ передней. Федоръ Федоровичъ вошелъ въ нее и потянулся къ себѣ воздухъ. «Виши, какъ онъ тутъ навонялъ потомъ. Пошелъ, чертенокъ въ кухню!» и дернулъ его за вихоръ. Не прошло двухъ минутъ, онъ уже стоялъ въ своемъ кабинетѣ на молитвѣ съ киевскими святыми въ рукахъ. Передъ иконою теплилась лампадка. Наступающее утро ознаменовалось тѣмъ, что Федоръ Федоровичъ надѣлъ на себя новый сюртукъ. Постороннихъ лицъ съ поздравленіями не было никого. Приходили только три ученика изъ нашего класса, которые принесли ему въ подарокъ серебряную солонку, конечно, купленную ими на складчину. Знаю я этихъ ословъ, известныхъ своимъ тупоуміемъ и проказами на квартире, въ домѣ подозрительного поведенія хозяйки... впрочемъ, это не мое дѣло. Федоръ Федоровичъ ихъ обласкалъ и поблагодарилъ. Едва затворилась за ними дверь, онъ началъ вертѣть въ рукахъ подаренную ему вещь, рассматривая ее сверху, снизу, съ боковъ и, наконецъ, сказалъ вслухъ «84-й пробы». Въ передней кто-то кашлянулъ. Кто тамъ? — Я-съ, отвѣчалъ знакомый Федору Федоровичу сапожникъ: — честь имъ поздравить васъ со днемъ рожденія. Вотъ не угодно ли съ принять крендельки!.. Крендель былъ испеченъ въ видѣ какого-то муренаго вензеля и кругомъ осыпанъ миндалемъ. «Спасибо, братецъ, спасибо! Ну, что-жъ, выпьешь рюмку водки? — Грѣшный человѣкъ! шью-сь. — И рюмка была выпита. — А вы, Федоръ Федоровичъ, ужъ того-съ... замолвите за меня слово въ вашей семинаріи, вы ужъ

тамъ знаете кому. Насчетъ лаковыхъ сапоговъ не извольте сомнѣваться: я сказалъ, что ихъ сошью—и сошю-сь. Такіе удеру,—мое почтеніе! — «Хорошо, хорошо—я постараюсь».

Вечеромъ собралось нѣсколько профессоровъ. Прежде всего мнѣ бросилась въ глаза та самая черта, которую я замѣтилъ недавно въ Федорѣ Федоровичѣ: все они вели себя здѣсь совершенно не такъ, какъ ведутъ себя въ семинаріи. Величія не было ни тѣни. Смѣхъ, шутки, пересыпанье изъ пустого въ порожнее—все это сильно меня изумляло. Отчего-жъ, думалъ я, эти люди на насть, учащихся, смотрять съ какой-то недоступной высоты? Отчего ни къ одному изъ нихъ я не смѣю подойти съ просьбою: будьте такъ добры, потрудитесь мнѣ вотъ это растолковать?.. Поневолѣ вспомнишь слова Яблочкина, который сказалъ мнѣ однажды, что молодости нужно дыханіе любви, что она не можетъ развиваться подъ холодомъ и грозою, или развивается медленно и уродливо, что она замираетъ отъ ледяного прикосновенія непрошенныхъ объятій.

Мнѣ приказано было разносить чай. Мое новое положеніе въ качествѣ прислуги немножко меня смущало. На подносы всѣ чашки приходили въ движение, когда я проходилъ съ нимъ по комнатѣ. Послѣ раздачи чашекъ я молчаливо остановился у притолки; порою, по приказанію кого-нибудь изъ гостей, набивалъ трубку, причемъ не одинъ разъ говорили мнѣ съ какою-то двумысленною улыбкою: «А ваша милость вкушаетъ отъ этого запрещенного плода?—Нѣть, отвѣчалъ я. И въ груди моей пробуждалось чувство непонятной досады. Разговоръ оживлялся все болѣе и болѣе. Громче всѣхъ говорилъ профессоръ словесности, человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, украшенный сѣдинами и лысиною.

«Что вы не женитесь, Федоръ Федоровичъ, а? Ну, что вы не женитесь?» (У него, видите ли, дочь-невѣста, такъ нельзя же о ней не позаботиться: родительское сердце!).

Федоръ Федоровичъ пріятно улыбался. «Найдите хорошее мѣсто, порядочный приходъ, словомъ: вѣрное обезпеченіе въ будущемъ,— вотъ и женюсь».

«Отчего-жъ бы вамъ не остаться въ свѣтскихъ?»

— Это опять зависить отъ простой причины: найду выгоднымъ — и свѣтскимъ останусь, мнѣ все равно.

«И семинарію, пожалуй, покинете?»

— Почему не такъ. Завиднаго тутъ немногого. Чѣмъ успѣли выиграть, преподавая 18 лѣтъ свою риторику?

«Ничего съ. Былъ сынъ дьякона, теперь надворный совѣтникъ, — это, я вамъ скажу, не маковое зернышко. Потянемъ еще лямку, — пансіонъ дадутъ, вотъ и выигрышъ. Ну-съ, а это бездѣлица! Вѣдь, здѣсь сто глазъ на васъ смотрить, сто ушей васъ слушаетъ. Вы имѣете вліяніе на молодые умы, даете имъ направленіе... вотъ вамъ еще выигрышъ. Да что вы думаете о семинаріи, а? Позвольте васъ спросить? Развѣ не изъ семинаріи выходятъ люди съ крѣпкою грудью, обѣ которую разбиваются всѣ житейскія невзгоды? Развѣ не семинарія вырабатываетъ эти желѣзныя натуры, которая терпѣливо выносятъ всякий долголѣтній, усидчивый трудъ? Развѣ не въ семинаріи слагаются характеры, которые впослѣдствіи дѣлаются предметомъ удивленія на всѣхъ поприщахъ общественной и государственной жизни? Кто былъ митрополитъ Платонъ, украшеніе трехъ царствованій? А митрополитъ Евгений? А графъ Сперанскій — этотъ великий, государственный мужъ, это свѣтило умственного міра? То-то и есть! Вотъ вы и замолчали... Правду ли я говорю, Иванъ Ермолаичъ?»

Иванъ Ермолаичъ сидѣлъ за столомъ въ числѣ 4-хъ своихъ товарищѣй по службѣ, игравшихъ по  $\frac{1}{4}$  коп. въ карты. Онъ выкуривалъ трубку за трубкою и запивалъ табачный дымъ крѣпкимъ пуншемъ. Лицо его носило на себѣ отпечатокъ какой-то внутренней боли, глаза смотрѣли задумчиво и тоскливо. Этому человѣку у насъ не очень посчастливилось. Вступивъ прямо изъ академіи въ должность профессора, онъ хотѣлъ было ввести въ своеі классъ новый методъ преподаванія, совѣтовалъ ученикамъ знакомиться съ русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на видъ, что онъ читаетъ не въ свѣтскомъ учебномъ заведеніи, и приказало ему впередъ не умничать. Иванъ Ермолаичъ покорился не вдругъ. Ему снова сдѣлали

замѣчаніе. Онъ рѣшился оставить семинарію и занять мѣсто гражданскаго чиновника; къ сожалѣнію, мѣста не нашлось, и бѣдняга притихъ, сталъ запивать и заниматься дѣломъ, спустя рукава. Но бываютъ часы, когда онъ пробуждается отъ сна. И льется свободно его одушевленное, увлекательное слово; въ классѣ наступаетъ такая тишина, что ухо слышитъ жужжанье бьющейся о стекло мухи; но вдругъ онъ приложитъ руку ко лбу, будто припоминаетъ что-то забытое, вздохнетъ и замолчитъ, какъ порванная струна.

«Такъ, такъ! Вы говорите правду», отвѣчалъ Иванъ Ермолаичъ: «въ особенности меня утѣшаютъ ваши слова: мы даемъ направление молодымъ умамъ, чтò нисколько не мѣшаетъ мнѣ спрягать глаголь сплю: я сплю, ты спиши...»

— «Ну, ужъ это извините! При нашемъ отцѣ-ректорѣ не заснешь», замѣтилъ сидѣвшій противъ него гость. «Онъ еженедѣльно посѣщаетъ всѣ классы; примѣрный, можно сказать, начальникъ: на волосъ не позволить отступить отъ положенного имъ однажды на всегда правила. Вчера сижу я спокойно за своимъ столикомъ, глядь — онъ идетъ. Я вскочилъ, застегнулъ второпяхъ на всѣ пуговицы фракъ и подошелъ въ нему подъ благословеніе. «Продолжайте, сказалъ онъ, продолжайте...» — Не угодно ли вамъ кого-нибудь спросить? говорю я. — «Ну, что-жъ, пожалуй. Ну, ты... читай!» Онъ указалъ на одного ученика. Ученикъ-то попался бойкій, какъ бишь онъ прозывается?.. Яблочкинъ. Всталъ онъ и началъ объяснять лекцію своими словами, и ничего, такъ знаете, свободно. Объяснилъ и стоитъ — улыбается. «Кончили?» спросилъ его отецъ-ректоръ. — Кончили. — «Ну что-жъ, вотъ и дуракъ... И забудешь все черезъ полгода». Яблочкинъ побѣднѣлъ, я тоже немножко потерялся. Отецъ-ректоръ обратился ко мнѣ. У васъ въ классѣ 80 человѣкъ. Этакъ нельзя, нельзя! Если каждый изъ нихъ будетъ сочинять отвѣты изъ своей головы, вавилонское столпотвореніе выйдетъ, непремѣнно выйдетъ». Я хотѣлъ оправдываться. «Нѣтъ, говорить, этакъ нельзя. Пусть основательно знаютъ то, что для нихъ напечатано или написано; въ ихъ возрастѣ и этого достаточно, очень

достаточно...» Повернулся, — и ушелъ. Я и остался, какъ оплеванный, и съ досады такъ пробралъ Яблочкина, что у него брызнули слезы. (Бѣдный Яблочкинъ! подумалъ я: чего ему стоили эти слезы!) Вотъ вамъ и сонъ. Нѣть, у насъ, кого хочешь, разбудятъ».

«Такъ, такъ, отвѣчалъ Иванъ Ермолаичъ: вамъ бы слѣдовало наказать этого вольнодумца Яблочкина. Ёшь, моль, вареное, слушай говореное».

— Знаемъ мы эти остроты! знаемъ!... Вотъ вы хотѣли сдѣлать по-своему, а чтѣ?... сдѣлали!...

«Обо мнѣ нечего говорить. Все молодость: увлекся — и образумился и пою теперь: «*Приидите и поклонимся*».

— «Эхъ, ну, вѣсть!» раздалось нѣсколько голосовъ: «изъ-за чего вы бились? Чего вы хотѣли?»

Иванъ Ермолаичъ молчалъ и, облокотясь одною рукою объ столъ, задумчиво смотрѣлъ на свои карты. Болѣзненное выраженіе его лица ясно говорило, что думаетъ онъ вовсе о другомъ.

Сидѣвшій въ углу экономъ не принималъ почти никакого участія въ разговорѣ и вообще держался въ тѣни. Онъ у насъ ничего не читаетъ, и, слѣдовательно, не имѣтъ никакого значенія, но личность его такъ оригинальна, что пріобрѣла себѣ популярность во всей семинаріи. Онъ положительно убѣжденъ, что всѣ мы такъ уже созданы, что не можемъ чего-нибудь не украсть у своего ближняго, не можемъ не надуть его такъ или иначе, а потому и говорить онъ объ этомъ — съ дровосѣкомъ, съ водовозомъ, съ поставщикомъ коноплянаго масла, словомъ, съ людьми всѣхъ сословій, лишь бы пришлось ему вступить съ ними въ какія-либо сношенія по его экономической части. Голова его постоянно занята работой: кому и какъ сподручно украсть. Благодаря этой работе, онъ сдѣлался рѣдкимъ учителемъ воровства. Увидѣть, что водовозъ есть на дворѣ калачъ, — поди, говорить, сюда. Тотъ подойдетъ. «Ну, что, калачъ ѿшь? — Калачъ. — А гдѣ взялъ?» — Купилъ. — «Побожись». Тотъ побожится. «Не вѣрю, братъ, — укралъ». — Да какъ же я его укралъ? — «Извѣстно, какъ воруютъ. За водою рано ёздить?» — На разсвѣтѣ. — «Ну, вотъ, такъ и есть. Вотъ, значитъ, ты про-

далъ кому-нибудь бочки двѣ воды, а потомъ ужъ привезъ ее и сюда. Вотъ и ъшь теперь калачъ... А дровъ не воровалъ? — Какя тамъ черти дрова! скажетъ разсерженный водовозъ. У воротъ то день и ночь стоять сторожъ; какъ же я ихъ украду? — «Да, да! Ты не придумаешь, какъ украсть!... Накладешь въ бочку полѣньевъ и поѣдешь со двора, и обмѣняешь ихъ на калачи, или на что другое. Вотъ и вся хитрость. Ужъ я тебя знаю!» Водовозъ почешетъ у себя затылокъ и пойдетъ прочь: ну, моль, ядно! И послѣ въ самомъ дѣлѣ тѣсть краденые калачи. Подобная исторія повторяется и съ другими.

«Господа! Кто получаетъ вѣдомости? Нѣтъ ли чего новаго? спросилъ кто-то изъ гостей. Съ минуты продолжалось молчаніе.

— Я просмотрѣлъ у отца-ректора одинъ нумеръ, — отвѣчалъ, экономъ: ничего нѣтъ особеннаго. Пишутъ, что умеръ стихотворецъ Лермонтовъ. — «А, умеръ? ну, царство ему небесное. мнѣ помнится, я гдѣ-то читалъ стихи Лермонтова, а гдѣ,—не припомню».

Между тѣмъ началось приготовленіе къ закускѣ. На столѣ появились бутылки. Кухарка хлопотала въ другой комнатѣ: разрѣзыала холодный говяжій языкъ, холоднаго поросенка, жаренаго гуся и прочее. Въ это время Иванъ Ермолаичъ, никѣмъ незамѣченный, вышелъ въ переднюю и сталъ отыскивать свои калоши. Я подалъ ему его шинель. «Вы семинаристъ?» спросилъ онъ меня. — Да, семинаристъ.—«А къ лакейской должности не чувствуете особеннаго призванія? — Нѣтъ, отвѣчалъ я съ улыбкою. — Ну, слава Богу. Что жъ вы третесь въ передней? Шли бы лучше въ свою комнату и на досугъ читали бы тамъ порядочную книгу... до свиданія». Онъ надвинулъ на глаза свой картузъ и ушелъ. Я не оставался безъ дѣла: помогалъ кухаркѣ перетирать тарелки, сбѣгалъ однажды за квасомъ, котораго оказалось мало и за которымъ кухарка отказалась идти въ погребъ, сказавъ, что по ночамъ она ходить всюду боится и не привыкла, и ломать своей шеи по скверной лѣстницѣ не наѣренна. Потомъ опять взялся перетирать тарелки и, по неумѣнію съ ними обходиться, одну разбилъ. Кухарка назвала меня разинею, а Федоръ Федоровичъ крикнулъ «нельзя-ли поосторожнѣе?» Наконецъ, каждому гостю поочередно я разыскалъ и подалъ калоши, накинулъ

на плечи верхнее платье и, усталый, вошелъ въ свою комнату. Сальная свѣча нагорѣла шапкою и едва освѣщала ея непривѣтныя стѣны. Федоръ Федоровичъ заглянулъ ко мнѣ въ дверь. «Вотъ, видишь, мы тамъ сидѣли, а тутъ цѣлая свѣча сгорѣла даромъ. Ты, пожалуйста, за этимъ смотри»...

Эхъ-ма! *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*

Именно: *omnia vanitas!* На квартирѣ не весело, въ классѣ скучно, скучно не потому, что я невнимателенъ къ своему дѣлу, а потому, что товарищи мои слишкомъ со мною необщительны, слишкомъ холодны. Вотъ, ей-Богу, чудаки? Неужели они думаютъ, что я въ самомъ дѣлѣ рѣшусь пересказывать Федору Федоровичу все, что я вокругъ себя вижу и слышу? Но тогда я презиралъ бы самого себя болѣе, нежели кто-нибудь другой. Желалъ бы я, однако, знать, въ чемъ заключается наблюдение Федора Федоровича за моими занятіями и что разумѣеть онъ подъ словами: слѣдить за ходомъ моихъ успѣховъ? Ужъ не то ли, что иногда отворить мою дверь и спросить: «чѣмъ занимаешься?» Вотъ тѣмъ-то, отвѣчу я. «Ну, и прекрасно. Пожалуйста, не болтайся безъ дѣла». И начнетъ разгуливать по своей комнатѣ, поигрывая махрами шелковаго пояса и напѣвая вполнѣ голоса свой любимый романъ:

«Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ,  
Ты мнѣ миль навсегда».

Или присядеть на корточки средь пола и тѣшится съ сѣрымъ котенкомъ. «Кисинька, кисинька!... Эхъ-ты!...» И подниметъ его за уши. Котенокъ замяучить. «Не любишь, шельма, а? не любишь?» Положить его къ себѣ на колѣни или прижметь къ груди и ласково поглаживаетъ ему спину и дасть ему разныя нѣжныя названія. Котенокъ мурлычетъ, жмурить глаза и вдругъ запускаетъ въ ласкающія его руки свои острые когти. «А чтобы тебя чортъ побралъ!» прикнеть Федоръ Федоровичъ и такъ хватить обѣ поль своего любимица, что бѣдное животное ошалѣеть, проберется въ какой-нибудь уголъ и, растянувшись на полу, долго испускаетъ жалобное мяу! мяу!

Я замѣтилъ, что Федоръ Федоровичъ бываетъ въ наилучшемъ расположениіи духа въ праздничные дни, послѣ сытнаго обѣда, который оканчивается у него объемистой мискою молочной каши, немедленно запиваемой кружкой густого, краснаго квасу. Въ прошлое воскресенье, едва кухарка успѣла убрать со стола посуду и поднести комнату, Федоръ Федоровичъ легъ на диванъ, подложилъ себѣ подъ ложь пуховую подушку, приказалъ мнѣ подать огня для папиросы и крикнулъ: «Гришка! — Ась! отвѣчай Григорій изъ передней.—«А ну-ка, поди сюда». Мальчуганъ вошелъ и остановился у притолки. Посмотрѣлъ я на него, — смѣхъ да и только: волосы всклочены, лицо неумыто, рубашка въ сальныхъ пятнахъ, концы старыхъ сапогъ, подаренныхъ ему Федоромъ Федоровичемъ, загнулись на его маленькихъ ногахъ въ родѣ бараньихъ роговъ. Но молодецъ онъ, право: какъ ни дерутъ его за вихоръ, всегда весель! «Ну, что-жъ, ты былъ сегодня у обѣдни!» спрашиваетъ его Федоръ Федоровичъ.—А то будто нѣть. — «И Богу молися?», Григорій почесался о притолку и ухмыльнулся.—Какъ же не молиться, на то церковь.—«Ну, гдѣ-жъ ты стоялъ?» Григорій смеется. «Чему ты смеешься, *stultus?*» Звукъ незнакомаго слова такъ удивилъ мальчугана, что онъ фыркнулъ и убѣжалъ въ переднюю. «Ты не бѣгай, рыжая обезьяна! Пощель, сними съ меня сапоги!» Григорій повиновался. Между тѣмъ Федоръ Федоровичъ лѣниво зѣвалъ и осѣнялъ крестомъ свои уста. «Ну, рыжий! хочешь взять пятакъ!»—Хочу, отвѣчай рыжий и протянулъ за пятакомъ руку. «Э, ты думаешь — даромъ? Представь, какъ продаютъ черепешники, тогда и дамъ». Мальчуганъ остановился средь комнаты, прищурилъ глаза и, медленно размахивая правою рукою, затянулъ тонкимъ голосомъ:

«Эхъ, лей, кубышка,  
Поливай, кубышка,  
Не жалѣй, кубышка,  
Хозяйскаго добришка,  
За хозяйской головою  
Поливаемъ, какъ водою».

Кто мои черепенники береть,  
Тотъ здравъ живеть.  
Подходи!..

При послѣднемъ словѣ онъ бойко повернулся на каблукъ и топнулъ ногою объ полъ. Вслѣдъ затѣмъ я получилъ приказаніе остановить маятникъ часовъ, и Федоръ Федоуовичъ погрузился въ безмятежный сонъ.

октябрь 6.

Заходилъ я, ради скучки къ Яблочкину и засталъ его, какъ и всегда, за книгою. Онъ сидѣлъ передъ окномъ, подперевъ руками свою голову, и такъ былъ углубленъ въ свое занятіе, что не слыхать, какъ я вошелъ. «Ты, братъ, все за книгами», сказаъ я, положивъ руку на его плечо. Онъ вздрогнулъ и быстро поднялся со стула. — Тыфу! какъ ты меня испугалъ! Отчего ты такъ рѣдко у меня бываешь? Или боишься своего наставника? — «Что за вздоръ!» отвѣчалъ я: «нашлось свободное время, вотъ я и пришелъ. Нѣть ли чего почитать?» — Я тебѣ сказалъ: только бери, книги найдутся. — Яблочкинъ вздохнулъ и прилегъ на кровать. «Грудь, душа моя, болитъ, сказаъ онъ, смотря на меня задумчиво и грустно: вотъ что скверно! Ахъ, если бы у меня было твое здоровье, чего бы я не едѣлъ! чего бы я не перечиталъ! Лѣтній ты, Вася! — «Нѣть, Яблочкинъ, ты меня не знаешь», отвѣчалъ я нѣсколько горячо: «я такъ зу碌ю уроки, что другой на моемъ мѣстѣ давно бы слегъ отъ этого въ могилу, или сдѣлался идиотомъ». Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ. — Откуда же въ тебѣ эта любовь къ мертвай буквѣ? — «Тутъ нѣть никакой любви. Я смотрю на свои занятія, какъ на обязанность, какъ на долгъ. Я знаю, что этотъ трудъ со временемъ дастъ мнѣ возможность принести пользу тѣмъ, въ средѣ которыхъ я буду поставленъ. Знаешь ли, другъ мой, продолжалъ я, воодушевляясь: санъ священника — великое дѣло. Эта мысль приходила мнѣ въ голову въ безсонныя ночи, когда, спрятавъ учебныя книги, усталый, я бросался на свою жесткую постель. Вотъ, думалъ я, наконецъ, послѣ долгаго труда я удостоиваюсь сана священно-служителя. Падаетъ ли какой-нибудь бѣднякъ, убитый нуждою, я поддерживаю

его силы словомъ Евангельской истины. Унываетъ ли несчастный, безчестно оскорблений и задавленный,—я указываю ему на бесконечное терпѣніе Божественнаго Страдальца, Который, прибитый гвоздями на крестѣ, прощалъ своимъ врагамъ. Вырываетъ ли ранняя смерть любимаго человѣка изъ объятій друга,—я говорю послѣднему, что есть другая жизнь, что другъ его теперь болѣе счастливъ, покинувъ землю, гдѣ царствуетъ зло и льются слезы... И, послѣ этого, быть можетъ, я пріобрѣтаю любовь и уваженіе окружающихъ меня мужиковъ. Устроиваю въ своеемъ домѣ школу для дѣтей ихъ обоего пола, учу ихъ грамотѣ; читаю и объясняю имъ Святое Евангеліе, Эти дѣти становятся взрослыми людьми, разумными отцами и добрыми матерями... И я, покрытый сѣдинами, съ чистою совѣстью ложусь на кладбищѣ, куда, какъ духовный отецъ, проводилъ уже не одного человѣка, напутствуя каждого изъ нихъ живымъ словомъ утѣшения»...

Яблочкинъ пожалъ мнѣ руку. «У тебя прекрасное сердце! Но, Вася, нужно имѣть желѣзную волю; мало этого, нужно имѣть свѣтлую, многосторонне развитую голову, чтобы устоять одионого на той высотѣ, на которую ты думаешь себя поставить, и гдѣ же? Въ глуши, въ какой-нибудь деревушкѣ, среди грязи, бѣдности и горя, въ совершенномъ разъединеніи со всяkimъ умственнымъ движениемъ. Вспомни, что тебѣ еще придется зарабатывать себѣ насущный кусокъ хлѣба своими руками»...

— На все воля Божія, отвѣчалъ я и молчаливо опустилъ свою голову.

« Отчего это жизнь идетъ не такъ, какъ бы хотѣлось? » сказали Яблочкинъ съ досадою и горечью.

Послѣ долгаго, взаимнаго молчанія, у насъ снова зашелъ разговоръ о семинарии.

« Я слышала, сказала я, что тебѣ досталось за объясненіе лекціи. Помнишь? ..

— Еще бы не помнить! — Яблочкинъ вскочилъ съ кровати. — Это не бѣда, это въ порядкѣ вещей, что я былъ оскорблѣнъ и уничтоженъ своимъ наставникомъ. Ему все простительно. Его уже поздно передѣ-

лыбалъ, Но эта улыбка, которую я замѣтилъ на лицахъ моихъ то-варищей въ то время, когда у меня брызнули неумѣстныя, проклятыя слезы,— эта глупая улыбка довела меня до послѣдней степени стыда и негодованія. Дѣло не въ томъ, что здѣсь пострадало мое самолюбіе, а въ томъ, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть воспріимчивою и впечатлительною, успѣла уже теперь, въ стѣнахъ учебнаго заведенія, сдѣлаться тупою и безчувственною. Вотъ что мнѣ больно! Что же выйдеть изъ нея послѣ, въ жизни?— «Охота тебѣ волноваться», сказаль я: «а говоришь, что грудь у тебя болитъ.. Какъ, Вася, не волноваться? Я опять попадъ было недавно въ бѣду: на дняхъ, въ присутствіи нѣсколькихъ человѣкъ, я имѣлъ неосторожность высказать свое мнѣніе на счетъ одной, извѣстной тебѣ іезуитской личности, поставившей себѣ главною задачею въ жизни пресмыкаться предъ всѣмъ, чтѣ имѣть нѣкоторую силу и нѣкоторый голосъ, и давить все безсильное и безотвѣтное..— «Инспектора?» прервалъ я его въ испугѣ.— Ну, да! Черезъ два часа слова мои были ему переданы, и онъ позвалъ меня къ себѣ...— «Ты говорилъ вотъ то и то?» спросилъ онъ меня. Представь себѣ мое положеніе: отвѣтить да, — значило обречь себя на погибель,— я подумалъ, подумалъ и сказалъ рѣшительно: *нетъ!* «А если, продолжалъ онъ, я призову двухъ сторожей и заставлю тебя сказать правду подъ розгами?» Я молчалъ. Сторожа явились. «Признавайся», говорилъ онъ, «прошу... Замѣть; какая невинная ки-трость: простить!... «Не въ чемъ!» отвѣчалъ я, смотря ему прямо въ глаза и давъ себѣ слово скрѣе умереть на мѣстѣ, чѣмъ лечь подъ розги. «Позовите тѣхъ, при комъ я говорилъ. Я чувствовалъ въ себѣ какую-то неестественную силу. Глаза мои, навѣрное, мѣтали искры. Инспекторъ отвернулся и крикнулъ: «вытолкните его, мерзавца, вонъ и отведите въ карцерь»... И я просидѣлъ до вечера въ карцерь бѣзъ хлѣба, вѣзъ воды, едва дыша отъ нестерпимой вони... ну, ты знаешь нашъ карцерь». Яблочкинъ снова прилегъ на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лицо горѣло. Я понялъ, что мнѣ неловко было упрекать его за неосторожныя слова. Мало ли что мы болтаемъ! и кто, спрашивается, отъ этого терпитъ?

Ровно никто. Жаль, что онъ такъ впечатлителенъ; еще больше жаль, что у него такое слабое здоровье.

6

Вотъ и рѣшай, кто тутъ правъ и кто виноватъ, и суди, какъ знаешь. Яблочкинъ сказалъ необдуманное слово и чуть не погибъ, а другіе доходятъ до безобразія, и все остается шито и крыто. Попшелъ я сегодня, послѣ вечерни, пошататься по городу; иду по одной улицѣ, вдругъ слышу—стучать въ окно: «Зайди на минуту; дѣло есть», раздался голосъ знакомаго мнѣ философа Мельхиседекова, который учится вмѣстѣ со мною и принадлежитъ къ самымъ лучшимъ ученикамъ по своему поведенію и прилежанію. Я зашелъ. Гляжу—кутежъ! Мельхиседековъ стоитъ среди комнаты, молодцовато подпервшись руками въ бока. Троє его товарищѣ безъ галстуковъ, въ толстыхъ холстинныхъ рубашкахъ и въ наковальныхъ панталонахъ, сидятъ за столомъ. На столѣ—полштофъ водки, рюмка, груши въ тарелкѣ и какая-то старая, въ кожаномъ переплетѣ, книжка. Четвертый, уже упитанный, спить на лежаниѣ, лицомъ къ печкѣ. Подъ головою его, вмѣсто подушки, лежать творенія Лактанція и латинскій лексиконъ Кронеберга. «Пей!» сказалъ мнѣ Мельхиседековъ, прежде нежели я успѣлъ осмотрѣться, куда попалъ. «Что у тебя за радость?» спросилъ я.—Деньги отъ отца получилъ и кстати именинникъ. Посмотри въ святцы и увидишь мученика Протасія.—«Я не пью».—Стало быть ты ханжа а не товарищъ. Ну, ступай—донеси, кому слѣдуетъ о всемъ, что здѣсь видѣлъ... Тагь поступаютъ подлецы, а не добрые товарищи. Знаемъ мы, у кого ты живешь!... Извини, братъ, что я тебя позвалъ. Я думалъ о тебѣ лучше... У меня мелькнула мысль, что отказъ мой непремѣнно дастъ поводъ заподозрить меня въ наушничествѣ и поведеть къ глупымъ росказнямъ; я послушался и выпилъ. Мельхиседековъ меня поцѣловалъ. «Вотъ спасибо! Теперь садить въ рядъ и будемъ говорить въ ладъ».—«Такъ-то такъ, сказалъ я: а если, сохрани Боже, забѣдетъ сюда субъ-инспекторъ»... Мельхиседековъ засмѣялся и свистнулъ. «Видали мы эти виды!»—«Видали, братъ, видали!» подхватили со смѣхомъ ученики, сидѣвшіе за столомъ: [«пусть явится. Въ секунду

все будетъ въ порядкѣ: возьмемся за тетрадки, за книги и встрѣтимъ его особу глубокими поклонами. Къ этой комедіи намъ не привыкать».

«Слышишь, Мельхиседековъ», сказалъ рябой ученикъ, вѣрошивая на головѣ рыжіе волосы: «я, братъ, еще выпью. Нельзя не выпить. Послушай, что вотъ напечатано въ поэмѣ: *Елисей*.

— Ступай ты съ мею къ черту! Ты 20 разъ принимался ее читать, отвѣчалъ Мельхиседековъ: и надоѣль, какъ горькая рѣдька.

«Нѣть, не могу. Сердись, какъ угодно, а я прочту: мы обязаны читать все поучительное»... И онъ уткнулся носомъ въ книгу.

«Когда печальный мужъ чарченку выпиваетъ,  
Съ чарченкой всю свою печаль позабываетъ.  
И воинъ, водочку имѣющи съ собой,  
Хлебнувши чарочку, смѣлѣе идетъ въ бой.  
Но чѣмъ я говорю о малостяхъ такихъ?  
Спросите вы о томъ духовныхъ и мірскихъ,  
Спросите у дьяковъ, спросите у поддьячихъ,  
Спросите у слѣпыхъ, спросите вы у зрачихъ,  
Я думаю, что вамъ отвѣтствуютъ одно:  
Что лучшій въ свѣтѣ даръ для смертныхъ есть вино.

«Вотъ что, братъ! Слышишь!»

— Такъ, сказалъ Мельхиседековъ: а если дадутъ тебѣ тему: пьянство пагубно, я думаю, ты не станешь тогда приводить цитаты изъ поэмъ: *Елисей*.

«Бѣто, я-то? *homo sum ergo...* напишу такъ, что иная благочестивая душа прольетъ слезы умиленія. Приступь: взглянуть на пороки вообще, на пьянство въ частности. Дѣленіе: 1-е) пьянство низводить человѣка на степень безсловесныхъ животныхъ; 2-е) пьяница есть мучитель и стыдъ своей семьи; 3-е) вредный членъ общества, и, наконецъ, 4-е) пьяница есть самоубийство... Что, братъ, ты думаешь, мы сробѣемъ?»

— Молодецъ! а чѣмъ ты напишешь на тему, которая дана намъ теперь: *можно ли что-нибудь представить въ формѣ про-*

*странства и времени, какъ, напримѣр — ничто или вселъсущество? Ну-ка, скажи!*

«Вдругъ не напишу, а подумавши, можно. Я, братъ, что хочешь напишу, ей-Богу, напишу! вотъ ты и знай!» И рѣжій маинулъ рукою и плюнулъ.

Остальные два ученика не обращали ни малѣшаго вниманія на этотъ разговоръ и продолжали горячій споръ:

«Ты погоди! Ты не тутъ придаешь силу своему голосу... Да! Слушай!

«Грянулъ внезапно  
Громъ надъ Москвою»...

Вотъ ты и сосредоточивай всю силу голоса на словѣ: *грянулъ*, а у тебя выходитъ громче слово: *внезапно*,—значить, ты не понимаешь дѣла. Далѣе:

Выступилъ съ шумомъ  
Донъ изъ береговъ...  
Ай донцы!  
Молодцы!

Послѣднія два слова такъ пой, чтобы окна дрожали. У тебя все это не такъ».

— И не нужно. Я больше не буду пѣть. Все это глупости. Ты, братъ, смотри на пѣсню съ нравственной точки зрѣнія. Но такъ какъ тебѣ эта точка недоступна, слѣдовательно, ты поешь чепуху и празднословиши.

«Я тебѣ говорю: пой!»

— Не буду я пѣть!

«Ну, твоя воля! Стало быть, ты глупъ»...

«Эй, чижикъ!» крикнулъ Мельхиседековъ. Изъ темнаго угла вышелъ блѣдный, остиженный подъ гребенку мальчуганъ и несмѣло остановился среди комнаты. На плечахъ его былъ полосатый, засаленный халатишко. Руки носили на себѣ признаки, известной между нами, болѣзни, появляющейся вслѣдствіе неопрятности и нечистоплотности. Это были ученикъ духовнаго училища. «Вотъ тебѣ посуда; вотъ тебѣ четвертакъ; ступай туда... знаешь... и возьми ко-

сушку». Мальчуганъ повернулся и пошелъ. «Стой, стой!» — сказалъ Мельхиседековъ: «знаешь свой урокъ?» — Знаю. — «Посмотримъ. Какъ сыскать общий дѣлитель!» Мальчуганъ поднялъ къ потолку свои глазенки и началъ однозначно читать: «Должно раздѣлить знаменателя данной дроби на числителя, когда не будетъ остатка, то сей дѣлитель будетъ общий дѣлитель...» — «Довольно... Ты скажи, чтобы не обмѣривали: меня, моль, приказный послалъ.. Этотъ чижикъ отданъ мнѣ подъ надзоръ, вотъ я его и пробираю», — сказалъ мнѣ Мельхиседековъ. Едва за мальчуганомъ затворилась дверь, въ комнату вошла хозяйка дома, дородная, краснощекая женщина, и закричала, размахивая руками: «перестаньте, бесстыдники, горло дратъ! Чѣо вы покою не даете добрымъ людямъ!» — «Не сердитесь, почтеннѣйшая женщина!» отвѣчалъ Мельхиседековъ: «вамъ это вредно при вашемъ полнокровіи...» — Гуляемъ, Акулина Ивановна! Гуляемъ! сказалъ рыжий, и положилъ на столъ свои ноги. «Вотъ изволите ли видѣть? Свобода царствуетъ!..» — «Ну, ты-то что еще безобразничашь? Ахъ, ты, молокосось, молокосось! Погоди, — дай только твоему отцу сюда прїѣхать, ужъ я тебя распишу!...» Я воспользовался тѣмъ, что вниманіе всѣхъ обратилось на хозяйку, и незамѣтно ускользнулъ за дверь. Экіе кутилы!

Декабря 10

Давно я не брался за перо. И слава Богу! Небольшая потеря... Итакъ, слова Яблочкина, что у насъ найдутся средства познакомиться со всѣми произведеніями нашихъ лучшихъ писателей, сбылись вполнѣ. Въ продолженіе двухъ съ половиной мѣсяцевъ я перечиталъ столько книгъ, что мнѣ самому кажется теперь непонятнымъ, какимъ образомъ достало у меня на этотъ трудъ и силы, и времени. Я читалъ въ классѣ украдкою отъ наставниковъ. Читалъ въ моей комнатѣ украдкою отъ Федора Федоровича, который удивлялся, зачѣмъ я пожигаю такую пропасть свѣчъ, но свѣчи, тоже украдкою, я сталъ покупать на свои деньги, и покамѣстъ все обстоитъ благополучно... Ну, мой милый, безцѣнныи Яблочкинъ! Какъ бы ни легли далеко другъ отъ друга наши дороги, куда бы ни забросила насть судьба, я никогда не забуду, что ты первый пробудилъ мой спавшій умъ, вывелъ меня на

Божій свѣтъ, на чистый воздухъ, познакомилъ меня съ новымъ прекраснымъ, доселъ мнѣ чуждымъ, міромъ... Какая теплая, какая чудная душа у этого человѣка! Мало того, что онъ даваль мнѣ вѣсъ лучшія книги, онъ дѣлился со мною многими рукописями, которыхъ доставалъ съ величайшимъ трудомъ у своихъ знакомыхъ. И освѣтились передо мною разные темные закоулки нашего грѣшнаго міра, и развѣнчались и пали нѣкоторыя личности, и загорѣлись передо мною самоцвѣтными камнями доселъ мнѣ невѣдомыя сокровища нашей народной поэзіи. Вотъ, напримѣръ, начало одной пѣсни. Не знаю была ли она напечатана:

«Ахъ, ты, степь моя, степь широкая,  
Поросла ты степь, ковылемъ-травой,  
По тебѣ ли, степь, вихри мечутся,  
У тебя ль орды на пескахъ живутъ,  
А вокругъ тебя, степь родимая,  
Синей ставкою небеса стоять!  
Ахъ, ты, степь моя, степь широкая,  
На тебѣ ли, степь, два бугра стоять,  
Безъ крестовъ стоять, безъ примѣтушки,  
Лишь небесный громъ въ бугры стукаеть»!

Да, вотъ это пѣсня! Она не походить на ту, которую распѣваетъ такъ часто Федоръ Федоровичъ:

«Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ,  
Ты мнѣ мплъ навсегда».

Въ моихъ понятіяхъ, въ моихъ взглядахъ на вещи, совершается теперь переворотъ. Давно ли я смотрѣлъ на грязную сцену кутежа моихъ товарищъ спокойными глазами? Въ эту минуту она кажется мнѣ отвратительною. Воспоминаніе о робкомъ мальчикѣ, которого посыпали за водкою, возмущаетъ мою душу и поселяетъ во мнѣ отвращеніе къ жизни, среди которой могутъ возникать подобныя явленія. И все съ большею и большею недовѣрчивостью осматриваюсь

я кругомъ, все глубже и глубже замыкаюсь въ самомъ себѣ. Съ этого времени я понимаю постоянное раздраженіе Яблочкина противъ дикаго мелочного педантизма, противъ всякой сухой схоластики и безжизненной морали, противъ всего коснѣющаго и мертваго. Не скажу, чтобы я сдѣлался лѣнивымъ оттого, что пристрастился къ чтенію. Уроки выучиваются мною попрежнему. Но все это дѣлается ех обісіо, а ужъ никакъ сон ашоге. Ни одно слово изъ безчисленнаго множества оставшихся въ моей памяти словъ не проникаетъ въ мою душу, ни одно слово не вѣеть на меня освѣжительнымъ дыханіемъ жизни близкой моему уму или сердицу...

Однако, волею-неволею, мнѣ опять нужно положить перо и взяться за урокъ. А Федоръ Федоровичъ спитъ безпробудно... Тяжело мнѣ мое одиночество въ чужомъ домѣ. Не съ кѣмъ мнѣ обмѣняться ни словомъ, ни взглядомъ. Молчаливо смотрѣть на меня невзрачныя стѣны. Тускло горитъ сальная свѣча. На дворѣ завываетъ вьюга. Бѣлые хлопья снѣгу, пролетая мимо окна, загораются огненными искрами и пропадаютъ въ непроницаемомъ мракѣ. Тяжело мнѣ подъ этю чужою кровлею.

## 14.

Вотъ и экзамены наступили. Нашъ классъ принялъ на нѣкоторое время какъ-бы праздничный видъ. По полу прошла метла, по столамъ тряпка. Печь истопили съ вечера, и дровъ, разумѣется, не пожалѣли. Впрочемъ истопить ее въ годъ два-три раза—расходъ не великъ. Для отца-ректора стояло заранѣе приготовленное цокайное кресло. Для профессоровъ были принесены стулья. Казалось, все придумали хорошо, а вышло дурно: промерзшія стѣны отошли, и воздухъ сдѣлался нестерпимо тяжелъ и непріятенъ. На это обратили вниманіе и позвали сторожа съ курилкою. Сторожъ покурилъ, — и воздухъ пропитался запахомъ сосновой смолы. Федоръ Федоровичъ, вѣроятно, чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко въ ожиданіи прихода своего начальника. Онъ торопливо ходилъ по классу, потирая руки и, время отъ времени, поправляя на себѣ черный фракъ, хотя, правду сказать, поправлять его было нечего: онъ былъ застегнутъ по формѣ, отъ первой до послѣдней пуговицы. Сидѣвшій у порога

на заднемъ столѣ ученикъ, съ лицомъ въ половину обращеннымъ къ двери, съ беспокойнымъ выражениемъ въ глазахъ, напрягалъ чуткій слухъ, стараясь уловить звуки знакомой ему поступи, чтобы отворить во время дверь, что удалось ему сдѣлать какъ нельзя лучше. «Гм..., гм... У вѣсъ тутъ что-то скверно пахнетъ...» сказацъ отецъ-ректоръ, опираясь на свою камышевую трость и оборачивая голову налево и направо. — Да-съ, есть немножко, почтительно отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ и, тоже вѣрно по сочувству, оборотилъ голову налево и направо и пододвинулъ къ столу спокойное кресло. Одежда отца-ректора была на лисьемъ мѣху, и на мѣху просторная обувь. Онъ отдалъ одному ученику свою трость, который поставилъ ее въ передній уголъ, и осторожно опустился въ кресло, придерживаясь обѣими руками за его выгнутые бока. «Удобно ли вамъ сидѣть! не прикажете ли поправить столъ?» сказацъ Федоръ Федоровичъ. — Нѣтъ, ничего. Ну, что-жъ, начнемъ теперь, начнемъ. — Въ эту минуту пришли еще два профессора и, послѣ обычныхъ поклоновъ, скромно заняли свои мѣста. Отецъ-ректоръ развернулъ списокъ учениковъ и положилъ на столъ билеты. Начались вызовы. Минѣ пришлось отвѣтить третьимъ, а именно: *о памяти*. Отличусь, думалъ, взглянувъ на билетъ, и действительно отличился: прочиталъ нескользко строкъ такъ бѣгло, что отецъ-ректоръ пришелъ въ изумленіе. «Погоди, погоди! Я ничего не разберу. Говори раздѣльнѣ». Я повиновался. «Ну, что-жъ, хорошо, весьма хорошо!.. Повтори о достоинствахъ памяти».

— Достоинства памяти рѣдко соединяются между собою въ одинаковой мѣрѣ, особенно легкость съ крѣпостью и вѣрностію, но постояннымъ упражненiemъ памяти они могутъ быть пріобрѣтаемы до извѣстной степени и часто доводимы до необыкновенного совершенства. Въ древнія и новыя времена встрѣчались примѣры...

«Чей ты сынъ?»

— Священника.

«Ну, что-жъ, учись, учись. Хорошо! Вотъ и выйдешь въ люди. Ступай!»

Я повернулся.

«Погоди! Зачемъ у тебя волоса такъ длинны? Щегольство на умѣ, а? Такъ, такъ! Остригись, непремѣнно остригись. Сколько тебѣ лѣтъ?»  
— 19 лѣтъ.

«Такъ, щегольство. Ну, смотри, учись».

Онъ обратился къ Федору Федоровичу и спросилъ его въ полголоса: «Каковъ онъ у вась?»

— Поведенія и прилежанія примѣрного. Способностей превосходныхъ, — послѣдовалъ отвѣтъ въ полголоса. Я боялся, что улыбнусь, и прикусилъ губы. Хвали, подумалъ я: понимаю, въ чемъ тутъ дѣло. Какъ-бы то ни было, сѣвъ на свое мѣсто, я порадовался, что отдался благополучно.

Въ числѣ другихъ вышелъ ученикъ второго разряда очень молодой, красивый и застѣнчивый, за что товарищи прозвали его «прелестною Машенькой». Онъ робко читалъ по билету, который ему выпалъ, и во время чтенія не поднималъ рѣсницъ. «Такъ, такъ», говорилъ отецъ-ректоръ: «продолжай!» И затѣмъ онъ обратился съ улыбкою къ профессорамъ: «Какой онъ хорошенький, а? не правда ли? Какъ тебя зовутъ?»

— Александромъ.

«Ну, вотъ, вотъ!.. И имя у тебя хорошее»...

Ученикъ краснѣлъ. Сидѣвшій подѣлъ него профессоръ предложилъ ему вопросъ. — «Нѣть, нѣть!» замѣтилъ отецъ-ректоръ: вы его не сбивайте. Пусть читаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какой онъ хорошенький! И экзаменаторъ взглянулъ на списокъ. — «Ты здѣсь невысоко стоишь, невысоко. Вотъ я тебѣ поставлю повыше... Ты будешь заниматься, а?»

— Буду.

«Ну и хорошо. Ступай!»

Ученики выходили по вызову другъ за другомъ. И вотъ одинъ, малый, впрочемъ неглупый (относительно), замялся и сталъ въ туникѣ.

«Ну, что-жъ. Вотъ и дуракъ! Повтори, что прочиталъ».

— Хотя творчество фантазіи, какъ свободное преобразованіе представлений, не стѣсняется необходимостію строго слѣдовать закону

истини, однакожъ, показуясь представлениями, взятыми изъ дѣйствительности, оно тѣмъ самы прымкаетъ уже къ міру дѣйствительному. Оно только расширяетъ дѣйствительность до правдоподобія и возможности....

«Что ты разумѣешь подъ словомъ: показуясь?»

— Слово: проявляясь.

«Ну, хорошо. Объясни, какъ это расширяется дѣйствительность до правдоподобія?»

Ученикъ молчалъ. «Ну, что-жъ молчишь!»

— Забыть.

Федоръ Федоровичъ двигалъ бровями, дѣлая ему какія-то ясопонятные знаки рукой. Ничто не помогло. Не утерпѣлъ онъ — и слова два шепнулъ.

«Нѣтъ, что-жъ, подсказывать не надо».

— Вы напрасно затрудняетесь, сказалъ ученику одинъ изъ профессоровъ? «Юрія Милославскаго» читали?

— Читалъ.

— «Что-жъ тамъ — дѣйствительность или правдоподобіе?»

— Дѣйствительность.

— Почему вы такъ думаете?

— Это историческій романъ.

«Нѣтъ, что жъ, дуракъ! Положительный дуракъ», сказалъ отецъ-ректоръ и махнулъ рукою.

Исторія въ этомъ родѣ повторялась со многими. Едва доходило дѣло до объясненій и примѣровъ, ученики становились въ тупикъ.

Къ концу экзамена отецъ-ректоръ, какъ видно, утомился. Сталъ смыкать свои глаза и пропускать нелѣпые отвѣты мимо ушей. Ученики не преминули этимъ воспользоваться, однако одинъ попалъ въ просакъ: заговоривъ объ органахъ чувствъ, онъ припелъ сюда и память, и творчество, и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вотъ, сколько мнѣ помнится, образчикъ на выдержку: «Органы чувствъ» суть: глаза, уши, носъ, языкъ и вся поверхность тѣла. Заучиваніе бываетъ механическое и разумное... однакожъ бываютъ случаи, фантазія можетъ создать крылатую лошадь, не только тогда, когда

мы уже имъемъ представлениe о лошади и крыльяхъ и сверхъ тог... и... напрасно строгие империки отвергаютъ въ насть дѣйствительность ума, какъ высшей познавательной способности...»

— Такъ, такъ, говорилъ отецъ-ректоръ, безсознательно кивая головою. Федоръ Федоровичъ не перебивалъ этой галиматы, что было очень понятно.

«Вы просто говорите безобразную чепуху», замѣтилъ сидѣвшій на лѣво профессоръ.

— А? что, что? Повтори! и отецъ-ректоръ широко раскрылъ глаза. Ученикъ сталь въ тупикъ.

— Ну, что-жъ, дуракъ! Вотъ я тебѣ и поставлю нуль. Пошелъ!..

Несмотря на эти маленькия непріятности, Федоръ Федоровичъ остался вообще нами доволенъ и, садясь со мною обѣдать, весело потеръ руки и сказалъ: «Ну, славу Богу! экзаменъ нашъ сошелъ превосходно... какъ ты думаешь?»

— Хорошо,—отвѣчалъ я съ улыбкою.

«Промахи, конечно, были, но... пододвинь ко мнѣ горчицу». Я пододвинулъ... «Гдѣ-жъ этого не бываетъ?»

«И въ самомъ солнцѣ пятна есть».

#### 17.

Экзамены продолжаются. Въ общихъ чертахъ они похожи одинъ на другой и только отличаются нѣкоторыми оттѣнками, смотря по тому, кто экзаменуетъ — отецъ-ректоръ или инспекторъ. Послѣдний не дремлетъ за своимъ столомъ, нѣть!... Лицо его выражаетъ какое-то злое удовольствіе, когда ему удается сбить кого-нибудь съ толку. И, Боже сохрани, если онъ не благоволить къ наставнику экзаменующихся! Тогда вся его злоба обращается на учениковъ, которыхъ онъ мѣшаетъ съ грязью, и въ то-же время язвить ихъ наставника разными ядовитыми намеками и двумысленною учтивостію. Къ счастію, онъ не экзаменуетъ по главнымъ предметамъ, но по исторіи, языкамъ и т. д.

«Переводи!» говоритъ онъ ученику, который стоитъ передъ нимъ съ потупленною головою и съ Лактанціемъ въ рукахъ. «Переводи!

что-жъ ты молчишь, какъ стѣна?...» И впиваются въ него своими сѣрыми, сверкающими глазами.

— Душа, буду... будучи обуреваема страстями и... и...

«Далѣе!»

— Страстями... и...

«Что жъ далѣе?»

— И не находя опо... опоры.—Ученикъ чуть не плачетъ.

«Осель! У тебя и голосъ-то ослиный!» И онъ передразниваетъ ученика: «Обуреваема... Гдѣ ты нашелъ тамъ обуреваема? Йѣнь, тебя, осла, обуреваетъ, вотъ что! Почему ты цѣлую недѣлю не ходишь въ классъ?»

— Боленъ быль.

«Видишь, какой у него басище... боленъ быль...» Опять передразниванье. «Отчего-же ты не явился въ больницу?»

— Я полагалъ... я думалъ, что на квартирѣ мнѣ будетъ покойнѣе...

У малаго навертываются слезы.

— Ей Богу, я быль боленъ лихорадкою. Спросите у моихъ товарищѣй и, если я солгалъ, накажите меня, какъ угодно.

«А ты покой любишь... хорошо! Вотъ тебя исключать къ ваканції, тогда насладишься покоемъ: цѣлый вѣкъ будешь перезванивать въ колокола».

И вслѣдъ за этими предлагается вопросъ наставнику:

«Онъ у васъ всегда таковъ, или, можетъ быть, на него периодически находится одурѣніе?»

— Что дѣлать! Особенныхъ способностей онъ не имѣть, но трудится усердно и успѣваетъ, сколько можетъ. Кажется, онъ сробѣлъ немногого...

«Все это прекрасно, т.-е. вы очень великодушны, но все это ни къ чему не ведетъ. Мнѣ кажется (по крайней мѣрѣ, я такъ думаю, вы меня пожалуйста извините: можетъ быть, я ошибаюсь), мнѣ кажется, было бы сообразнѣе съ дѣломъ видѣть его въ началѣ не 2-го разряда, какъ онъ у васъ стоитъ, а въ концѣ 3-го. Впрочемъ, вѣроятно вы имѣете на это свое основаніе».

Наставникъ проглотилъ позолоченную пилью и сталъ извиняться что онъ ошибся, и увѣрялъ, что на будущее время онъ постараится быть болѣе осмотрительнымъ.

Послѣ класса я заходилъ за книгою къ своему товарищу, который живетъ въ семинаріи на казенномъ содержаніи. Минъ случилось быть въ первый разъ въ нумерѣ бурсаковъ. Это огромная высокая комната, по наружности похожая на наши классы, съ токо разницей, что она, хоть и экономна, но все же ежедневно отапливается. Вокругъ обтертыхъ спинами стѣнъ стоять деревянныя, топорной работы кровати. Простыни на нихъ вѣтъ; подушки засалены; старые, сплюснутые матрацы прикрыты изношенными, разодраными одѣялами. На полу пыль и соръ. И какой поль! Доски стерты каблуками, и только крѣпкіе суки упорно противятся саногамъ и времени и подымаются со всѣхъ сторонъ бугорками. Между досокъ щели. Въ углу — отверстіе: смѣлые голодныя крысы не побоялись прогрысть казенное добро!... Окна запушены снѣгомъ и такъ плотно, что самому зоркому глазу невозможно видѣть, чтоб дѣлается на улицѣ и даже есть-ли здѣсь улица. Сквозь разбитыя и кое-какъ смазанныя стекла порядочно подуваетъ холодомъ, но я не слышалъ, чтобы кто-нибудь жаловался: кажется, здѣсь ко всему привыкли. Покамѣстъ мой товарищъ доканчивалъ выписку изъ моей книги, я присѣлъ на его кровать. Ничего! матрасъ не жестче доски, стало-быть, на немъ еще можно спать. Ученики сновали взадъ и впередъ по комнатѣ. Одинъ полураздѣтый, въ толстомъ и грязномъ бѣльѣ, лежалъ на своей кровати съ глазами, устремленными на тетрадку, и съ видимымъ удовольствіемъ дѣдалъ кусокъ чернаго хлѣба. Другому захотѣлось покурить. КуриТЬ не велять, поневолѣ поднимешься на хитрости. Онъ поставилъ къ печкѣ скамью, открылъ вверху заслонку и, стоя на скамье, пускалъ дымъ въ трубу. Вотъ я почувствовалъ что-то непріятное у себя на шеѣ, хвать — клопъ! Этакая мерзость! Воображаю, какъ было бы покойно провести здѣсь ночь...

«Ты докончишь выписку?» спросилъ я у своего товарища.

— Докончилъ.

«Каково вы тутъ поживаете?»

— Ничего. Семья, братъ, большая: 20 человѣкъ въ одной комнатѣ.

— «А какъ у васъ распредѣлено время?»

— Утромъ бываетъ общая молитва и всѣ мы поемъ. Потомъ одинъ становится къ налою и прочитываетъ нѣсколько молитвъ. Послѣ класса позволяетъ немного отдохнуть. Уроки учимъ въ залѣ. Вечеромъ опять общая молитва. Кто хочетъ, и послѣ ужина можетъ заниматься, прочие ложатся спать. Ты никогда не былъ у насъ въ столовой?

«Никогда. Я думаю тамъ почище, чѣмъ здѣсь?»

— Чистота одинакова. А воздухъ тамъ хуже: изъ кухни, вѣрно, чѣмъ пахнетъ. Просто—вонь!

«Какъ же вы тамъ садитесь за столы?»

— Извѣстно какъ, по классамъ, словесники особо, мы особо, богословы тоже особо. Богословы ёдятъ изъ каменныхъ тарелокъ, мы и словесники изъ оловянныхъ; ложки деревянныя, да такія, братъ, прочныя, что въ каждой будетъ полфунта вѣсу. Сторожа разносятъ щи и кашу. Вотъ тебѣ и все.

«Кушанье, стало быть, всѣмъ достается поровну?»

— Ну, нѣть. У богослововъ бываетъ побольше говядины, у насъ поменьше, у словесниковъ чуть-чуть. Первые ёдятъ кашу съ коровьимъ масломъ; у насъ она пахнетъ только коровьимъ масломъ; у словесниковъ ничѣмъ не пахнетъ. Каша, да и только.

«А въ постные дни чтѣ-же подаютъ?»

— Кислую капусту съ квасомъ. Щи изъ кислой капусты. Ешкашъ выдается конопляное масло въ томъ же родѣ, какъ и коровье.

«А блины на сырной бываютъ?»

— Иногда бываютъ. Крупны ужъ очень пекутъ: однимъ блиномъ сытъ будешь.

«И съ коровьимъ масломъ?»

— Съ коноплянымъ. Иногда съ коровьимъ—для запаху.

«Это вѣрно не то, что дома...»

— Ничего. Былъ бы хлѣбъ, живъ будешь. У меня и дома-то

Фдять не больно сладко. Отецъ у меня пономарь; доходы известные: копѣйка да грошъ, да и туть не сплошь.

Послѣ этого разговора я шелъ въ раздумы вплоть до моей квартиры, и комната моя, послѣ нумера, въ которомъ я бывъ, показалась мнѣ уютною и чистою.

## 21.

У насъ производится теперь раздача билетовъ, безъ которыхъ ученики не имѣютъ права разѣзжаться по домамъ. Мнѣ всегда бываетъ пріятно толкаться въ это время въ коридорѣ, въ толпѣ товарищѣй, всматриваться въ выражение ихъ лицъ, и угадывать по немъ невидимую работу мысли. Получившіе билеты весело сбѣгаютъ по широкой, грязной лѣстницѣ отъ инспектора, который ихъ выдаетъ. Вотъ одинъ останавливается на бѣгу и съ беспокойствомъ ощущаетъ свой боковой карманъ: тутъ ли его дорогая бумага? не обложился ли онъ какъ-нибудь въ торопяхъ? И вдругъ оборачивается назадъ и вновь бѣжитъ наверхъ; вѣрно, еще что-нибудь забыто. Другой спускается съ лѣстницы съ потупленной головою и нахмуренными бровями. «Ну, что?» спрашиваетъ его товарищъ. «Послѣ вѣдѣль приди. Говорить, некогда»... «А за тобою прислали изъ дома?» — То-то и есть, что прислали. Работнику дано на дорогу всего 30 коп., вотъ лошадь и будеть стоять безъ сѣна, если туть задержать. — Подлѣ меня разговариваютъ два ученика: «Что жъ ты, пріятель, не ёдешь домой?» — Зачѣмъ? Пьянства я тамъ не видаль? Мнѣ и здѣсь хорошо. — «Нашелъ хорошее! Что-жъ ты будешь дѣлать?» — Спать — кромѣ ничего. У меня, братъ, на квартирѣ... — Онъ пошепталъ своему пріятелю что-то на ухо. «Въ самомъ дѣлѣ! Честное слово. — «И хорошенъкая?» — Ничего, не дурна. — «Вотъ онъ!», сказалъ Мельхиседековъ, показывая свой билетъ. — Часъ добрый, отвѣчалъ я: а что инспекторъ не сердить? — «Ни то ни се: говорить, какъ водится, напутственные слова. Ты, дескать, лѣтний и часто не ходилъ въ классъ; тебя нужно бы не домой отпустить, а посадить для праздника на хлѣбъ и на воду. Ты на прошлой недѣлѣ сиѣлся въ классѣ. Помни это! я до тебя доберусь». А меня называлъ умнымъ малымъ. «Ты, говорить, ведешь себя скромно. Это

я люблю. Смотри, не заразись дурными примѣрами». Я выслушавъ его съ видомъ глубочайшаго почтенія, отдалъ визкій поклонъ, да и вонъ.

И поѣдуть они теперь въ разныя стороны, въ разныя деревушки и села. Какъ-то невольно представляются мнѣ знакомыя картины. Широко, широко раскинулось снѣжное, безлюдное поле. По краямъ сѣрое, туманное небо. Въ сторонѣ чернѣется обнаженный лѣсъ. На косогорахъ вачаются отъ вѣтра сухія былинки. Надъ оврагами уродливыми откосами нависъ сугробъ. По лугамъ неправильными рядами поднимаются снѣжныя волны. Вокругъ печальная, безжизненная тишина. Слышенъ только скрипъ полозьевъ и тугонатянутой дуги. Среди этой пустыни єдетъ иной горемыка въ легкомъ и тонкомъ тулупишкѣ. Морозъ пробираеть его до костей. На бровахъ и рѣсицахъ наростаетъ иней. Жгучій вѣтеръ колеть иглами открытое лицо. Саны медленно ныряютъ изъ ухаба въ ухабъ. Тощая кляча съ трудомъ вытаскиваетъ изъ глубокаго снѣга свои косматыя ноги. И вотъ наступаетъ холодная, холодная ночь. Синее небо усыпано звѣздами. По снѣгу, при яркомъ свѣтѣ мѣсяца, перебѣгаютъ голубые и зеленые огоньки и видны свѣжіе слѣды недавно пробѣгавшаго зайца. Безконечная даль пропадаетъ въ туманѣ, и сквозь этотъ туманъ тускло мерцаетъ одинокая красная точка: вѣрно, еще не спать въ какой-нибудь дымной и сырой избенкѣ. Тпrrъ! говорить кучеръ и съ бранью оставляетъ свое мѣсто. «Чтѣ тамъ такое?» спрашивается сѣдою. «Сунонъ лопнула»....— Ахъ, Господи! чѣ это за наказаніе!...— Бѣдняга выскакиваетъ изъ саней и бѣгаеть окончихъ, похлопывая окостенѣвшими руками, покамѣстъ исправляется старая, истасканная упряжь.

Я остаюсь здѣсь потому, что єхать слишкомъ далеко. Книгъ у меня будетъ довольно, а съ ними я не соскучусь. И какъ бы стать я коротать въ деревнѣ праздничные дни? Батюшка, по обыкновенію, съ утра до ночи ходить со двора на дворъ съ крестомъ и святою водою и возвращается усталый съ собранными курами и чернымъ, печенымъ хлѣбомъ. Со стороны матушки немедленно слѣдуютъ вопросы: кто какъ его принялъ и чѣ ему даль. Куры взвѣшиваются

на рукахъ и при этомъ, разумѣется, не обходится безъ нѣкоторыхъ замѣчаній. «Вотъ, молъ, смотри, что эта за курица? Воробей воробьемъ!... Матрена, говоришь, дала?»—Она, она, отвѣтаетъ батюшка, насупивая брови. «Экая выжига! экая выжига!» Христославиаго хлѣба у насъ собирается довольно. Часть его обращается на сухари для собственнаго употребленія, часть идетъ на кормъ домашней скотинѣ.

Когда-то и я вмѣстѣ съ батюшкою ходилъ по избамъ мужичковъ въ качествѣ христославца и бойко читалъ наизусть какія-то допотопныя вирши, Богъ вѣсть, когда и кѣмъ написанныя, со всевозможными грамматическими ошибками и переходящія изъ рода въ родъ безъ малѣйшаго измѣненія. «Виши, какъ тачаетъ!» бывало скажетъ иной мужичокъ: «сейчасъ видно, что поповичъ. Нечего дѣлать, надо и ему дать копѣечку»...

Впрочемъ, къ чему я объ этомъ говорю? Воспоминанія, изволите ли видѣть, воспоминанія... Это, что называется, чѣмъ богать, тѣмъ и радъ.

## 29.

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ: я надѣялся провести свое праздничное время за книгами, а вышло не такъ. Григорій заболѣлъ наканунѣ Рождества простудою и слегъ въ постель, которую пришлось ему занять въ сырой угарной кухнѣ, на жесткой сосновой лавкѣ. На больного никто не обращалъ особаго вниманія. Кухарка тотчасъ послѣ обѣда наряжалась въ пестрое, ситцевое платье, завивала на вискахъ косички, уходила въ гости къ какому-нибудь свату или куму, возвращалась уже вечеромъ румяною, весело и разговорчивою. «Вставай!» говорила она мальчугану, который съ трудомъ переводилъ свое горячее дыханіе: «что ты все лежишь, какъ колода? Не хочешь ли щей?» Большой отрицательно качалъ головою и оборачивался къ стѣнѣ: «Ну, наплевать! была бы честь приложена, отъ убыtkу Богъ избавиль»... И баба запѣвала вполголоса не совсѣмъ пристойную пѣсню. Федоръ Федоровичъ раза два посыпалъ меня къ нему съ чашкою спитаго, жиеньягаго чая. Пусть, говорить, выпить. Это здорово. Скажи, что я приказываю. Но ма-

лый не слушался и со слезами на глазахъ просилъ у меня холода-  
наго квасу. Ключъ отъ погреба постоянно хранился въ кабинетѣ  
Федора Федоровича: я спѣшилъ къ нему съ докладомъ, вотъ, моль-  
такъ и такъ. «Нѣть, отвѣчалъ мнѣ мой наставникъ, скажи ему, что  
онъ глупъ. Большому пить квасъ нездороно». И этимъ оканчивалось  
все попеченіе о бѣдномъ мальчуганѣ. Такимъ образомъ, волю-нев-  
вoleю, мнѣ пришлось замѣнить его должностъ, т. е. состоять на  
посылкахъ и исполнять разныя приказанія и прихоти моего настав-  
ника. Только-что я возьмусь за книгу, «Василій», — раздается знако-  
мый мнѣ голосъ, — «сходи-ка на рынокъ и купи мнѣ орѣховъ, да  
смотри, выбирай, какіе посвѣжѣе». Орѣхи принесены, молотокъ,  
чтобы разбивить ихъ, поданъ, и опять берусь за книгу и читаю при  
громкомъ стукѣ молотка. «Василій! поди-ка собери скорлупу и вы-  
неси ее на дворъ». Скорлупа вынесена, — я снова принимаюсь за  
книгу. «Василій! поди-ка вычисти мнѣ сапоги». И вотъ я развозжу  
на старомъ чайномъ блюдечкѣ ваксу и чищу сапоги, а наставникъ  
мой поконится на диванѣ, заложивъ подъ голову свои руки, курить  
папироску и смотреть на потолокъ.

Теперь я окончательно убѣжденъ, что онъ строго слѣдить за хо-  
домъ моего развитія. Сегодня за обѣдомъ у меня съ нимъ былъ  
слѣдующій разговоръ.

«Чѣмъ ты занимаешься?» спросилъ онъ меня, накладывая себѣ  
на тарелку новую порцію жаренаго поросенка.

— Читаю Фонъ-Визина.

«Читалъ бы ты что-нибудь серьезное, если ужъ есть охота къ  
чтенію, вотъ и была бы польза. Эти Фонъ-Визины съ братію отни-  
маютъ у тебя время. Чѣмъ это за сочиненіе? Вымыселъ и больше ни-  
чего. Кажется, я говорилъ тебѣ, какія книги ты долженъ взять изъ  
нашей библіотеки».

Да, подумалъ я: просьбою о выдачѣ мнѣ этихъ книгъ я надобѣлъ  
библіотекарю такъ же, какъ надоѣдаетъ иной заемодавецъ своему  
должнику обѣ уплатѣ ему денегъ. Кончилось тѣмъ, что побѣда осталась  
на моей сторонѣ. Библіотекарь, выведенный изъ терпѣнія, плюнувъ  
и крикнулъ съ досадою: возьми ихъ, возьми! Отвяжись пожалуйста!..

— Я читалъ опять философию Надеждина. Сухо немножко, — сказала я, стараясь по возможности смягчить вертѣвшійся у меня въ головѣ отвѣтъ: темна вода въ облацѣхъ.

«Смыслишь мало, оттого и выходитъ для тебя сухо. А ты дѣлай такъ: если прочиталъ страницу и ничего не понялъ, опять ее прочитай, опять и опять... вотъ и останется что-нибудь въ памяти и не будетъ *сухо*. На послѣднемъ словѣ онъ сдѣлалъ удареніе. Очевидно, отвѣтъ мой ему не понравился.

«Чтеніе журналовъ», продолжалъ онъ: «тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я самъ ихъ не читаю, а развѣ проигрываю отъ этого! Тебѣ, напримѣръ, дается тема! *знаніе и вѣдѣніе суть ли тождественны*, или: *въ чемъ состоится простота души*; ну, чѣмъ-же ты почерпнешь изъ журналовъ для своихъ разсужденій на обѣ эти темы! Ровно ничего. Нѣтъ, ты читай что-нибудь дѣльное, а не занимайся пустяками».

Послѣ этого разговора передо мною яснѣе обрисовалась личность моего почтенного наставника. Я мысленно поблагодарила себя за то, что пряталъ отъ него почти всякую книгу, и рѣшился, для устранинія между нами какихъ бы то ни было недоразумѣній, никогда не заводить съ нимъ разговора о томъ, на что онъ имѣть свой особыній взглядъ. Этотъ взглядъ и эта должностъ прислузы, которую здѣсь несу, до того мнѣ надоѣли, что я писалъ къ своему батюшкѣ, чтобы онъ, подъ какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ, перемѣнилъ мою квартиру, говоря, что я настолько выросъ и настолько понимаю все бѣлое и черное, что могу обойтись безъ посторонней нравственной опеки.

#### Января 6.

Здоровье Григорья поправилось. Онъ вынесъ тяжелую горячку и всталъ, не смотря на всѣ, такъ сказать, благопріятныя условія къ переселенію въ лучшій міръ, какъ-то: скверное помѣщеніе, дурную пищу и отсутствіе необходимыхъ лѣкарствъ... «Отвалился!», говорить о немъ наша кухарка, и это слово я нахожу очень умѣстнымъ и вѣрнымъ. Однакожъ онъ еще такъ слабъ, что не можетъ исполнять своей обязанности, и я до сихъ порть занимаю его мѣсто.

Богъ съ нимъ, пусть поправляется? Мнѣ пріятно думать, что мои хлопоты доставляютъ ему покой.

Передняя и гостиная моего наставника снова оживлены присутствиемъ извѣстныхъ личностей... Не знаю, какъ ихъ точнѣе назвать... просителями, посѣтителями или гостями, — право не знаю. Иной вовсе ни о чёмъ не просить: скажетъ только, что сынъ его прозывается Максимъ Часовниковъ, а онъ, отецъ его, принесъ вотъ пару гусей, и это короткое объясненіе закончитъ глубочайшимъ поклономъ: «извините, что, по своей скучности, не могу вѣсть ничѣмъ больше возблагодарить». Ему отвѣтять: «спасибо». Мѣсто удалившейся личности заступаетъ другая, которая подобострастно склоняется свою лысую голову и робко и почтительно протягиваетъ мозолистую руку, изъ которой выглядываетъ на Божій свѣтъ тщательно сложенная бумажка. «Осыпываюсь вѣсть беспокойте, благоволите принять...» — Напрасно трудились. Впрочемъ, я не забуду вашего вниманія, — равнодушно говорить Федоръ Федоровичъ и въ свою очередь протягиваетъ руку. Онъ дѣлаетъ это такъ естественно, какъ будто о бумажкѣ тутъ нѣть и помину, а просто пожимается рука доброму знакомому, при словахъ: «мое почтенье! какъ ваше здоровье?» Мое присутствіе нисколько не стѣсняетъ моего наставника: и какъ же иначе? Все это дѣло обыкновенное, не притязательное: хочешь — давай, не хочешь — не давай, по шеѣ тебя никто не бьетъ. Притомъ мнѣніе ученика (если бы, сверхъ всякихъ чаяній, онъ осмѣлился имѣть какое-либо мнѣніе) слишкомъ ничтожно. Иногда меня забавляетъ нелѣпая мысль: что, думаю я, если бы въ одну прекрасную минуту я предложилъ моему наставнику такой вопросъ: въ какую силу принимаются имъ всѣ эти приношенія, и указалъ бы ему на разное *яствie и пыtie?* Мнѣ кажется, весь, съ ногъ до головы, онъ превратился бы въ живой истуканъ, изображающей изумленіе и, увы! потомъ разразились бы надо мною молнія и громы...

Съ наступленіемъ сумерокъ передняя опустѣла. Я пошелъ въ свою комнату и взялся за книгу.

«Василий!» крикнулъ Федоръ Федоровичъ.

Чтò вамъ угодно?

«Прибери эти бутылки подъ столъ... знаешь, тамъ — въ моемъ кабинетѣ, а гусей отнеси въ чуланъ, запри его и ключь подай мнѣ».

Я все исполнилъ въ точности и снова взялся за свое дѣло, а мой наставникъ, въ ожиданіи ужина, занялся игрою съ своимъ сѣрымъ котенкомъ. За ужиномъ, между прочимъ, онъ спросилъ меня:

«Чтò ты теперь читалъ?»

Этотъ часто повторяемый вопросъ, ей-Богу, мнѣ надоѣлъ.

— Слова и рѣчи на разные торжественные случаи, — отвѣчалъ я, удерживая улыбку, потому что безсовѣстно лгалъ; я читалъ, по указанію Яблочкина, переводъ *Венецианскаго Купца* Шекспира, напечатанный въ «Отечественныхъ Запискахъ», а «Слова и Рѣчи» лежали и лежать у меня на столѣ, служа своего рода громоотводомъ.

«Это хорошо. Однако ты любишь чтеніе!»

— Да, люблю.

Опь обратился къ кухаркѣ: «завтра къ обѣду приготовь къ жаркому гуся. Сало, которое изъ него выпотится, слей въ горшочекъ и принеси сюда. Мы будемъ Ѳесть съ кашею».

«Авось хоть теперь Федоръ Федоровичъ успокоится». думалъ я, ложась на свою кровать и продолжая чтеніе *Венецианскаго Купца*. Но за стѣнами еще слышалась мнѣ протяжная зѣвота и полусонныя слова: Господи помилуй! чо это на меня напало?.. И вотъ я пробѣгаю эти потрясающія душу строки, когда жидъ Плейлокъ требуетъ, во имя правосудія, чтобы вырѣзали изъ груди Антоніо фунть мяса. По тѣлу пробѣгаетъ у меня дрожь, на головѣ поднимаются волосы .. «Василій! Василій! Или ты не слышишь?» раздается за стѣнами громкій голосъ моего наставника.

— Слышу! — отвѣчалъ я съ тайною досадою: — чтò вамъ угодно?

«Ты куда положилъ гусей?»

— Въ чуланъ.

«Да въ чуланѣ-то куда?»

— На лавку!

«Ну, вотъ, я и угадалъ. Это выходить на сѣденіе крысамъ.

Возьми ключь и все, что тамъ есть, гусей и поросятъ, развѣшай по стѣнамъ. Тамъ увидишь гвозди. Съ огнемъ, смотри, поосторожнѣе. И положилъ я Шекспира и пошелъ развѣшивать гусей и поросять. Не правда ли, хорошошъ переходъ?..

9.

Наша семинарія опять закипѣла жизнью, или, по рѣзкому выражению Яблочкина, шестисотоголовая, одаренная памятью, машина снова пущена въ ходъ. Все это прекрасно, не хорошо только то, что стѣны классовъ, стоявшихъ нѣсколько времени пустыми, промерзли и покрылись инеемъ, а теперь, согрѣтые горячимъ дыханіемъ молодого люда, заплакали холодными слезами. Пусть плачутъ! Отъ этого не будетъ легче ни имть, ни тѣмъ учащимся толпамъ, которыхъ приходить сюда въ извѣстный срокъ и потомъ также въ извѣстный срокъ, въ послѣдній разъ, уходить и разсыпаются по разнымъ городамъ и селамъ.

И вотъ я сѣлъ и обращаю вокругъ задумчивые взгляды.

Опять всѣ скамьи заняты плотно сдвинутыми массами народа. На столахъ разложены тетрадки и книги; едва отворится дверь,—изъ класса бѣльмъ столбомъ вылетаетъ влажный паръ и медленно рѣдѣеть подъ сводами коридора. Холодно, чортъ побери! Бѣдны ноги такъ зябнутъ, что сердце щемить отъ боли, и послѣ двухчасового, неподвижнаго сидѣнья, когда выходишь изъ-за стола, онѣ движутся подъ тобою, какъ будто какія-нибудь деревяшки.

Я помню, что въ училищѣ до нѣкоторой степени облегчали свое горькое положеніе въ этомъ случаѣ такимъ образомъ: когда продрогшіе ученики теряли уже послѣднее терпѣніе и замѣчали, что наконецъ и самъ учитель, одѣтый въ теплую енотовую шубу, потираетъ свои посинѣвшія руки и пожимаетъ плечами,—изъ отдаленнаго угла раздавался несмѣлый возгласъ: «позвольте погрѣться!..» Позвольте погрѣться! вторили ему въ другомъ углу, и вдругъ все сливалось въ одинъ громкій, умоляющій голосъ «позвольте погрѣться!..» И учитель удалялся иногда въ коридоръ, а чаще въ комнату своего товарища, который занималъ казенное помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ. Всѣдѣ за нимъ сыпались дружные звуки оглушительной дроби. Это-

то и было согрѣваніе: ученики, сидя на скамьяхъ, стучали во всю мочь своими окостенѣлыми ногами объ деревянный, покоробившійся отъ старости полъ. Между тѣмъ какои-нибудь шалунъ, просунувъ въ полуутворенную дверь свою голову, зорко осматривалъ коридоръ. «Гдѣ учитель? Въ коридорѣ?» спрашивали его позади. «Нѣтъ. Ушелъ внизъ». «Валай, братцы! Валай!..» И ученики прыгали透过 столы на середину класса.

«Ну, ты, мокроглазый! Становись на поединокъ...» восклицаетъ одна голоостриженная бойкая голова и размахиваетъ кулаками передъ носомъ своего товарища.

— Становись! — говоритъ мокроглазый, притопывая ногой, — становись!

Разъ-два! разъ-два! и пошла кулачная работа.

Къ нимъ присоединяется новая пара горячихъ бойцовъ, еще и еще,—и вотъ валить уже стѣна на стѣну. Неучаствующіе въ бою и тѣ, которые успѣли получить подъ свои бока достаточное число пироговъ, стоять на столахъ и тѣлодвиженіями, и крикомъ одушевляютъ подвзывающихъ среди класса рыцарей. Избранный часовой стоитъ у дверей и сторожитъ приходъ учителя. «Тсс... тс...» говорить онъ, и ученики бѣгутъ на свои мѣста.

Учителя встрѣчаетъ въ дверяхъ облако густой пыли.

«А!» восклицаетъ онъ: «опять бились на кулачки!» и внимательно смотритъ по сторонамъ и замѣчаетъ у одного подбитый глазъ.

«А какъ ты смѣлъ биться на кулачки? А?

— Я не бился, ей - Богу, не бился! — отвѣчаетъ плаксивый голосъ.

«Врешь, бестія! Пошелъ къ порогу».

И виновный безъ дальнѣйшихъ объясненій отправляется, куда ему приказано, распоясывается, разстегиваетъ свой нанковый спортучишко и такъ далѣе, и ложится на холодный полъ. Сидѣвшій у порога ученикъ, такъ называемый *съкуторъ*, съ гибкою лозою въ руки, усердно принимается за свою привычную работу.

«Простите! простите!» разносится на весь классъ жалобный крикъ.

— Прибавь ему, прибавь?

*И скуторз* прибавляетъ.

Операция кончилась, и наказанный, какъ ни въ чёмъ не бывало, встаетъ, утираетъ слезы, подпоясывается, отдаетъ по заведенному порядку своему наставнику низкій поклонъ — благодарность за поученіе — и отправляется на мѣсто, замѣчая мимоходомъ одному изъ своихъ товарищей: я говорилъ тебѣ; такой-сякой, не бей по лицу: синякъ будетъ... вотъ и выдрили.

Та-же самая потѣха повторяется и на слѣдующіе дни съ предварительнымъ условіемъ: «смотрите, братцы: по лицу чуръ не бить!» У насъ этого, благодареніе Богу, нѣть.

Но возвращаюсь къ дѣлу.

Что это за милый человѣкъ нашъ Яковъ Ивановичъ, профессоръ, читающій намъ русскую исторію!

Онъ смотритъ на исполненіе своей обязанности, какъ на чтоб-то священное, и въ этомъ отношеніи заслуживаетъ безукоризненную похвалу. Въ классъ онъ приходитъ своевременно, спустя двѣ-три минуты послѣ звонка, при чтеніи молитвы молится усердно и, плотно захлопнувъ свою поношенную шубу, скромно садится за столъ. И вотъ развязываетъ свой клѣтчатый платокъ, и мы видимъ его неизмѣнного спутника, можно сказать, его вѣрнаго друга, — стающую, почтенной толщины, книгу, въ предномъ кожаномъ переплетѣ, съ краснымъ обрѣзомъ. Яковъ Ивановичъ вынимаетъ изъ кармана очки, дышетъ на нихъ, протираетъ платкомъ и осторожно надѣваетъ на свой носъ. Все это дѣлается не спѣша, не какъ-нибудь: *сейчасъ* видишь, что человѣкъ приступаетъ къ исполненію трудной обязанности, къ решенію великой задачи. «Гм... гм...» откашливается мужъ, посѣдѣвшій въ наукѣ, и развертываетъ книгу именно тамъ, где нужно. Ошибиться ему нельзя, потому что недочитанная страница каждый разъ закладывается продолговатою, нарочно для этого вырѣзанною, бумажкою, мѣсто же, где ударомъ звонка было закончено чтеніе, отмѣчается слегка карандашемъ, который вытирается потомъ резиною. Какъ видите, все разсчитано благоразумно и строго. И начинается тихое мѣрное чтеніе. Читаетъ онъ полчаса, читаетъ часть, порою снова протираетъ очки

зѣроятно, глаза несчастнаго подергиваются туманомъ, и опять безъ умолку читаетъ, и нѣть ему никакого дѣла до окружающей его жизни, точно такъ-же, какъ никому изъ окружающихъ его нѣть до него ни малѣйшей нужды. Ученки занимаются тѣмъ, что имъ нравится, или что они считаютъ для себя болѣе полезнымъ. Нѣкоторые ведутъ разсказы о своихъ взаимныхъ похожденіяхъ и проказахъ, нѣкоторые переписываютъ лекціи по главному предмету, а нѣкоторые сидятъ за романами. Тутъ вы увидите разные романы, напр. «Шапка мородаваго», «Таинственный монахъ», «Фра-дьяволо», Япанча — Татарскій наѣздникъ» и т. под., но чаще всего увидите Поль-де-Бока и Дюма. Они пользуются у насъ особенною извѣстностію. Если чайнибудь неосторожный возгласъ или смѣхъ прервѣтъ мѣрное чтеніе почтеннаго наставника, онъ поднимаетъ свои вооруженные глаза на окружающую его молодежь и громко скажетъ: «пожалуйста, не мѣшайте мнѣ читать!..» И продолжаетъ: «Ахъ! странно и дивно есть, ежели шли братъ на брата, сынове противо отцовъ, рабы на господь, другъ друга ищутъ умертвить и погубить, забывъ законъ Божій и [преступя заповѣди Его, единаго ради властолюбія, ища братъ брата достоянія лишить, не вѣдуще, яко премудрый глаголеть: вѣтай чужаго о своемъ возвыдеть! Изшедшее же Юрій съ Ярославомъ и меньшими братіями, сталъ на рѣкѣ Гзѣ» (Рос. Истор. Татищева, изд. 1774 г., кн. III, стр. 389).

Если шумъ не унимается, наставникъ покраснѣеть и громче прежняго повторить. «Не шумите! пожалуйста, не шумите! Не то, честное слово, я пущу кому-нибудь въ голову свою книгою...» Эта угроза, конечно, никого не пугаетъ, тѣмъ болѣе, что она никогда не приводится въ исполненіе. Но Яковъ Ивановичъ все таки достигаетъ своей цѣли, т. е. въ классѣ наступаетъ непродолжительная тишина. Его боятся потому, что своимъ смиренiemъ и безответственностью онъ успѣлъ себѣ снискать расположеніе нашего инспектора.

20.

Бѣдный Иванъ Ермолаичъ! Онъ совсѣмъ спился съ кругу. Грустно было смотрѣть, въ какомъ видѣ пришелъ онъ сегодня вечеромъ къ Федору Федоровичу. Шинель истаскана, просто — дрянь! Подкладка

порвалась, изъ-подъ изношенного коленкора выглядываютъ ключки грязной ваты. Сапоги на немъ—безъ калошъ. Этого мало: одинъ сапогъ лопнулъ, и оказывается, что онъ въ трескуче морозы носить нитяные чулки. Какъ онъ терпитъ эту нужду, — ей-Богу, не понимаю!

Федоръ Федоровичъ принялъ его чрезвычайно холодно или, лучше сказать, грубо; не только не подалъ ему руки, даже не пригласилъ его сесть и ходилъ изъ угла въ уголъ, поигрывая махрами своего пояса и напевая себѣ подъ носъ какую-то пѣсню, какъ будто въ комнатѣ, кроме его, не было ни одной живой души.

«Знаете ли что, Федоръ Федоровичъ», сказалъ незванный гость, потирая свои синія, озябшія руки: «дайте мнѣ, пожалуйста, рюмку водки. Я, мочи нѣтъ, озябъ!»

— У меня ни капли нѣтъ водки. Я почти никогда ея не имѣю:— Иванъ Ермолаичъ подошелъ къ печкѣ, прикладывалъ свои руки къ теплымъ кафлямъ и, обернувшись, прислонился къ ней спиной.

«Что же у васъ есть? Дайте хоть одну рюмку. Авось убыtkу бу-деть немногого».

— Рому, пожалуй, я дамъ: есть немножко. Вѣдь, вы ужъ гдѣ-то выпили... довольно бы, кажется.

«Да ну, — ради Бога, безъ наставленій! Давать, — такъ давай; нѣтъ,—Богъ съ тобой!»

Федоръ Федоровичъ пошелъ въ свой кабинетъ и вынесъ оттуда рюмку рому. Иванъ Ермолаичъ ее выпилъ и сѣлъ, облокотившись на столъ. Нѣсколько времени прошло въ молчаніи.

«Глупая исторія», сказалъ Иванъ Ермолаичъ: «глупѣйшая исторія!»

— Чѣмъ такое? спросилъ Федоръ Федоровичъ.

«А вотъ что: на дняхъ я имѣлъ удовольствіе бесѣдовать съ отцомъ-ректоромъ и—остался въ дуракахъ».

— Я думалъ, случилось что-нибудь особенное, отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ, закуривая папироску и растягиваясь во весь свой ростъ на мягкому диванѣ.

«Теперь я все спрашиваю себя: за какимъ чортомъ я къ нему ходилъ?»

— Совершенно справедливо. Онъ уже не разъ намыливалъ вамъ голову; пора бы оставить его въ покой.

«Но помилуйте! что-жъ это такое? Чѣмъ я виноватъ?» вскричалъ Иванъ Ермолаичъ, поднимаясь со стула и вдругъ воодушевляясь. «Вотъ слушайте: ученики собрали 30 руб. сер. и просили меня, чтобы я составилъ имъ по своему выбору библиотеку, которой они могли бы постоянно пользоваться и, отъ времени до времени, ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошелъ къ отцу-rectору и объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

«Вы, сказалъ онъ, спросились бы прежде у того, кто постарше васъ, тогда и собирали бы деньги».

— Деньги, отвѣчалъ я, мнѣ принесли собранными.

«Такъ, такъ. Ну, что-жъ вы хотите купить?»

— Конечно, говорю я, что-нибудь для легкаго чтенія, напр. соч. Пушкина, романы Вальтеръ-Скотта, Купера...

«Ну, вотъ - вотъ! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки. Опять вотъ Купера... Кто это такой Куперъ? О чёмъ онъ писалъ! Нѣть, нѣть! романы намъ не годятся».

— Да, вѣдь, у насъ читаютъ Поль-де-Бока и т. под. Вѣдь, это помои! Не лучше ли дать ученикамъ что-нибудь порядочное.

«Нѣть, что-жъ... Намъ это не годится. Вы ужъ, пожалуйста, не ходите ко мнѣ впередъ съ такими пустяками. А деньги отдайте назадъ, непремѣнно отдайте».

— Помилуйте! возразилъ я, устройство библиотеки...

«Занимайтесь своимъ дѣломъ, вотъ-что! Мнѣ некогда пересыпать съ вами изъ пустаго въ порожнее. До свиданія!..»

«Скажите по совѣсти, что-жъ это такое?» заключилъ Иванъ Ермолаичъ.

— Не мое дѣло, отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ. Всякий Еремѣй про себя разумѣй.

«И только?»

— Больше ничего.

Гость постоялъ въ раздумъи и сказалъ, какъ-то принужденно улыбаясь! «Честь имъю кланяться, Федоръ Федоровичъ!..»

— Будьте здоровы... — Иван Ермолаич ушел.

«Гришка!» крикнула Федор Федорович.

— Ась, отвѣчай мальчуганъ изъ передней.

«Ты видѣлъ вотъ этого барина, чтò сейчасъ отсюда вышелъ?»

— Видѣлъ.

«Если когда-нибудь онъ опять придетъ, скажи ему, что меня нѣтъ дома. Слышишь?»

— Слышу.

О, мой мудрый наставникъ. Еслибы ты зналъ, какъ ты упала теперь въ моихъ глазахъ!..

25.

Я сейчасъ получила отъ батюшки письмо. Вотъ чтò, между прочимъ, онъ пишетъ: «Ты поменьше предавайся мечтательности. О перемѣнѣ своей квартиры до твоего перевода въ Богословіе думать не смѣй; ибо наставникъ твой приметъ сю перемѣну за обиду, и тебѣ придется тогда плохо. Ты знаешь, что онъ склонится давать тебѣ свѣчи, посылаю тебѣ денегъ; купи на нихъ свѣчи, но по пустому ихъ не трать; пустяковъ не читай и веди себя такъ, чтобы я былъ тобою доволенъ и чтобы худаго о тебѣ ни отъ кого не слышалъ. На счетъ того, что ты ему прислуживаешь, я тебѣ скажу, что это еще не бѣда, ибо старшимъ себя човиноваться ты обязанъ»...

И такъ терпѣніе и терпѣніе. Объ этомъ говорять мнѣ не только всѣ окружающіе меня люди, но книги и тетради, которыхъ я учю наизусть, и кажется, самыя стѣны, въ которыхъ я живу. Будемъ терпѣть, если нѣтъ другаго исхода.

Далѣе батюшка пишетъ, что дѣячокъ нашъ, Кондратьичъ, выѣхавшій куда-то со двора, подъ хмѣлькомъ, во время мители,—пропалъ и два дня не было о немъ ни слуху, ни духу. Лошадь его возвратилась домой съ пустыми санями. На третій день Кондратьича нашли въ полѣ въ снѣгу. Онъ замерзъ и лежалъ на боку, подогнувъ подъ себѣ ноги. Спину его занесло снѣгомъ. Изъ-за пазухи его тулуна вынута стеклянка съ виномъ и недоѣденный блинъ. Миръ его праху! говорить батюшка и прибавляетъ: впрочемъ, худая трава изъ поля вонъ...

Миръ его праху! и я скажу въ свою очередь. Какъ знать? Можетъ

быть, и онъ бы былъ бы порядочнымъ человѣкомъ, если бы его окружала другая обстановка, другія лица. Умѣль же онъ сработать отличную ткацкую, выстругать раму, связать красивую, узорчатую кѣтку, никогда не учившись этому ремеслу...

Февраль 1.

И когда этотъ Яблочкинъ отдохнетъ хоть на минуту отъ своего безпрестанного горячаго труда? Онъ изучаетъ теперь нѣмецкій языкъ и началь уже переводить Шиллера.

«Что ты, братъ, дѣлаешь», говорю я ему: «пожалѣй хоть немного свое здоровье...»

— Ничего, отвѣчалъ онъ, медленно поднимаясь со стула. Лицо его было блѣдно и грустно.—А грудь, душа моя, у меня все болѣть да болѣть. Боль какая-то гаухая. Не понимаю, что это значитъ.—И онъ прилегъ на свою кровать.

«Давно ли ты сталъ заниматься нѣмецкимъ языкомъ?» спросилъ я его, перелистывая отъ нечего дѣлать книгу Шиллера, въ которой не понималъ ни одного слова.

— Мѣсяца три. Выучилъ склоненія и глаголы и прямо взялся за переводъ. Трудно, Вася. По правдѣ сказать, мы не избалованы судьбою. Потомъ и кровью приходится расплачиваться намъ не только за каждый шагъ, но и за каждый вершокъ впередъ.

«А какъ идуть твои занятія по семинаріи?»

— Можно бы сказать — не дурно, если бы къ нимъ не примѣшивались исторіи о тросточкахъ и тому подобное. Какъ ты думаешь? Ужъ не писать ли мнѣ по этому поводу, конечно, въ видѣ подражанія нашимъ темамъ, разсужденіе на тему своего собственнаго изображенія: «Зависитъ ли любовь къ занятіямъ отъ рода и обстановки самыхъ занятій, или можетъ быть возбуждаема исторіями разныхъ тросточекъ и тому подоб?..»

«Кавая тросточка?» спросилъ я съ удивленiemъ: «что это за исторія!»

— Исторія очень простая. Одинъ изъ моихъ добрыхъ знакомыхъ заходилъ ко мнѣ за свою книгою, заговорился и забыть у меня свою тросточку. Что ему за охота ходить зимою съ тростью, это

ужь его дѣло. На другой день я пошелъ къ нему за новою книгою и кстати захватилъ съ собою забытую имъ у меня вещь. Какъ видишь, все случилось весьма естественно. Только иду я по улицѣ, вдругъ навстрѣчу мнѣ попадается субъ-инспекторъ, въ своемъ неизмѣнномъ засаленномъ картузѣ и въ старенькихъ саняхъ. «Стой!» сказалъ онъ, толкнувъ въ спину своего кучера, и подошелъ ко мнѣ величественнымъ шагомъ. «Что это у васъ въ рукѣ?» спросилъ онъ меня, указывая перстомъ на несчастную тросточку. Я улыбнулся и пожалъ плечами. «Это камышевая трость», отвѣчалъ я. «Чему ты смеешься?» сказалъ онъ, нахмуривая брови и перемѣнявъ множественное число личнаго мѣстоименія на единственное. «Чему? Развѣ ты не знаешь, что ты не смеешь съ нею ходить? что это запрещено, а? «Дѣлать нечего: я рассказалъ ему, почему эта трость очутилась въ моей рукѣ. «Отчего-жъ ты не завернулъ ее въ бумагу, чтобы отнести ее просто подъ мышкою? Ясно, что ты врешь». Я извинился, что не догадался это сдѣлать, онъ нѣсколько успокоился, и мы разстались. Чѣмъ ты на это скажешь? спросилъ меня Яблочкинъ въ заключеніе своего разсказа.

«Чѣмъ-жъ тутъ такое?» отвѣчалъ я: «случай весьма обыкновенный...»

— Нѣть, ты представь себѣ подробности этой сцены! сказалъ Яблочкинъ, вскочивъ съ своей кровати, и на щекахъ его загорѣлись два красныхъ пятна.—Вѣдь, это происходило на тротуарѣ, по которому шелъ народъ. Во все продолженіе нашего разговора я долженъ былъ стоять съ открытою головой и говорить почти шепотомъ, чтобы не привлечь на себя вниманія зѣвакъ. Неужели все это ничего не значитъ?

«Довольно, довольно!» сказалъ я съ улыбкою: «перестань горячиться», и незамѣтно склонилъ разговоръ на его будущую, университетскую жизнь. Лицо Яблочкина просияло. Онъ сталъ говорить мнѣ, съ какою любовию онъ возьмется тогда за новый трудъ; какъ весело и быстро будетъ пролетать его рабочее время; какъ усердно займется онъ уроками, которые обеспечатъ его существованіе и которыхъ навѣрно найдется у него много; съ какимъ удовольствиемъ, послѣ этихъ уроковъ, сядетъ онъ въ своей маленькой квартирѣ за кипящій самоваръ, съ стаканомъ чая въ одной рукѣ, съ книгою—

въ другой. «А когда, продолжалъ онъ, окончу курсъ и поступлю на службу (куда и чѣмъ,—я самъ еще не знаю, но все равно), когда у меня будутъ хоть какія-нибудь средства для жизни, первое, что я сдѣлаю,—составлю себѣ прекрасную, избранную библиотеку. У меня будутъ свои собственные Пушкинъ и Гоголь, у меня будетъ Гете и Ніцше въ подлинникѣ, лучшіе французскіе поэты и прозаики. Если останутся свободныя минуты отъ службы, выучусь по-англійски, и у меня будутъ въ подлинникѣ Байронъ и Шекспиръ... А главное, душа моя, даю тебѣ мое честное слово, куда бы я ни попалъ, гдѣ бы я ни служилъ, никогда не буду мерзавцемъ. Останусь безъ хлѣба, умру нищимъ, но сдержу это честное слово. Вася! заключи онъ, крѣпко стиснувъ меня въ своихъ объятіяхъ: вѣдь, это будетъ рай, а не жизнь! понимаешь ли?...» Онъ говорилъ, глаза его сияли, на щекахъ навертывались слезы. Я подумалъ о своемъ будущемъ,—вспомнилъ слова Яблочкина: «нужно имѣть желѣзную волю, чтобы одиноко устоять на той высотѣ, и прочее...» и стало мнѣ грустно, грустно! И вотъ давно уже ночь, а я все еще не могу сомкнуть своихъ глазъ и не могу взяться за какое-нибудь дѣло.

## 2.

Пословица говоритъ: утро вечера мудренѣе. Такъ или иначе, но въ минувшую ночь я многое перечувствовалъ и многое передумалъ. Отчего жъ и мнѣ неѣхать въ университетъ? Неужели отецъ мой неуважитъ моей справедливой, моей горячей мольбы?... Ну, мой милый Яблочкинъ, примѣръ твой на меня подействовалъ. Конечно! будь что будетъ! Благослови меня, Господи, на честный трудъ. За дѣло, Василий Бѣлозерскій, за дѣло! Наверстыай теперь потерянное за забреньемъ время безсонными ночами! А ты, мой безвязный и прерывчатый дневникъ, бѣдная отрада моей скучи, покойся, впредь до усмотрѣнія. «Покойся, милый практъ, по радостнаго утра...» Приведется ли мнѣ увидѣть въ тебѣ болѣе веселыя строки? . . . . .

24 апреля.

Весна, весна! Зимнія рамы вынуты. Въ моей комнаткѣ, проходя въ окно и упираясь въ подошву стѣны, горить золотая полоса яр-

каго солнца. По стеклу ползеть и жужжить проспавшая всю зиму муха. На дворѣ громко чирикают воробы... но, увы! изъ окна, съ этого прохладного задняго двора, все-таки пахнет навозомъ. Вблизи неѣть ни кусточка зелени. Только у сосѣда, склонивъ надь десчательмъ заборомъ свои гибкія вѣтви, распускается одинокая старая ива.

Занятія мои подвигаются впередъ. Книгъ я прочиталъ много. Перевожу съ французскаго довольно свободно. Разумѣется, всѣмъ этимъ я обязанъ моему безцѣнному Яблочкину, который безпрестанно помогалъ и помогаетъ мнѣ своими советами. Но, какъ онъ, бѣдный, худъ! у него блѣдное, истомленное лицо!

Бѣ батюшкѣ я написалъ, что готовлюсь въ университетъ, что уже достаточно для этого сдѣлалъ. Просилъ у него благословенія на продолженіе начатаго мною дѣла, денегъ на покупку нѣкоторыхъ учебныхъ руководствъ, и на письмо это уронилъ двѣ крупныхъ слезы. Посмотримъ, что оно скажетъ.

1 Мая.

Утромъ ученики ходили къ отцу-ректору просить рекреаціи. Эти рекреаціи существуютъ у насъ съ незапамятныхъ временъ. Въ коридорѣ обыкновенно собираются по одному или по два ученика изъ каждого отдѣленія (классы раздѣляются на два отдѣленія, въ словесности иногда на три) и держать совѣтъ: какъ умнѣе приступить къ дѣлу? Черезъ кого бы узнать,—въ какомъ расположеніи духа находится теперь отецъ-ректоръ? И вотъ какой-нибудь богословъ отправляется развѣдывать, что и какъ, узнаетъ отъ келейника отца-ректора, или отъ другаго близкаго къ нему лица, что все обстоитъ благополучно, что онъ веселъ и кушаетъ теперъ чай. Богословъ съ сияющимъ лицомъ сообщаетъ объ этомъ во всеуслышаніе толпы, и она подвигается впередъ. Богословы, какъ люди, имѣющіе болѣе вѣса, идутъ во главѣ: смиренные словесники образуютъ хвостъ. Отцу-ректору доложили. Онъ вышелъ въ переднюю и съ улыбкою выслушалъ просьбу учениковъ. «Ну, чтѣ? май мѣсяцъ наступилъ, а? Погулять хочется, а? хорошо, хорошо! Не будетъ ли дождя? все разстроится...» Онъ обертывается къ своему келейнику. «Посмотри-ка въ окно. — Небо ясное, отвѣчаетъ келейникъ: дождя, кажется, не будетъ. —

«Позвольте, отецъ-ректоръ, погулять въ рощѣ...» говорить съ поклономъ курчавый богословъ. «Позвольте...» съ поклономъ повторяетъ за нимъ нѣсколько голосовъ. «Ну, чтѣ-жъ. Хорошо, хорошо! Только вы того... въ рощѣ не шумѣть, пѣсень не распѣвать... Вотъ и я приѣду. А мячъ-то есть у васъ, а? и ланта есть?»—Есть, есть,—съ улыбкою отвѣчаютъ ученики. «Ну, ступайте съ Богомъ, погуляйте. Май наступилъ, а? Такъ, такъ! Хорошо!»

Мѣстность, на которой у насъ бываетъ рекреація, довольно живописна. На горѣ зеленѣеть старая дубовая роща. Внизу выгнутыми колѣнами течетъ свѣтлая рѣка. За рѣкою раскидываются луга, блестяще окаймленные камышемъ озера, въ которыхъ лодникъ купаетъ свои зеленые вѣтви. Даѣе, поднимаясь надъ соломенными кровлями сѣрыхъ избушекъ, бѣлѣется каменная церковь. Ярко сверкаетъ на солнцѣ ея позолоченный крестъ и весело блеститъ обитый бѣлоюжестью шпиль. Это пригородное село. За селомъ широко развертываются ровныя, покрытыя молодою рожью, поля; волнистою, необыкновенно скатертью уходять они вдали и сливаются съ синевою безоблачного неба. Подъ рощи, со стороны города, мѣстность совершенно открыта. Подъ ногами песокъ или мелкая трава. Въ сторонѣ тамъ-и-самъ поднимаются кусты и мшистые пни срубленныхъ деревъ, но они такъ далеко, что мячъ, посланный самою сильною и ловкою рукою, никогда до нихъ не долетаетъ и падаетъ на виду. Здѣсь-то и бываетъ у насъ рекреація.

Словесники являются на мѣсто дѣйствія ранѣе всѣхъ, нѣкоторые тотчасъ послѣ обѣда. Къ 4-мъ часамъ пополудни вы видите уже цѣлую толпу, которая разсыпается по всѣмъ направленіямъ, и въ молчаливой доселѣ рощѣ перекликаются громкіе голоса. «Многая лѣта!» гремитъ протяжно въ одномъ концѣ, и эхо отвѣчаетъ въ далекой, темной чащѣ: «лѣта!» «Ахъ», чтѣ-жъ это за раздолье, семинарское житье!...» слышится съ противоположной стороны, и пробужденное эхо снова отвѣчаетъ: «житѣ!» А небо такое безоблачное, такое синее и глубокое. Солнце лѣтаетъ золотомъ на вершины деревъ, по которымъ перелетаютъ испуганные людскими голосами птички. Старые дубы перешептываются другъ съ другомъ и бросаютъ отъ себя узор-

чатую тень. Вотъ одинъ ученикъ становится на избранное мѣсто, лѣвою рукою подбрасываетъ слегка мячъ и ударяетъ по немъ со всего размаха увѣистою лаптою. «Лови!» кричитъ онъ своимъ товарищамъ, которые стоять отъ него сажень на сто. Нѣсколько ловцовъ бросаются на полетъ мяча, который, описавъ въ синемъ небѣ громадную дугу, быстро опускается внизъ. «Поймаемъ!» отвѣчаетъ голо-остриженная голова, поднимая на бѣгу свои руки, и... мячъ падаетъ за его спину. «Эхъ, ты розиня!» упрекаютъ его сзади: «и тутъ-то не умѣль поймать». — «Чортъ его знаетъ! Мячъ вѣрно легокъ: его относить вѣтромъ». Направо, между кустами, краснѣется рубаха молодого парня, который, въ ожиданіи поживы, явился сюда изъ города съ кадкою мороженаго. Его низенькая шляпенка надѣта на бекренъ. За поясомъ виситъ мѣдный гребешокъ и бѣлое полотенце. Парня окружаютъ ученики. «А ну-ка, братъ, давай на колѣйку серебромъ. Да ты накладывай верхомъ... скучъ ужъ очень...» — Кваску, кваску! и торопливо подошедшій квасникъ бойко снимаетъ съ своей головы наполненную бутылками кадку и утираетъ грязнымъ платкомъ свое разгорѣвшееся, облитое потомъ лицо. Число играющихъ въ мячъ постепенно увеличивается и раздѣляется на нѣсколько кружковъ, каждый съ своею лаптою и своимъ мячемъ. Но вотъ на дорогѣ сопровождаемый облакомъ сѣрой пыли показался знакомый намъ экипажъ. Его неуклюжій кузовъ, чѣ-то среднее между коляскою и бричкою, неровно качался на высокихъ, грубой работы рессорахъ. Это былъ экипажъ отца-ректора. Плечистый, бородатый кучерь, крѣпко натянувъ ременные возжи, едва удерживалъ широкогрудыхъ вороныхъ, которые, съ пѣною на удилахъ, быстро неслись по отлогой равнинѣ. На запяткахъ, при всякомъ толчкѣ колеса, подпрыгивалъ бѣлокурый богословъ, любимецъ отца-ректора, бездарнѣйшее существо. Онъ впрочемъ добрый малый и не ханжа, чтѣ въ его положеніи большая рѣдкость. Позади, на трехъ дрожжахъ,ѣхали профессора. Отецъ-ректоръ вышелъ изъ экипажа, опираясь на руку своего любимца, который откинулся ему подножку, и направился къ ближайшей группѣ учениковъ. Профессора сѣдовали за нимъ въ почтительномъ разстояніи. «Ну, чѣ? играете, а? Играете? Это хорошо. Вотъ и деревья тутъ есть, и травка

есть... такъ, такъ. Играйте себѣ,—это ничего». Онъ обернулся съ улыбкою къ профессорамъ: «Развѣ подать имъ примѣръ, а? Примѣръ подать?—Удостойте ихъ... это не мѣшаетъ...—отвѣчало нѣсколько голосовъ. «Хорошо, хорошо! Давайте лапту». Кто-то изъ учениковъ бросился за лежавшею въ сторонѣ лаптой и такъ усердно торопился вручить ее своему начальнику, что, разбѣжавшись, чуть не сбилъ его съ ногъ. «Радъ, вѣрно, а? Ну, ничего, ничего...» сказали начальникъ и взять лапту. «Извольте бить. Я подброшу мячъ!» сказали одинъ изъ профессоровъ, и мячъ былъ подброшенъ. Послѣдовалъ неловкій ударъ—промахъ! другой—опять промахъ! Въ третій разъ лапта ударила по мячу, но такъ неискусно, что онъ принялъ косое направление, полетѣль внизъ, сдѣлавъ нѣсколько безтолковыхъ прыжковъ и успокоился на желтомъ пескѣ. «Нѣть, нѣть! вы мячъ нехорошо подбрасываете, нехорошо... А бить я могу, право, могу».—Не угодно-ли еще попробовать? отвѣчалъ профессоръ.—«Нѣть, что-жъ... пусть молодежь играетъ. Мы лучше походимъ по рощѣ. Играйте, дѣти, играйте...» и вмѣстѣ съ профессорами онъ скоро скрылся за стволами старыхъ дубовъ. «Многая лѣта!» грянула въ рощѣ чей-то басъ, и опять отвѣчало эхо: «лѣта!» Это непремѣнно Поповъ ореть... экое горло! Достанется ему за это», замѣтилъ стоявшій подлѣ меня ученикъ: «побѣгу его предупредить...» И смѣтливый, добрый товарищъ полетѣлъ, какъ стрѣла, въ ту сторсну, откуда пронесся звукъ знакомый его слуху. Кучеръ одного изъ профессоровъ, переваливаясь съ боку на бокъ и загребая песокъ своими пудовыми сапогами, лѣниво шелъ къ опушкѣ рощи. Въ рукахъ онъ держалъ завернутый въ бѣлую скатерь самоваръ и большой кулекъ съ закусками. Ученики продолжали игру въ мячъ, бѣгали въ запуски, хотели, спотыкались и падали, стараясь другъ - друга посланить \*), и, за неимѣніемъ лучшаго, находили во всемъ этомъ большое удовольствіе. Съ наступленіемъ сумерокъ усталая толпа побрела въ раз-

\* ) *Посалить* — ударить. Ударившій лаптой мячъ бѣжитъ въ сторону, поймавшій его, или просто поднявшій съ земли, наносить бѣглцу ударъ во что придется,—это и называется *посалить*. Случается, что подъ этотъ ударъ подвертывается и какой-нибудь профессоръ.

ных стороны домой. Яблочкина на рекреаций не было. Въ эти дни онъ особенно жаловался на боль въ своей груди.

Яблочкинъ лежитъ въ больницѣ. Докторъ сказаль, что жить ему остается недолго. Кажется немного сказано, но... нѣтъ я не могу продолжать! Наконецъ и моя крѣпкая натура не выдержала. Черною кровью облилось мое бѣдное сердце, и сижу я, поникнувъ головой, и плачу, какъ ребенокъ. Жить ему остается недолго.. Зачѣмъ я не могу отогнать отъ себя этой мысли? Нѣтъ, я не долженъ ее отгонять! Я быль бы не человѣкъ, если бы позабылъ скоро это нежданное, неисправимое горе. Дитя, начавшее лепетать, дитя, страстно привязанное къ своей матери и брошенное ею въ темномъ лѣсу, не можетъ такъ плакать, какъ я теперь плачу. Оно не можетъ такъ ясно понять свое безнамощное положеніе, сознать и представить себѣ весь ужасъ своего одиночества, какъ я теперь все это сознаю и понимаю. Вѣдь, Яблочкинъ—моя нравственная опора! Это — свѣть, который сиять передо мною во мракѣ, свѣть, за которымъ я подвигался впередъ по моей тяжелой и узкой тропѣ. Это—любовь, которая вѣяла на мою душу всѣмъ, что есть на землѣ прекраснаго и благороднаго.. Господи! какъ же мнѣ не плакать!

Вотъ, что вчера случилось: Яблочкинъ уже давно подалъ прощеніе и на дніяхъ долженъ быль получить увольненіе изъ духовнаго званія. Эта мысль заставила его держать себя нѣсколько независимѣко всѣмъ его окружающими. Вчера, во время перемѣны классовъ, онъ закурилъ въ коридорѣ папиросу и стоялъ, облокотившись рукою на перила лѣстницы, которая ведеть въ комнаты инспектора. Меня тамъ не было. Говорятъ, что инспекторъ его увидалъ и позвалъ къ себѣ. Черезъ четверть часа Яблочкинъ вышелъ отъ него блѣдный, какъ полотно. «Принеси мнѣ, ради Бога, немножко воды»... сказаль онъ первому попавшему ему на глаза товарищу и прислонился головою къ стѣнѣ, и все кашлялъ, кашлялъ, наконецъ ноги его подкосились, изъ горла показалась кровь. Его взяли подъ руки и отвели въ больницу.

Я узналъ объ этомъ только сегодня, попросилъ у Федора Федоровича позволеніе оставить классъ и бросился къ моему другу. Онъ лежалъ на краю кровати въ бѣлой рубашкѣ. Ноги его были прикрыты сѣ-

рымъ суконнымъ одѣяломъ. Глаза смотрѣли печально и тускло. Бѣлокурые волосы въ беспорядкѣ падали на блѣдный лобъ.

«Здравствуй, Вася! Вотъ я в боленъ...» сказалъ онъ, усиливаясь улыбнуться, и медленно протянулъ ко мнѣ свою ослабѣвшую руку. Голосъ его звучалъ какъ разбитый.

— Чѣмъ такое! Богъ дастъ, выздоровѣешь, отвѣчалъ я, чувствуя, что слезы подступали къ моимъ глазамъ, и сознавая, что говорю глупость. Я давно подозрѣвалъ въ немъ чахотку и рѣшительно не зналъ, чѣмъ сказать ему въ утѣшеніе. А развлечь его чѣмъ нибудь я не умѣль, и къ чему? Яблочкинъ безконечно умнѣе меня и навѣрное лучше всѣхъ знаетъ свое положеніе. Мы молчали. Въ комнатѣ лежало нѣсколько больныхъ. Одинъ изъ нихъ, съ пластыремъ на ногѣ, читалъ вслухъ «Выходъ Сатаны» и громко смѣялся. На прощахъ и вообще на обстановку больницы я не обратилъ вниманія: не до того мнѣ было.

Яблочкинъ поднялъ на меня свои грустные глаза: «У меня уже три раза шла горломъ кровь», и снова опустилъ свою голову и о чѣмъ-то задумался. Я хотѣлъ было остановить этого дурака, хохотавшаго за книгою, но побоялся, что онъ заведеть со мною какой-нибудь пошлый, грубый споръ и потревожить этимъ моего больнаго друга, и потому оставилъ свое намѣреніе.

Вошелъ докторъ, добрый и умный старикъ, котораго, за исключеніемъ наставниковъ, уважаетъ и любить вся семинарія. Онъ поспѣшалъ у Яблочкина пульсъ. Больной поднялъ на него вопросительный взглядъ. «Ничего, молодой человѣкъ. Все пройдетъ! бросьте на нѣкоторое время свои занятія,—и будете молодцомъ». Онъ чѣмъ-то ему прописалъ и отдалъ рецептъ фельдшеру. «Чѣмъ прописано?» спросилъ я у послѣдняго. «Лавро-вишневыя капли». Лѣкарство самое невинное, подумалъ я: видно, нѣть никакой надежды. Докторъ сталъ осматривать другихъ больныхъ и, проходя мимо меня, уронилъ свою перчатку. Давъ ему время удалиться въ сторону, я поднялъ ее и, приблизившись къ нему, едва слышно сказалъ, указывая глазами на Яблочкина: «позвольте узнать, каково положеніе вонъ этого больнаго?» — «Ему жить недолго, отвѣчалъ онъ, принимая отъ меня перчатку и

слегка кивая мнѣ головой. Организмъ его слишкомъ истощенъ, да кромѣ того, вѣроятно, съ нимъ было какое-то потрясеніе... — «Чтѣ тебѣ говорилъ докторъ?» спросилъ меня Яблочкинъ, внимательно всматриваюсь въ выраженіе моего лица, которое измѣняло моему спокойному голосу. «Говорить, отвѣчалъ я, что болѣзнь твоя не опасна... — «Соглашь ты, Вася, да все равно... Зайди, душа моя, на мою квартиру и попроси старушку, чтобы она прислала мнѣ немножко чаю и сахару. Бѣть я ничего не хочу; все пить хочется. А ты будешь меня провѣдывать?»

«Буду, буду...» отвѣчалъ я и спѣшилъ отвернуться, чтобы скрыть отъ него текущія по щекамъ моимъ слезы.

## 16.

Болѣзнь Яблочкина развивается быстро. Онъ едва, едва поднимаеть отъ подушки свою голову. Сегодня я поилъ его чаемъ изъ своихъ рукъ. Бѣдняга шутилъ, называя меня своею нянею. «Только, говорилъ онъ, ты не смотри такъ тоскливо; больные не любятъ печальныхъ лицъ. Видишь, здѣсь и безъ того не весело». Онъ указалъ мнѣ на грязный полъ, на мрачныя, Богъ вѣсть когда, покрытыя зеленою краскою стѣны и на тусклыя, засиженныя мухами, окна.

Я получилъ отъ батюшки письмо. «Ты, пишеть онъ, со мною не шути! (Эти слова имъ подчеркнуты). Какъ я ни добръ, но исполнять твоихъ прихотей не стану. И никогда тебѣ не дамъ моего родительскаго благословеніяѣхать въ университетъ. Какой дуракъ внушилъ тебѣ эту мысль, и чѣмъ ты нашелъ въ ней хорошаго? Я тебѣ скажу: ты долженъ пребывать въ томъ званіи... и такъ далѣе, и такъ далѣе... Батюшка, батюшка! Ты говоришь: призванъ... А если, у меня недостаетъ силъ на исполненіе моего святаго долга? Если, по чему бы то ни было, я утрачу сознаніе своего высокаго назначенія, заглохну и окаменѣю въ окружающей меня горькой средѣ? Чей голосъ тогда меня ободритъ? Чья рука меня подниметъ? На чью голову ложить отвѣтственность за мои проступки?... Я не могу ни за чѣмъ взяться: голова моя идетъ кругомъ. Между-тѣмъ у насъ начались повторенія къ годовому экзамену. Что со мною будетъ, не знаю.

## 23.

«Тебя зоветъ Яблочкинъ», сказаъ мнѣ фельдшеръ, вызвавъ меня

изъ класса: «иди скорѣе...» Сердце мое дрогнуло, я побѣжалъ въ больницу и осторожно подошелъ къ постели больнаго.

«Ты здѣсь?» сказаль онъ, открывая свои впалые глаза, подъ которыми образовались синіе круги. «Умираю, Вася... все кончено!» Онъ хотѣлъ протянуть мнѣ свою руку, но безсильная рука, какъ птица, упала на постель. Я сѣлъ подай него на табуретку. Въ комнатѣ была тишина. Пасмурный день слабо освѣщалъ ея мрачныя стѣны. На дворѣ шелъ дождь; его крупныя капли, заносимыя вѣтромъ, звонко ударялись объ стекла. Яблочкинъ дышалъ тяжело и неровно.

«Коротка была, сказаль онъ, моя жизнь, и эта бѣдная жизнь обрывается съ самую лучшую пору, какъ не допѣтая пѣсня на самомъ задушевномъ стихѣ. Прощай, университетъ! Прощай, мои молчаливые друзья, мои дорогія, любимыя книги!.. Ахъ, какъ мнѣ тяжело!.. Дай мнѣ, Вася, свою руку...»

Я понялъ, что приближается страшная минута.

«Другъ мой», сказаль я, не удерживая болѣе своихъ слезъ и тихо пожимая его холодные пальцы: «теперь тебѣ не время думать о земномъ. Видно такъ угодно Богу, что выпадаетъ намъ та или другая доля. Его бесконечная любовь имѣть свои цѣли...»

«Помоги мнѣ сѣсть». Я поднялъ его и подложилъ ему сзади подушку.

«Хорошо», сказаль онъ: «спасибо... Вася, Вася! У меня нѣть даже матери, которой я послалъ бы свой прощальный вздохъ. Я круглый сирота! На что мнѣ они—эти лица, которыхъ меня здѣсь окружаютъ? Какая у меня сть ними связь?»

— А развѣ я тебя не люблю? развѣ я не буду тебя помнить и за тебя молиться?

«Я знаю, знаю. У тебя добрая душа...» Голова его была свѣшена на грудь, неопределенный взглядъ устремленъ въ сторону. Онъ говорилъ:

Чиста моя вѣра,  
Какъ пламя молитвы,  
Но, Боже! и вѣрѣ  
Могила темна...

— Алеша! другъ мой! сказаль я: зачѣмъ это сомнѣніе?

Онъ посмотрѣлъ на меня задумчиво. «Что ты сказалъ?»

— Зачемъ это сомнѣніе? повторилъ я.

«Это такъ. Грустно мнѣ, мой милый! Слышишь, какъ шумитъ вѣтеръ? Это онъ поетъ мнѣ похоронную пѣсню... Скажи моей доброй старушкѣ, что я ее любилъ и за все ей благодаренъ. То же скажи ея сыну. Пусть онъ учится. Тебѣ я дарю всѣ мои книги и тетрадки. Ахъ, какъ мнѣ грустно!.. Дай мнѣ карандашъ и клочокъ бумаги». У меня было въ карманѣ то и другое, и я ему подалъ и положилъ на его колѣни какую-то попавшуюся мнѣ подъ руки книгу, чтобы ему удобнѣе было писать. Онъ сталъ неразборчиво и медленно водить карандашемъ. Послѣ пяти или шести написанныхъ имъ строкъ на бумагу упала съ его рѣчицы крупная слеза. Больной отдохнулъ немного и снова взялся за карандашъ.

«Усталъ я... сказалъ онъ, прикладывая ко лбу свою руку. «Возьми себѣ это на память о моихъ послѣднихъ минутахъ. Прочтешь дома».

— Спасибо тебѣ, отвѣчалъ я и положилъ бумагу въ карманъ.

Вдругъ Яблочкинъ вздрогнулъ и остановилъ на мнѣ испуганный взглядъ.

«Кто это сюда вошелъ? Выгони его!»

— Здѣсь никого нѣть, мой милый.—Я сѣлъ къ нему на кровать и обнялъ его одною рукою.—Здѣсь никого нѣть...

«Какъ нѣть? Видишь, стоять весь въ черномъ... выгони его!» Большой дрожалъ съ головы до ногъ. Я всталъ, прошелся до двери и снова сѣлъ на свое мѣсто. «Я его вывелъ», сказалъ я.

«Ну, хорошо». Яблочкинъ положилъ ко мнѣ на плечо свою голову. Бредъ его усиливался.

«Горитъ!...» вдругъ онъ крикнулъ во весь голосъ и протянулъ впередъ свои исхудалыя руки. «Спасите!...»

— Чѣмъ ты, чѣмъ ты? успокойся!.. отвѣчалъ я, прижимая его къ своей груди.

«Стѣны горятъ... Мнѣ душно въ этихъ стѣнахъ!.. Спасите!»

— Опомнишь, опомнишь, говорилъ я, и грудь моя надрывалась отъ рыданій.—Здѣсь все мирно. И чужихъ здѣсь никого нѣть. Это я сижу съ тобою, я — Василій Бѣлозерскій, другъ твой, готовый за тебя лечь въ могилу.

Дыханіе Яблочкина становилось все тише и тише. Руки холодѣли, и глаза приняли болѣе опредѣленное выраженіе.

«Это ты, Вася?»

— Я, мой милый.

«Ступай въ университетъ, а здѣсь...»

Голова его упала ко мнѣ на плечо. Я послушалъ,—не дышать!.. И тихо я опустилъ его на подушку, перекрестилъ, закрылъ ему глаза и склонился на колѣни у изголовія его кровати. И долго, долго, текли изъ глазъ моихъ горькія слезы.

Вотъ чтѣ онъ написалъ мнѣ на память:

Вырыта заступомъ яма глубокая.

Жизнь невеселая, жизнь одинокая,  
Жизнь безпріютная, жизнь терпѣливая,  
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая—  
Горько она, моя бѣдная, шла  
И, какъ степной огонекъ, замерла.

Чтѣ-же? Усни, моя доля суровая!  
Крѣпко закроется крышка сосновая,  
Плотно сырью землею придавится,  
Только однимъ человѣкомъ убавится...  
Убыль его никому не больна,  
Память о немъ никому не нужна!..

Вотъ она—слышится пѣснь беззаботная,—  
Гостиья погоста, пѣвунья залетная,  
Въ воздухѣ синемъ на волѣ купается:  
Звонкая пѣснь серебромъ разсыпается...  
Таше!.. О жизни поконченъ вопросъ,—  
Больше не нужно ни пѣсенъ, ни слезъ!

24 Августа.

Сейчасъ между моими учебными книгами мнѣ попался случайно забытый мой дневникъ. Первою мою мыслю было сжечь эти страницы, напоминавшія мнѣ столько горькаго. Но когда я пробѣжалъ нѣсколько строкъ, когда подумалъ, что въ нихъ положена часть моей жизни.— рука моя не поднялась на истребленіе этой бѣдной измятой тетради. Многое протекло времени съ той минуты, когда умеръ мой незабвен-

ный Яблочкинъ. Этотъ человѣкъ имѣлъ на меня непостижимое вліяніе. Онъ заставлялъ меня жить напряженною, почти поэтическою жизнью. Умолкли его огненные рѣчи, положили его въ могилу, и кажется, навсегда улетѣла отъ меня поэзія моей внутренней, духовной жизни. Все пришло въ обыкновенный порядокъ: мечты мои остали, желанія не переходять за извѣстную черту. Успокойся! сказалъ я своему сердцу,—и оно успокоилось. Только на лбу у меня осталась рѣзкая морщина, только голова моя клонится теперь ниже прежняго.

Въ домѣ у насъ не весело. Поля выжжены палящимъ зноемъ; всѣ хлѣба пропали. Неурожай въполномъ смыслѣ этого слова. По улицѣ не скрипятъ, какъ бывало, съ снопами воза. При вечерней зарѣ никто не поетъ беззаботной пѣсни. Батюшка ходить печальный и угрюмый.

По пріѣздѣ моемъ сюда, я заговорилъ съ пимъ о моемъ намѣреніи поступить въ университетъ. «Видишъ?» сказалъ онъ, указывая мнѣ на обнаженный поля и на пустое наше гумно. «А до будущаго урожая еще далеко. Пожалуйста, не серди меня пустяками: безъ тебя тошно...»

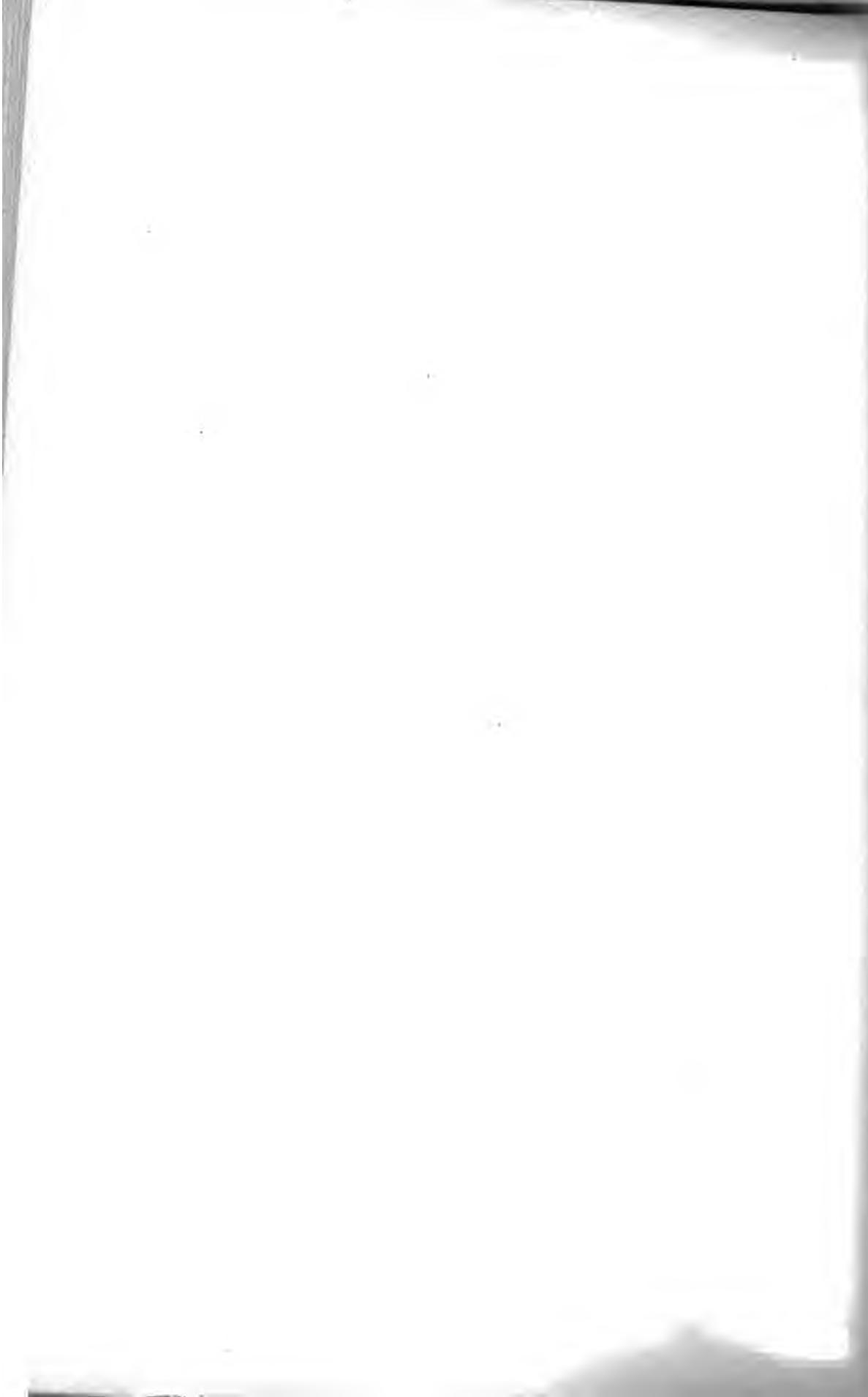
Переводный экзаменъ въ Богословіе я выдержалъ не совсѣмъ хорошо. Вдругъ, послѣ смерти Яблочкина, мнѣ трудно было взяться за дѣло. Батюшка остался мною недоволенъ. «Жилъ ты, говорить, подъ надзоромъ профессора и едва удержался въ первомъ разрядѣ». Однакожъ я переведенъ. Прощеніе мое съ Федоромъ Федоровичемъ, у которого жить болѣе я уже не буду, было довольно холодно. Онъ, конечно, ожидалъ отъ меня глубочайшей благодарности за всѣ его заботы о моихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ, но благодарить его, право, не стоило.

Моя будущая судьба теперь окончательно опредѣлилась. Пройдутъ еще два года трудовой однообразной жизни, и я приму на себя званіе духовнаго врача. Видеть Богъ, намѣренія мои всегда были чисты. Если я заблуждался, мечтая о другой дорогѣ, забаужденіе мое было безкорыстно, мысль не заходила далеко и...

Я слышу голосъ батюшки, который зоветъ меня заплетать плетень, говоря: «все равно—ты сидишь безъ дѣла».

Довольно! Дневникъ мой оконченъ.

## ПРИМЪЧАНІЯ КЪ СТИХОТВОРЕНІЯМЪ.



**1** — Стихотворение это напечатано было въ «Отеч. Запискахъ» 1857 г. № 2, подъ названиемъ «Прогулка» (отрывокъ), — и, вмѣсто послѣдникъ пяти стиховъ, оканчивалось такъ:

Путь къ дому мѣсяцъ мнѣ укажетъ...  
Я знаю, что меня тамъ ждетъ,  
Что камнемъ на сердцѣ мнѣ ляжетъ...  
Какъ мраченъ дикий борь стоять,  
Какъ листъ болѣзнино дрожитъ!  
Мой врагъ и тутъ не разстается —  
Забота вѣчная со мной...  
Пришла, пугаетъ и смѣется,  
И гонить на горе домой.

**2** — Вотъ первая редакція этого стихотворенія:

Новой жизни заря —  
И тепло и свѣтло:  
О добрѣ говоримъ,  
Негодуемъ на зло.

Раздаются, растуть  
Золотыя слова.  
Засыхай-пропадай  
Ты, худая трава.

Дождался ты, порокъ,  
Приговора-суда,  
Не уйдешь ты теперь  
Отъ клейма, отъ стыда...

Полно, такъ-ли, друзъ?  
Не притихъ-ли онъ гдѣ?  
Не взялся-ли ловить  
Рыбу въ мутной водѣ?

Гдѣ-жъ вы, слуги добра?  
Выходите впередъ,  
Подавайте примѣръ!  
Поучайте народъ!

Нашъ разумный порывъ,  
Нашу честную рѣчь  
Надо въ кровь претворить.  
Надо плотью облечь.

Надо твердой ногой  
Новый путь проложить,  
Да всѣ силы на немъ,  
Да весь умъ положить.

Какъ повѣрить словамъ, —  
Чудеса настаютъ,  
Прозираютъ слѣпцы  
И больные встаютъ.

Какъ приходить пора  
Трудъ тяжелый подъять, —  
Начинать нашъ жаръ  
Остывать, потухать;

Тутъ и робость найдетъ,  
Тутъ и лѣнь, и дрема, —  
У разумныхъ головъ  
Нѣть ни силь, ни ума!

**3** — Въ «Рус. Бесѣдѣ», 1858 г., № IV, это стихотвореніе, названное «Ночь», имѣеть такой варіантъ:

Звѣзды сыплются. Ткань облаковъ  
Серебрится при лунныхъ лучахъ;  
Ночь глядить изъ-за старыхъ дубовъ.  
Свѣтъ игретъ на сонныхъ листахъ.  
Синій воздухъ волнами плыветь,  
Онъ прохладенъ, и свѣжъ, и душистъ;  
Ухо слышитъ, едва упадеть  
Наѣкомъ подточенный листъ.  
Подъ кустомъ въ травѣ искра горитъ,  
Чей-то свистъ замираетъ вдали,  
Кто-то въ чащѣ весь въ бѣломъ стоять...  
Сказки дѣтства на умъ мнѣ пришли.  
Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ  
У тебя милый очеркъ лица!  
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,  
Я бъ пролилъ безъ конца, безъ конца...

**4** — Стихотвореніе это имѣеть большой біографической интересъ. Оно написано (въ 1858 г.) по поводу обвиненія Никитина въ сочиненіи пасквиля на одно значительное лицо. Случай этотъ подробно разсказанъ въ біографіи поэта, и хотя онъ въ основаніи своеемъ имѣль комическую подкладку, но не надобно забывать, что тогда Никитинъ былъ еще *безправнымъ мѣщаниномъ*. Купеческія права онъ пріобрѣль только съ открытиемъ книжного магазина, въ 1859 году.

**5** — Вотъ первоначальная, неизданная редакція этого стихотворенія:

### РАДОСТЬ и КРУЧИНА

Ахъ, у радости быстрыя крылья,  
Золотыя да яркія перья!  
Навѣстить она,—ночь просіяеть,  
Полумертвый встаетъ-оживаетъ!

Мудрено съ нею, рѣзвую, ладить:  
Косо взглянешь,—она испугалась;  
Полетить,—и стрѣлой не догонишь,  
Призывай-умоляй,—не воротишь.

Тяжела, чернѣй тучи кручина:  
Подойдеть,—бѣлый свѣтъ помутится;  
Прогонять,—непослушная злѣть,  
Съ нею жить—богатырь захирѣть.

Нападеть она—сердце измучить,  
Изожжетъ огонькомъ·невидимкой  
Не залить его крупной слезою:  
Онъ замреть подъ доской гробовою...

**6** —Это стихотвореніе, читанное 9 апрѣля 1860 г. на литературномъ вечерѣ, данномъ въ пользу литературнаго фонда, тогда только что открытаго въ Петербургѣ, направлено противъ поэта Некрасова.

**7** —По поводу этого стихотворенія вотъ что говоритъ самъ Никитинъ въ письмѣ къ Второму (26 декаб. 1860 г.): «*Портной*»—это фактъ, случившійся на дняхъ.—Я зналъ его лично; но я, къ сожалѣнію, не зналъ о его страшномъ положеніи. Вотъ что бываетъ на свѣтѣ, а нашъ братъ еще смѣеть жаловаться!» Портной этотъ—Тюринъ—находился въ сватовствѣ съ Никитинымъ и былъ послѣ смерти похороненъ имъ на свой счетъ. Дочь портного, Екатерина, по духовному завѣщанію Никитина, получила сороковую часть его имущества, т. е., 191 р. 62 к.

**8** —Читано на литературномъ вечерѣ, въ залѣ Дворянскаго собранія, 9-го апрѣля, 1861 г. Это—послѣднее произведеніе Никитина, напечатанное уже послѣ его смерти.

**9** —Надъ поэмой «*Кулакъ*» Никитинъ трудился почти два года (съ октября 1854 г. по сентябрь 1856 г.). Такая продолжительность работы объясняется, съ одной стороны, самыемъ содержаніемъ поэмы—необходимостію изображенія бытовыхъ картинъ и обрисовки характеровъ дѣйствующихъ въ этой піесѣ лицъ; съ другой стороны, и тогдашнее положеніе Никитина, какъ поэта только начинающаго, еще не опредѣлившагося, вызывало его на эту продолжительность въ работѣ. Кромѣ того, не надобно забывать, что Никитинъ въ это время былъ еще подъ сильнымъ эстетическимъ вліяніемъ своихъ друзей (изъ кружка Второва), которые вызывали его на частыя передѣлки, наконецъ, ему надоѣвшія, какъ это видно изъ письма поэта къ Второму отъ 2 августа 1857 года (См. I томъ, біограф., стр. 54). Что касается до друзей, то, независимо отъ ихъ расположенія къ Никитину и отъ ихъ ревности къ его добруму авторскому имени, суетливость ихъ критики и настойчивость ихъ совѣтовъ очень много зависѣли отъ того вліянія, которое производила тогда въ нашемъ обра-

зованнымъ обществѣ комедія Островскаго «Свои люди,— сочтемся!» такъ какъ Никитинъ въ своемъ «Кулакѣ» изображалъ почти тотъ-же быть, что и нашъ знаменитый драматургъ въ первой своей комедіи; поэтому друзьямъ Никитина, какъ-бы сами собою, являлись такія параллели, какъ между Таракановымъ и Подхалузиномъ, между Сашей и Липочкой. «Кулакъ» имѣлъ три редакціи, кромѣ небольшихъ передѣлокъ. Въ нижеслѣдующихъ примѣчаніяхъ приводимъ варианты изъ второй редакціи «Кулака», въ которыхъ находятся нѣкоторыя новыя черты для характеристики «Саши», геронни поэмы.

**10** — „Охъ, Саша! То-то вотъ сокруха!  
Сказала мать: пусть я, старуха,  
Не вижу краснаго денька  
Ты горюешь...“

— Будетъ горько:  
И всходить и заходитъ зорька, —  
Кто весель, кто въ постели спить,  
А у меня смола кипить  
На сердцѣ...

„Вѣдомо, что жалко  
И тяжело: столяръ-сосѣль  
Женихъ хорошій, слова нѣть,  
Къ тебѣ привыкъ... Да, вѣрно, палкой  
Намъ старика не понуждать;  
Виши тянетъ дѣло!“

— Срамъ сказать:  
Три раза сваха приходила,  
Отвѣта батюшки просила;  
Все отвѣчаетъ: погоди,  
Подумаю, на-дняхъ приди.  
Ужъ видно мнѣ такая доля! —  
„Дружочекъ мой! моя-ли воля?  
Просила честью, умоляла,  
Сосѣль, моль, трезвый, молодецъ,  
Ты знаешь самъ его съ-измала,—  
Смѣшаетъ съ грязью,—и конецъ!“

**11** — Огарокъ сальный потушенъ  
Лукичъ храпѣль. Но все силѣли  
И мать и лочь въ саду густомъ,  
И звѣзды трепетнымъ огнемъ

Надъ головами ихъ горѣли.  
Вокругъ, подъ зеленью кустовъ,  
Вершины сонныхъ деревьевъ  
Кудрями черными висѣли.  
Среди глубокой тишины,  
Лишь гостиya робкая весны,  
На вѣткѣ вздрагивала птичка,  
Или порою по дворамъ,  
Разсвѣта вѣсть, и тамъ-и-самъ  
У пѣтуховъ шла перекличка.  
Но въ чащѣ хмурилася ночь,  
Смотря, какъ плачетъ мать и дочь.

„Зарей я зябнуть начинаю,  
Старушка молвила, кряхтя:  
Старикъ хранить теперь, я чаю...  
Вставай пойдемъ, мое дитя!  
Вотъ мы его поутру спросимъ,  
За что мы горе переносимъ...“

Веселый день сияль давно.  
Въ душистый садъ открывъ окно,  
Старушка варежку вязала  
И воздухъ утренний вдыхала  
Въ большую грудь. А самоваръ,  
Подъ потолокъ пуская паръ,  
При свѣтѣ солнца красовался  
И, грѣя чайникъ, потѣшался:  
То, какъ рабочая пчела,  
Жужжалъ, на мигъ не умолкая,  
То, словно жукъ, гудѣлъ баскомъ.  
Поспѣшио чашки вытирая,  
Сидѣла Саша за столомъ.

## 12

— „Я никогда изъ вашей воли  
Не выхожу. Теперь не въ мочь!  
За чтѣ свою родную дочь  
Вы губите?“

— Да ты въ умѣ-ли?  
Ты съ кѣмъ изволишь разсуждать? —  
„Простите!.. Рада-бы я молчать, —  
На сердцѣ слезы накипѣли!  
Вы принимали столяра,  
Какъ сына. Вы ли не видали,  
Какъ мы другъ къ другу привыкали?“  
— Теперь раздумалъ, — и поди!

Отнынѣ моего порога  
Не смѣй онъ знать! Виши рѣчъ нашла!

13

Ихъ раздѣляла дверь одна.  
„Смотрушки завтра... Ночь осталась...  
Наряжать, выведутъ, а тамъ...“  
И кровь ей въ голову бросалась;  
„Нѣтъ, лучше умереть! къ моимъ слезамъ  
Не будетъ жалости“.

На пыпочкахъ переступая,  
Она прокралась по сѣнямъ  
Къ крылечку шаткому, а тамъ  
Въ зеленый садъ.

Въ саду жужжанье,  
Веселый свистъ и пискотня,  
Чиликанье и щебетанье.  
Бурьянъ разросся у плетня;  
По яркой зелени сирени  
Перебѣгаютъ свѣтъ и тѣни;  
Приподнялся сквозной стѣной  
Межъ яблонь вишненникъ густой.  
Вонь стволъ березы серебрится,  
Она прямая и высока,  
Отъ вѣтра шапка шевелится  
И вдоль протянута рука.  
И туть, и тамъ поникли ивы;  
Кругомъ трава, цветы,  
Дорожекъ узкие извины,  
На нихъ поблеклые листы.

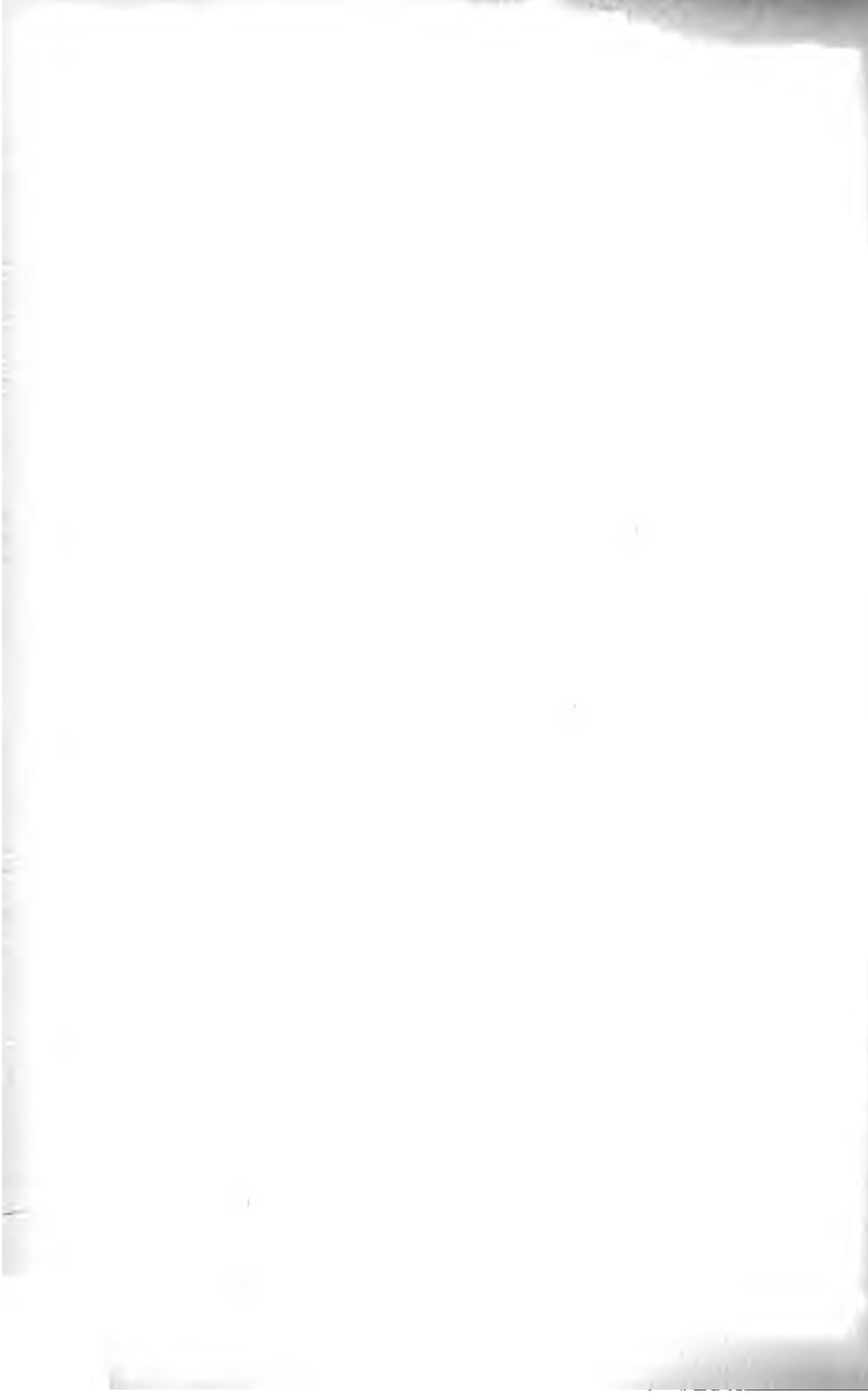
14

Печально Саша покидала  
Свой домъ. Одѣтая къ вѣнцу,  
Въ цветахъ безъ слезъ она рыдала  
И въ ноги бросилась къ отцу:  
„Простите! Можетъ, я грубила!...“  
— Прости меня! — отецъ сказалъ  
И крѣпко дочь поцѣловалъ.  
Старушка Сашу обнимала:  
„Дитя мое! Господь съ тобой!  
Будь счастлива въ семье чужой!“  
Роняя слезы, поправляла  
Повязку и цветы на ней, —  
И лара вороныхъ коней  
Невѣсту со двора умчала.



# ПРИЛОЖЕНИЯ.

*Приложения къ соч. И. С. Никитина. Т. II.*



I.

## КУЛАКЪ.

(въ первоначальномъ видѣ).



## КУЛАКЪ.

(ВЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМЪ ВИДѢ).

I \*).



адится солнце. Тучъ громада  
Покрыта краской золотой.  
Рѣка зардѣлась. Жаръ дневной  
Смѣняетъ вечера прохлада.  
Вдоль гати тянется обозъ,  
Пестрѣютъ сѣно и солома,  
Рубахи, шапки... У парома  
И шумъ, и крикъ за перевозъ.  
Кругомъ безлюдье. Свѣтлой сталью  
Блеститъ, заснувшая въ тиши,

\*) Картина города, которою начинается поэма (во всѣхъ трехъ редакціяхъ), принадлежитъ Воронежу, одному изъ живописнѣйшихъ губернскихъ городовъ Россіи. Видъ на городъ съ юго-восточной его части великолѣпный: городъ раскинулся по горамъ, у подошвы которыхъ широкою лентою извиивается рѣка Воронежъ, образующая небольшие острова на всемъ двухверстномъ протяженіи между городомъ и слободою *Придачей*. На одномъ изъ этихъ острововъ, подъ самымъ городомъ, по лѣвой сторонѣ отъ моста, возвышается двухъ-этажное зданіе, такъ называемый *Цейхаузъ*, — един-

Вода озеръ; сквозь камыши,  
 Идутъ луга зеленой гладью;  
 За ними поле разлеглось,  
 Краями въ небо уперлось.  
 Вотъ глушь-то наша, глушь родная!  
 Въ поляхъ просторъ, чтò дымъ туманъ...  
 Въ туманѣ лѣсь, село, курганъ,  
 Березка, тучка дождевая,  
 Дорога, нива да трава,  
 Небесъ пожаръ и синева.

И ты, рѣка, давно знакома...  
 Бывало, вырвешься изъ дома —  
 Скорѣй сюда! Прилегъ въ траву,  
 И снятся дивы на яву....  
 Тамъ коршунъ плылъ подъ облаками —  
 И словно замеръ въ тишинѣ;  
 А тутъ въ прозрачной глубинѣ  
 Ракиты шевелятъ листами,  
 Макушками всѣ внизъ растутъ;  
 Мартышки, ласточки снуютъ...  
 И съ золочеными крестами  
 Повисли церкви... Рай земной!  
 Вдругъ слышишь шумъ: надъ головой  
 Мгновенно утка промелькнула  
 И камнемъ въ озеро нырнула...

---

ственно уцѣльвшая постройка временъ Петра Великаго. Нѣ-  
 сколько поодаль отъ Цейхгауза, виднѣются съ гати и моста,  
 постройки моекъ купца Капканщикова, расположенные на  
 другомъ островѣ. При Петрѣ Великомъ эти острова соеди-  
 нились съ городомъ мостами. На нихъ и противоположномъ  
 берегу, близъ Успенской и Богословской церквей, сосредо-  
 точивалась вся кипучая дѣятельность великаго Преобразо-  
 вателя. Дворецъ его находился на мѣстѣ теперешнихъ моекъ;  
 жилища же его сотрудниківъ были расположены по близости  
 Успенской церкви.

А въ озерѣ — и рыбы плескъ,  
 И отъ воды и солнца блескъ...  
 О, дѣтство, дѣтство!.. Прочь съ дороги,  
 Украдкой прожитая быль!  
 Не подымай въ душѣ тревоги,  
 Не отряхай забвенья пыль...  
 Вонъ, въ сторонѣ бѣлѣетъ зданье,  
 Оно глядѣло въ свой чередъ  
 На небывалое созданье, —  
 Въ степной глуши рожденный флотъ.  
 Въ тѣ дни здѣсь много было шуму,  
 Здѣсь думалъ царственную думу  
 Неутомимый человѣкъ.  
 Тотъ шумъ утихъ... Гдѣ жизнь кипѣла,  
 И былъ царя пріютъ простой,  
 Купецъ усердною рукой —  
 Одинъ почтилъ святое дѣло:  
 Часовню выстроилъ и въ ней  
 Затеплилъ набожно елей.  
 Всему пора. Идутъ постройки,  
 Какъ встарь, и въ наши времена...  
 По берегамъ бѣлѣютъ мойки,  
 Скирдами шерсть навалена.  
 Подросъ и городъ. Въ изголовье  
 Онъ положилъ полей приволье;  
 Плечами горы придавилъ,  
 Ногой на берегъ наступилъ,  
 И, близкихъ сель дешевой данью,  
 До пояса отъ головы,  
 Покрылся каменною тканью  
 На мѣсто грязи и травы \*).

---

\*) Рѣчь идетъ о превосходной гати, сооруженной между  
 слободою „Придачей“ и Воронежемъ, при помощи крестьянъ,  
 употребленныхъ на работу за казенные недоимки.

Но грустно, что въ семье громадной  
 Высоко-поднятыхъ домовъ,  
 Какъ нищіе, въ толпѣ нарядной,  
 Торчатъ избенки бѣдняковъ.  
 Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,  
 Онѣ ползутъ по крутизnamъ  
 И смотрятъ тусклыми очами  
 На богачей по сторонамъ.  
 Того и жди: гроза подуетъ, —  
 И полетятъ онѣ въ оврагъ...  
 Таковъ и домикъ, гдѣ горюетъ  
 Знакомый давній мой — Кулакъ.  
 Туда пѣшкомъ идти далеко,  
 Развернемъ самолетъ-коверъ —  
 И, прямо отъ рѣки широкой,  
 Перелетимъ къ нему на дворъ.  
 Ну, съ Богомъ, въ путь! Въ глазахъ мелькая,  
 Назадъ несется пестрота:  
 Заборы, кровли, ворота,  
 Оврагъ, тропинка, мостовая,  
 Калачникъ, окны кабака,  
 Телѣга съ гробомъ, двѣ дѣвчонки,  
 Зеленый садъ, стѣна, избенки,  
 Стой! Вотъ и домикъ Кулака.

Онъ старъ и на бокъ покосился,  
 Карнизъ подгнилъ и опустился,  
 Потрескалась, куда ни глянь,  
 На крыше скорченная дрань;  
 Растрепанными волосами,  
 Повисла пакля вдоль стѣны;  
 Изъ-подъ дырявой пелены,  
 Натасканная воробьями,  
 Солома съ перьями торчитъ.

Одно окошко внизъ глядитъ,  
Другое, — нѣтъ отъ крыши воли, —  
Взвилось бы прямо къ облакамъ;  
Въ немъ половинки красныхъ рамъ,  
Что вѣки красныя отъ боли,  
Мигаютъ въ вѣтеръ... Глазъ — да вотъ  
Однѣхъ рѣсницъ не достаетъ...  
Растетъ трава вокругъ крылечка.  
Но садъ... Въ садъ послѣ завернемъ,  
Теперь мы въ горенку пойдемъ.  
Она чиста. Икона, печка,  
Съ посудой шкафъ, сосновый полъ,  
Кровать подъ пологомъ, да столъ,  
Скамейка, лавка, стулья безъ спинки,  
Комодъ пузатый подъ замкомъ...  
Все старина, за то соринки  
Тутъ не примѣтишь ни на чёмъ.

## II.

Хозяйка добрая, здорово!  
Ты вѣчно съ варежкой въ рукѣ  
И въ этомъ бѣломъ колпакѣ!  
И все молчишь. Промолвишь слово  
Отъ скуки съ дочерью родной,  
Да и поникнешь головой.  
Печаль, домашнія невзгоды,  
Нужда тяжелая, да годы  
Повысушили до поры  
Тебя, какъ травушку, жары.  
Поникла голова, что колось,  
И побѣлѣль твой русый волосъ ..  
Одна незлобная душа  
Осталась въ горѣ хороша.

И ты, красавица, съ работой  
Сидишь, какъ мать, передъ окномъ:  
Одной привычною заботой  
Вы вѣчно заняты вдвоемъ.  
Глядишь на улицу тоскливо...  
Румянецъ яркій на щекахъ,  
Но спицы движутся сонливо  
И дремлетъ варежка въ рукахъ.  
О чѣмъ тоска? Откуда скука?  
Глаза — огонь, коса — смола,  
Какъ бѣлый воскъ рука бѣла...  
Простора нѣть? неволя — мука?..  
„Постой, старушка говорить:  
Гдѣ поминанье-то лежитъ,  
Не знаешь, Сашенька?“

— Не знаю. —

„Вотъ надо на погость сходить  
И панихиду отслужить —  
То некогда, то забываю...“  
— Задаромъ служатъ-то? —  
„Все Богъ!  
Я варежки продамъ...“

— Богаты!..

А у меня вездѣ заплаты,  
Да башмаки скочили съ ногъ;  
Пошла бы въ церковь, ради скуки, —  
Сиди! —

„Отъ этого не стать  
Родителей не поминать;  
Покуда есть глаза да руки,  
Нужда — не смертная бѣда...“

И мать умолкла. Тучъ гряда  
Въ огнѣ зори понакалилась,

Свернулась въ кучу, поплыла,  
 И, померкая, за поля  
 Горою темною скатилась.  
 Неслышно тѣни подошли,  
 Въ окошко медленно вползли,  
 Въ углы и за кроватью стали.  
 И мать и дочь давно молчали...  
 Блеснуль и мѣсяцъ, вѣстникъ сна,  
 Но звуки спицъ не умолкали:  
 Имъ не знакома тишина.

Поди ты, думала старушка:  
 Скучетъ дочь, невесела...  
 Вѣдь, вотъ ребенкомъ-то была  
 Такая бойкая рѣзвушка, —  
 И не уймешь ея никакъ!  
 Бывало, утро чуть настанетъ,  
 Плутовка куколки достанетъ,  
 Толкуетъ съ ними: „Ты вотъ-такъ  
 Сиди, ты глупая дѣвчонка;  
 Ты, барыня, сиди вотъ тутъ,  
 А ты прислуга, старый плутъ,  
 Давай имъ чаю...“ И ручонкой  
 Начнетъ ихъ эдакъ тормошить.  
 Возьметъ подастъ имъ на бумажкахъ  
 Водицы въ желудовыхъ чашкахъ,  
 И скажетъ: „ну, извольте пить,  
 Вотъ чай...“ А вечеромъ, бывало,  
 Къ себѣ подружекъ соберетъ,  
 Болтаетъ съ ними, чтѣ попало,  
 Хохочеть, бѣгасть, поетъ...  
 Вотъ словно колокольчикъ звонкій,  
 Веселый смѣхъ и голосъ тонкій  
 Въ обѣихъ горенкахъ звенитъ.

Отецъ, бывало, закричть:  
 „Уймися, говорю, вострушка,  
 Не то я больно поську!“  
 Она присядеть къ уголку  
 И лобикъ сморщить, какъ старушка,  
 И все молчитъ... Отецъ съ двора, —  
 Опять потѣшная игра!  
 Со стороны глядѣть — отрада...  
 Да правда, какъ и не скучать:  
 Ей не съ кѣмъ слова-то сказать...  
 Куда мы ходимъ? Тутъ, досада,  
 Сосѣдъ къ намъ сваху засыпалъ,  
 Старики зачѣмъ-то отказалъ;  
 А девка-то была какъ рада!  
 Женихъ съизмала ей знакомъ...  
 О-охъ, бѣда мнѣ съ старикомъ!  
 Однако темно. Надо свѣчку.  
 И вставъ, она открыла печку,  
 Лучину тонкую взяла,  
 И дуть на уголь начала.  
 Черезъ минуту заскрипѣло  
 За дверью шаткое крыльцо.  
 Вошелъ Кулакъ. Его лицо  
 Отъ зноя солнца загорѣло.  
 Угрюмъ и зорокъ смѣлый взглядъ,  
 Щетиной жесткою торчатъ  
 Густыя брови. Лобъ широкой  
 Изрытъ морщинами глубоко,  
 И теменъ волосъ, но сѣда  
 Подстриженная борода.  
 Ростъ не великъ и не уменъ,  
 Упруги жилы крѣпкихъ рукъ,  
 Картузъ расплющенъ и засаленъ,  
 До пятокъ нанковый сюртукъ.

„Небось, усталъ? жена сказала:  
Поди-ка руки-то умой...  
Вотъ полотенце. Да водой  
Не брызгай на полъ!“

Саша встала,  
Въ ведеркѣ квасу принесла  
И въ чашкѣ луку натолкла.  
Кулакъ за столъ не торопился;  
Сюртукъ на лавку положилъ,  
Да сверху картузомъ накрылъ;  
Сняль галстухъ, сапоги, умылся  
И сѣль съ семьею.

„Экой квасъ!..“  
Старушка, сморшившись, сказала.  
— Разборчива ты съ дочкой стала:  
Не угодитъ самъ чортъ на васъ!  
Отвѣтилъ мужъ.

„Перекрестися!  
За хлѣбомъ такъ не говорятъ!“  
— Вѣстимо. Ну, сама трудися,  
Я старъ, всѣ кости ужъ болятъ...  
Покуда я кормить васъ стану! —  
„Ну — вотъ и хлѣба жаль теперь,  
А сваху проводилъ за дверь...  
Намъ меныше было-бы изъяну  
Вдвоемъ-то жить!“

— Хорошъ совѣтъ.  
Богатъ, къ примѣру, твой сосѣдъ? —  
„Намъ богача-то дожидаться, —  
Вѣкъ Сашѣ дѣвкою оставаться!“  
— Дождемся, можетъ быть, не плачь:  
На наше поле сядетъ грачъ. —  
„Все такъ, старики, да не грѣшно-ли...“  
— Ну, дальше!.. —

„Дочь-то принуждать!“

— Пересолила! Слышишь, мать!  
 Ну, да! Въ квасу-то много соли... —  
 „Пошло!.. Вы дайте хоть поѣсть!  
 Сказала дочь: попрекъ да скора,  
 Минуты не пройдетъ безъ спора...  
 Вы думаете, вамъ и честь!“  
 — Молчать! не во время запѣла,  
 Смотри, языкъ не прикуси...  
 Поди — вотъ кашу принеси...  
 Вишь, умница! понаторѣла! —

Оконченъ ужинъ: каши нѣтъ,  
 За то былъ съ кашею обѣдъ.  
 Лукичъ привсталъ, перекрестился,  
 На Сашу крупно побранился —  
 Зачѣмъ, дескать, досель окно  
 На улицу отворено,  
 И легъ. Но, занятый заботой,  
 Онъ думалъ думу съ полчаса,  
 Смыкая нехотя глаза,  
 Полуобъятые дремотой:  
 Ну, завтра ярмарка. Авось  
 На хлѣбъ добуду. Плохо стало:  
 Хлопѣтъ, что дровъ въ лѣсу, — не мало,  
 А прибыли отъ нихъ — хоть брось.  
 Другимъ, къ примѣру, удается:  
 Казна валится, точно кладъ,  
 А ты копѣйкѣ былъ-бы радъ,  
 Такъ нѣтъ — гдѣ тонко, тутъ и рвется;  
 Порой, — что въ домъ и попадаетъ,  
 Нужда метлою подметаетъ.  
 Вотъ дочь невѣста... Все забота...  
 И сватаются, да нѣтъ разсчета:

Сосѣдъ нашъ честенъ, всѣмъ хорошъ,  
 Да голь большая, вотъ причина!  
 Чтѣ честь-то, коли нѣтъ алтына:  
 Далеко съ нею не уйдешь...  
 Одно — душѣ да сердцу мука:  
 Передъ зажиточнымъ плутомъ  
 И честный спину гнетъ кольцомъ;  
 Нужда — мудреная наука...  
 Мнѣ дочь и жаль! Я человѣкъ,  
 Отецъ, къ примѣру... да не вѣкъ  
 Мнѣ мыкать горе. Я не молодъ...  
 „Лукичъ — Кулакъ!“ кричитъ весь городъ,  
 Кулакъ!.. Душа-то не сосѣдъ:  
 Сплутуешь, коли хлѣба нѣть.  
 Будь зять богатый, будь помога, —  
 Не выди я изъ-за порога,  
 На мѣстѣ дай Богъ мнѣ пропасть,  
 Коли подумаю украсть!  
 А есть женихъ... навѣрно, знаю  
 Богатъ, не долженъ никому,  
 И Саша нравится ему...  
 Давно я сваху поджидаю...  
 И тяжело Кулакъ вздохнулъ,  
 Перевернулся и заснулъ.

## III.

Быть можетъ, на другой ступени,  
 Въ иномъ быту, съ инымъ отцомъ,  
 Кулакъ не зналъ бы праздной лѣни  
 И просто — не былъ кулакомъ.  
 Но много-ль тѣхъ, кто полный силы,  
 Какъ воинъ, правдѣ послужилъ,

Напрягъ всѣ мускулы и жилы  
 И зло, какъ эмія, раздавилъ?  
 Кто среди грязи, подъ грозою,  
 Остался чистъ, какъ серебро,  
 И крѣпкой каменной горою  
 Стоялъ за правду и добро?  
 Великъ добра подвижникъ строгій,  
 Кто вель всю жизнь борьбу со зломъ  
 И не свернулъ съ прямой дороги,  
 Пройдя безстрашно подъ огнемъ!  
 Но если-бы и этотъ пламень  
 Ты вынесъ, воинъ правоты,  
 Остановись, поднявши камень  
 На жертву зла и нищеты!  
 Сдержи свое негодованье,  
 Не будь презрѣннымъ палачемъ:  
 Твой братъ передъ твоимъ судомъ,  
 Съ правами на твое вниманье.  
 Быть можетъ, въ грязной нишетѣ,  
 Корою грубости закрытый,  
 Добра зародышъ неразвитый  
 Горитъ, какъ свѣчка, въ темнотѣ.  
 Быть можетъ, жертвѣ заблужденья  
 Доступны рѣдкія мгновенія,  
 Когда казнить она свой вѣкъ  
 И зло проклятьемъ поражаетъ,  
 Какъ человѣкъ, въ душѣ страдаетъ  
 И думаетъ, какъ человѣкъ.

Еще ребенкомъ, нестѣсненный,  
 Въ привычкахъ жизни обыденной,  
 Кулакъ бездѣлье полюбилъ.  
 Отецъ имъ мало занятъ былъ.  
 На воспитаніе мальчишки

Торгашъ имѣлъ особый взглядъ:  
„Рости дескать, рости, сынишка,  
Пойдешь по мнѣ, — я буду раль;  
Я и читать вотъ не учился,  
Да съть живу, одѣтъ, обутъ...“  
Но подъ хмѣлькомъ всегда сердился:  
Ты, дескать, баловень, ты плутъ...  
И сына за вихоръ поймаешь,  
Такъ, ни за что! ну, вотъ, моль, знай!  
Деретъ, деретъ, до слезъ таскаетъ.  
И молвить: ну, ступай — играй!  
А мать свое хозяйство знала:  
Въ печи дрова съ разсчетомъ жгла,  
Горшки да чашки берегла  
И словъ напрасно не теряла, —  
Когда зимой, по цѣлымъ днямъ,  
Забросивъ азбуку съ указкой,  
Карпушка лазитъ по горамъ,  
Таская за собой салазки;  
Иль въ бабки, лѣтнею порой,  
Былъ занятъ вѣчною игрой.  
Въ мальчишкѣ рано проявилась  
Наклонность къ сдѣлкамъ, плутовству  
И мелочному воровству,  
И постепенно обратилась  
Въ привычку. По чужимъ садамъ  
Онъ лазилъ смѣло. По полямъ  
Шатался. Въ рожь зайдеть, бывало:  
Отъ жару потъ съ него течеть.. .  
И солнце въ голову печетъ...  
Лежитъ себѣ — и нужды мало,  
И смотритъ весело кругомъ.  
Чуть бабочка на колось сядетъ,  
Онъ къ ней подкрадется ползкомъ,

Ручонку смуглую протянетъ —  
 И разомъ схватить. Разглядить  
 Всю спинку, усики и глазки,  
 На крылышкахъ узоръ и краски,  
 И, улыбаясь, говорить:  
 „Ага! Вотъ я тебя, плутовку!..“  
 И оторвѣть у ней головку.  
 Иль грачей въ гнѣздѣ найдетъ,  
 На половину оstriжетъ:  
 Къ ногамъ веревочки привяжетъ,  
 И мальчику сосѣду скажетъ:  
 „Слыши, Ваня, у меня, грачи,  
 Давай мѣнять на калачи!“  
 И если тотъ пойметъ уловку  
 И калачи побережетъ,  
 Карпушка птицъ въ оврагъ швырнетъ  
 И дастъ сосѣду потасовку,  
 А послѣ прибѣжитъ домой  
 И плачетъ. Мать его ласкаетъ:  
 „О чѣмъ же ты, голубчикъ мой?“  
 — Ванюшка, сынъ ей отвѣчаетъ,  
 Моихъ грачей закинулъ въ ровъ  
 И надавалъ мнѣ тумаковъ. —

И долго росъ онъ безъ заботы,  
 Покуда вздумалось отцу  
 Отдать наслѣдника къ купцу...  
 Тутъ мелкихъ плутней обороты  
 Карпушка тонко изучилъ;  
 Купецъ помощника хвалилъ:  
 — Торговецъ ловокъ, не зѣваеть,  
 Продастъ — руки не замараетъ. —  
 И малый точно не зѣвалъ:  
 Карманъ свой плотно набивалъ.

Межъ-тѣмъ отецъ его скончался;  
 Пошла и мать за старикомъ  
 Въ сырую землю. Сынъ остался  
 Одинъ. Поскорился съ купцомъ  
 И, наконецъ, его оставилъ.  
 Снялъ лавку, дегтю накупилъ,  
 Лопатъ и лыкъ понавалилъ,  
 Женился, дворъ кругомъ оправилъ,  
 И домикъ заново покрылъ.  
 Но счастье не далося въ руки:  
 Легко нажитый капиталъ  
 Въ три года онъ проторговалъ,  
 И запиль съ горя и отъ скуки...  
 Искать мѣстечка — стыдъ большой!  
 Искать рѣшился, — отказали...  
 А ремеслу не обучали.  
 Подумалъ и махнулъ рукой:  
 Тьфу, чортъ возьми! Да что за горе!  
 Авось безъ хлѣба не умру!  
 Пойду на рынокъ поутру,  
 Такъ вотъ и деньги. Рынокъ — море,  
 Тамъ рыба есть, умѣй ловить,  
 Небось достанетъ, чѣмъ прожить...  
 И съ той поры, лѣтъ тридцать сряду,  
 Онъ всякой дрянью промышлялъ.  
 И Кулака весь городъ зналъ  
 По разнымъ плутнямъ, по наряду,  
 И загорѣлому лицу.  
 Онъ покупалъ ягнятъ, шетину,  
 Пеньку и нитки, и холстину,  
 Коня знакомому купцу,  
 Овесь, и все, чтѣ попадалось,  
 И чтѣ надѣялся онъ сбыть  
 Другому съ выгодой. Случалось

И попустому проходить  
На рынкѣ съ ночи до разсвѣта  
И, не поужинавъ, заснуть...  
За то Кулакъ умѣль блеснуть  
Подъ часъ серебряной монетой.  
Когда, бывало, мужичекъ  
Цѣны съ товара не сбавляетъ,  
Онъ выхватить свой кошелекъ,  
На воздухѣ имъ помотаетъ  
И крикнетъ: „ты вотъ — посмотри!  
Вѣдь, у тебя купецъ торгуетъ,  
Иной, алтынникъ, да надуешь,  
А тутъ, братъ, денежки бери!“

## IV.

Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта.  
Безоблаченъ и жарокъ день.  
Изъ ближнихъ сель и деревень  
Народомъ площадь вся покрыта;  
Толпа безъ устали кишитъ.  
Тутъ пестрота! Въ глазахъ рябитъ!  
Понявы, кички, бисеръ, ленты,  
Сережки съ пухомъ, позументы,  
Раструбистые кафтаны,  
Рубашки, шапки, зипуны,  
Доска на шляпѣ съ калачами,  
Сѣдой старикъ со связкой лыкъ,  
Со шпагой красный воротникъ, —  
Все копошится за дѣлами!..  
Въ рукахъ-то! Боже мой, товаръ!  
Щетина, гребни, веретены,  
Индѣйки, перья, холстъ крученый,  
Безъ носа желтый самоваръ,

На палкѣ сапоги съ гвоздями...  
 Тутъ смѣси! въ лавкахъ напоказъ,  
 Приманка хитрая для глазъ:  
 Развѣшенъ ситецъ полосами,  
 Мотаются — тесьма, платки,  
 Развернутые кушаки  
 И шали съ яркими цвѣтами;  
 И каждый цвѣтъ глядитъ живьемъ  
 Подъ жгучимъ солнечнымъ лучемъ.  
 За лавками лотки, лопаты,  
 Разсохи, улица горшковъ,  
 Колеса, лыки и ушаты,  
 И груды ведеръ и ковшовъ.  
 Вотъ парень съ чашками понагнулся,  
 Одну беретъ и обернулся,  
 Глядитъ, — и чашка передъ нимъ  
 Сверкаетъ краемъ золотымъ.  
 Стой! Давка! Спорятъ съ мужиками,  
 За клячу пѣгую, купцы.  
 И Лазаря поють слѣпцы,  
 Сбирай мѣдными грошами  
 Дань съ сострадательныхъ зѣвакъ.  
 Ну, мимо! Чернью окруженный,  
 Подъемлетъ флагъ свой испещренный,  
 Холстомъ обтянутый, кабакъ.  
 За нимъ какой-то шарлатанъ,  
 Весь въ розовомъ, въ мишурныхъ блесткахъ,  
 Кривляясь бойко на подмосткахъ,  
 Зоветъ въ свой грязный балаганъ  
 Толпу веселаго народа —  
 Смотрѣть на рожи обезьянь  
 И пляску кукольного сброва;  
 А влѣво, на конѣ верхомъ,  
 Трусить цыганъ въ рубахѣ красной

И божится: „а лжешь напрасно,  
Ему не двадцать лѣтъ, а пять!  
Жены, дѣтей мнѣ не видать...“  
Веселый говоръ, шумъ торговли,  
Визгъ поросятъ и дудокъ пискъ,  
И смѣхъ, и пѣсни, брань и крикъ —  
Все въ гуль слилось. Межъ-тѣмъ оглобли  
Глядять на тысячи головъ,  
Какъ лѣсь безъ вѣтокъ и листовъ \*).

Кулакъ на площади съ разсвѣта...  
Успѣль ужъ выпить, закусить,  
Купить два старыхъ пистолета  
И съ выгодой кому-то сбыть.  
Теперь близъ бабы загорѣлой,  
Одѣтой въ бѣломъ зипунѣ,  
Онъ мечется, какъ угорѣлый,  
Упрямо споря о цѣнѣ  
За толстый холстъ:

„А ты, молодка,  
По сторонамъ-то не смотри,  
Твой холстъ, къ примѣру, не находка...  
Почемъ аршинъ-то? — говори!“  
— По гривнѣ, я тебѣ сказала,  
Вонь и другіе такъ берутъ. —  
„Ну, вотъ! куда ты указала!  
Тамъ по три гроша отдаютъ“.  
— И, что ты! Аль я одурѣла!  
Да мнѣ четыре за аршинъ  
Сулиль какой-то мѣщанинъ,  
И то отдать я не хотѣла. —  
„Онъ какъ собой-то?“  
— Рыжеватъ. —

\*) Воронежскія ярмарки, происходящія на площадяхъ — Базарной, Щепной и Конной, имѣютъ совершенно сельскій характеръ.

„Ну такъ! Съ карманникомъ связалась!  
 Эхъ, дура! Ты не догадалась!  
 Его ужъ потащилъ солдатъ,  
 Поймалъ...“

И съ бабою онъ спорилъ,  
 Голубушкою называлъ,  
 Разъ десять къ чорту посыпалъ  
 И напослѣдокъ урезонилъ,  
 Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,  
 Разъ!.. разъ!.. и смѣrena холстина.  
 „Гляди вотъ — двадцать три аршина.“  
 — Охъ-ма! Тутъ двадцать семь какъ разъ. —  
 „Что у тебя — иль нѣту глазъ?  
 Аршинъ казенный! Понимаешь!  
 Вотъ, на! — Не видишь? — два клейма..“  
 — Да какъ же такъ? —

„Не довѣряешь!“  
 — Я мѣрила, родной, сама. —  
 „Тьфу, грѣхъ какой! Вѣдь, я съумѣю  
 Безъ краденой холстины жить,  
 Глаза что-ль ею мнѣ накрыть,  
 Такъ я, къ примѣру, крестъ имѣю...“

И онъ подъ мышку положилъ  
 Покупку. Въ кошелькѣ порылся,  
 Пяти грошей не доплатилъ,  
 И съ бабой весело простился.  
 „Эй, голова! почемъ мука!  
 Спросилъ онъ громко мужика.  
 — Чего кричать-то попустому!  
 Мужикъ съ досадой отвѣталъ:  
 Ты, братъ, намедни покупалъ,  
 Сказалъ — себѣ, привель къ другому,  
 А тотъ съ двора меня согналъ.—

Кулакъ смолчалъ и отвернулся,  
Прищурясь, поглядѣлъ вокругъ,  
Пошелъ-было въ толпу — и вдругъ  
Съ помѣщикомъ въ очкахъ столкнулся!  
„Мое почтенье-съ, Климъ Кузьмичъ!  
Не купите-ли, сударь, бричку?  
Отличный сортъ!“

— Ба, ба! Лукичъ!  
Ты не забылъ свою привычку!  
По-прежнему торгуешь всѣмъ? —  
„Чтоб дѣлать! Сами посудите,  
Я тоже хлѣбъ, къ примѣру, ёмъ...  
А бричка дешева-съ. Купите.“  
— Нѣтъ, я на бричку не купецъ...  
Не попадется-ль жеребецъ?  
Вотъ не найду нигдѣ, — мученье!  
А нуженъ къ пристяжнымъ подъ шерсть...  
Караковый...

„Есть, сударь, есть...  
Порода — просто удивленье!“  
— Онъ не съ порокомъ-ли, Лукичъ?  
Ты плутъ естественный, я знаю. —  
„Нѣтъ-съ, извините, Климъ Кузьмичъ,  
Я васъ съ другими не сравняю.  
Тутъ случай, сударь. Дворянинъ,  
Къ примѣру въ карты проигрался.  
Весь, какъ въ пуху, въ долгахъ. Остался  
У бѣдняка рысакъ одинъ.  
Ну, конь! Ей-Богу, заглядѣнье!  
Вотъ недалеко, сударь, домъ,  
Коли угодно, завернемъ,  
Посмотримъ“.

— Сдѣлай одолженье...  
А помнишь-ли, купилъ ты мнѣ

Собаку какъ-то по веснѣ?  
 „Плохенька развѣ?“ —  
 — Околѣла.

Не взялъ бы чортъ знаетъ чего! —  
 „Охотиться не захотѣла, —  
 Поможемъ, сударь... Ничего!  
 Охъ, тутъ-вотъ есть у офицера  
 Собака... кличку-то забылъ,  
 Вчера денышникъ и говорилъ...  
 Ну и животное, къ примѣру!  
 Брось въ воду гриненникъ, — найдеть!  
 Вотъ вамъ купить-то...“

— Радъ душою.

А для чего-жъ онъ продаеть? —  
 „Чтѣ дѣлать станете съ нуждою!  
 Наслѣдство дядя обѣщалъ,  
 А при смерти не завѣщалъ.  
 Ёсть нечего... Семья большая...“  
 — А, вотъ что! — баринъ отвѣчалъ  
 И, гибкой тросточкой играя,  
 Поглядывалъ по сторонамъ  
 И напѣвалъ: „тири-тарамъ!..“

#### V.

„Я говорилъ вамъ, недалеко“,  
 Кулакъ помѣщику сказалъ  
 И съ мезониномъ домъ высокой  
 Аршиномъ бойко указалъ.  
 „Вонъ кучеръ... рыжая бородка!  
 Конюшни что-ли не видалъ?  
 Поди сюда!.. Заковылялъ...  
 Эхъ, ты, утиная походка  
 Чтобъ баринъ дѣлаетъ!“

— Пить чай. —

„Потише ротъ-то разѣвай...  
 Пьетъ чай! Не кучеръ ты, — дубина!  
 Виши лѣнъ и шляпу приподнять,  
 Гвоздемъ прибита?

— Можетъ снять... —

„Ну, то-то можемъ... Эхъ, дѣтина!  
 Поди, намъ покажи пока  
 Продажнаго-то рысака.  
 Виши ковыляетъ .. вотъ потѣха!  
 А знаете-ли, Климъ Кузьмичъ,  
 (Лукаво продолжалъ Лукичъ),  
 Снаровка дѣлу не помѣха,  
 Ему на водку надо дать;  
 Вѣдь, и дуракъ подъ часъ годится,  
 Я знаю, онъ не постыдится  
 При сдѣлкѣ барину сказать,  
 Что нашъ-де конь намъ не подходитъ,  
 И кормъ-де въ прокъ ему нейдетъ...  
 Ей-богу-сь! Этотъ хамскій родъ  
 Господъ частенько за носъ водитъ“.  
 — Все смыслишь, баринъ отвѣчалъ,  
 И кулаку полтинникъ далъ.  
 Стариkъ смолчалъ и торопливо  
 Пошелъ въ конюшню, кнутъ схватилъ,  
 Въ карманъ полтинникъ опустилъ,  
 И молвилъ кучеру: „ну, живо!“  
 — Да что, статья не подойдетъ:  
 Съ запаломъ конь-то, зареветь. —  
 „Ты не крути, держи умиѣе...  
 А ну-ка, дорогой рысакъ,  
 Держись, дружокъ! Вотъ такъ! Вотъ такъ!  
 Тсс!.. прр! на дворъ его скорѣе!“  
 И бѣдный конь черезъ порогъ  
 Вдругъ сдѣлалъ бѣшеный скакокъ,

Глазами дико покосился  
 И началъ землю рыть ногой...  
 Кулакъ назадъ посторонился:  
 Виши, лескать, бойкой сталъ какой.  
 Помѣщикъ подошелъ. Рукою  
 Коня по шею потрепалъ,  
 И съ лоскомъ — гривою густою  
 Полюбовался, холку взялъ,  
 Поправилъ на бокъ. Осторожно  
 Ощупалъ ноги, мышки, грудь,  
 И молвилъ: надобно взглянуть  
 На зубы. „Оченно возможно“,  
 Плечистый кучерь отвѣчалъ  
 И зубы рысаку разжаль.  
 „Э, конь-то молодой... три года,  
 Лишь сталъ окраины ронять.  
 А ну, нельзя-ли пробѣжать?..  
 Стой! стой! Да, недурна порода!“  
 — Вы не забудьте, что рысакъ,  
 Сказалъ въ полголоса Кулакъ.  
 Да вотъ идетъ и самъ хозяинъ.  
 Мое почтенье-сь...

— Погоди!

Твое почтенье впереди... —  
 Замѣтилъ коренастый баринъ,  
 Въ халатѣ съ трубкою въ зубахъ,  
 Въ сафьянныхъ желтыхъ сапогахъ.  
 И, шаркнувъ лѣвою ногою,  
 Два пальца Клима Кузьмича  
 Пожалъ онъ жилистой рукою,  
 И забасилъ: „рублю съ плеча,  
 Безъ церемоній докладаю:  
 Скобѣевъ, здѣшній старожилъ,  
 Въ комиссіи подъ лямкой былъ,

Теперь въ отставкѣ прозябаю...  
А вы, почтеннѣйший?“

— Лукинъ,

Помѣщикъ. —

„Стало — дворянинъ;  
Имѣете и родовое?“  
— Да, было... есть, да небольшое. —  
„Служили гдѣ-нибудь?“

— Въ полку. —

„Не захотѣли?“

— Надоѣло. —

„Ну, въ штатскую! съ перомъ за дѣло.  
Въ тепло! А въ тепломъ уголку  
И благодать васъ не забудеть...“

— Да лѣнъ береть и нѣтъ нужды. —

„Ха, ха, люблю! А если будетъ?“

— Ну, по-неволѣ за труды. —

„Какъ водится. Пока свобода...“

Не правда-ли?“

— Покуда такъ.

А дорогъ-ли у васъ рысакъ? —

„Четыреста... Одна порода

Дороже стоитъ.“

— Можетъ быть.

Нельзя-ли сотню уступить? —

„Я не торгашъ, предупреждаю ..

Четыреста давно даютъ,

Придти хотѣли — и придутъ...“

Все вретъ, Кулакъ подумалъ, знаю ..

И молвилъ: „я и приводилъ“.

— Молчать! — Скобьевъ перебилъ.

„Я не обидѣль васъ словами,

Какъ знаете: я сторона...“

Не дорогая, молъ, цѣна,

**Я вотъ-что...“**

И Кулакъ руками  
Развель съ досады: вишь, хитритъ!..  
Меня то чѣмъ онъ наградитъ?..  
Я разомъ кончу... И украдкой  
Шутя помѣщику сказалъ:  
„Скобѣевъ пятится, сплошалъ!“  
Лукинъ стоялъ въ недоумѣни, —  
Поглядывалъ на рысака:  
Картина конь! — на Кулака.  
Кулакъ былъ въ страшномъ нетерпѣни:  
Усами шевелилъ, мигалъ,  
Къ карману руки прикладалъ...  
Не прозѣвай, моль, что ты смотришь!  
Покаешься, да не воротишь!  
Мнѣ чѣд! я не желаю зла!..  
И сдѣлка кончена была...

„Покупку сирыснемъ? Надо, надо!  
Скобѣевъ весело басиль:  
Да, да! Ахъ, чортъ возьми! досада...  
Жена на ярмаркѣ... забылъ!  
Ключи-то увезла съ собою...“  
Вонъ, подъ окномъ она сидитъ,  
Кулакъ подумалъ: экой жидъ!  
— Извольте деньги. Пусть за мною  
Ведутъ коня... —

„Да какъ же быть,  
И не хотите покурить?“  
— Благодарю васъ. Нѣтъ желанья. —  
„Ну, извините. До свиданья“.  
Лукинъ къ воротамъ повернуль  
И Кулаку рукой махнулъ.  
„Цѣлковый за труды... довольно?“  
— Довольно-съ... —

„А Скобѣевъ скотъ!

Онъ, кажется, свиньей живеть!“

— Свиньею-съ... То-то вотъ и больно:  
На карты прочитъ. —

Гмм... Когда-жъ

Ты о собакѣ знать мнѣ дашь?“

— Порою, часъ въ торговлѣ дорогъ...  
Пойдемте, сударь... Я готовъ“.

— Теперь, я занятъ... —

„Мы съ двухъ словъ!..“

— Нельзя. До завтра. Срокъ не дологъ...  
Прощай покуда до утра.

## VI.

— Ну, слава Богу! съ плечъ гора!  
Кулакъ подумалъ: развязался!  
Вотъ покупатель-то попался!  
Вѣдь, съ виду смотрить молодцомъ,  
Очками, тростью щеголяетъ  
И на спинѣ колпакъ съ махромъ,  
Чортъ знаетъ для чего, таскаетъ;  
А хорошенъко разберешь,  
Выходитъ такъ- себѣ... какъ глина,  
Чтобъ хочешь изъ нея сомнешь.  
Эхъ, плачетъ по тебѣ дубина!  
Добру съумѣла-бѣ научить,  
Да некому дубиной бить...  
Не то дуракъ... развѣсить уши  
И слушаетъ, да вѣрить чуши:  
Вотъ тутъ, моль, баринъ оплошалъ.  
Продулся въ карты, задолжалъ...  
Какъ разъ! ему и проиграться?  
Да онъ удавится за грошъ...“

„Эй, старый хрѣнъ! Кого ты ждешь?  
Пора въ свояси убираться“,  
Съ крыльца Скобѣевъ забасилъ.  
Кулакъ за козырекъ хватился  
Картузъ подъ мышку положилъ,  
И молвилъ: „ну, сударь, трудился!..  
Весь лобъ въ поту“.

— Утрысь возьми. —

„Утремся, баринъ... Я дѣтьми  
За вашу клячу-то божился,  
Не грѣхъ за хлопоты мнѣ дать“.  
— Я-бѣ безъ тебя съумѣлъ продать;  
Взялъ съ одного, ну, знай и мѣру...  
А много заплатилъ Лукинъ? —  
„Съ него возьмешь!.. Хоть-бы алтынъ!..  
Такая выжига, къ примѣру“.—  
— А врешь! —

„Не времъ безъ барыша:  
И въ нась, сударь, не паръ, — душа“.  
— Ха, ха, душа! Оно и видно...—  
Я-бѣ далъ, — нѣтъ мелочи въ дому.—  
„Да не шутите, сударь, стыдно!..“  
— Молчать! не то я ротъ зажму! —  
„Благодаримъ! не вы ли сами  
Просили вашу клячу сбыть?“  
— Вѣдь, далъ Лукинъ? ты съ барышами:  
Ну, и довольнымъ надо быть. —  
„Хоть рубль-то дайте...“

— Чести много!..

Пожалуй, на — вотъ четвертакъ. —  
„Себѣ возьмите, коли такъ.  
Эхъ, баринъ, не боишься Бога!“  
— Я говорилъ тебѣ молчать! —  
„Потише, можно испугать...“

Онъ четвертакъ, къ примѣру, вынуль...  
 Виши умникъ, — дурака нашелъ!..“  
 И свой картузъ Кулакъ надвинулъ,  
 Съ досады плонулы — и ушелъ.

Прохлада. Часъ зори вечерней.  
 Въ туманѣ прячутся деревни,  
 И все темнѣй, темнѣй въ дали.  
 За пашнями, изъ-подъ земли,  
 Выходитъ пламя полосами  
 И начинаеть, тутъ и тамъ,  
 Краснѣть по темнымъ облакамъ,  
 По синевѣ надъ облаками;  
 И смотришь, — неба сторона  
 Виситъ, — въ огнѣ потоплена.  
 Здѣсь просо, дремля, зеленѣеть,  
 А тамъ вонь, на краю небесъ,  
 Насупился сердитый лѣсь;  
 Едва примѣтный, онъ синѣеть...  
 Вотъ — словно туча приплыла  
 И въ полѣ ночевать легла.  
 Соха на пашнѣ опочила;  
 Дорога ровная мертвa...  
 Вдругъ началь перепель: вва, вва!  
 И замолчалъ.

Но пыль покрыла  
 Весь городъ. Съ ярмарки народъ  
 Вдоль улицъ весело снуетъ.  
 Стучать пролетки. За шарманкой  
 Мальчишки съ хохотомъ бѣгутъ,  
 Дразня жида. Слѣпцы идутъ;  
 У нихъ и споръ, и перебранка.  
 Шумитъ толпа у кабака,  
 Полъ бойкій топотъ трепака.

Вотъ звуки пѣсни понеслися  
 Все громче, громче... У воротъ  
 Кухарки, кучера сошлися  
 И сплетничаютъ про господъ.  
 Отсталый жеребенокъ ржетъ;  
 За нимъ мужикъ бѣжитъ съ арканомъ...  
 Въ домахъ блеснули огоньки...  
 Вотъ стукъ сторожевой доски  
 Послышался, и ночь туманомъ  
 Притихшій городъ залила,  
 И свѣчи на небѣ зажгла...

Кулакъ въ свой домикъ возвращался...  
 Онъ шелъ одинъ, безъ картуза,  
 Вращая мутные глаза,  
 И сильно въ стороны шатался,  
 И вслухъ несвязно бормоталъ:  
 „А вамъ-то чтѣ?... Вы что такое?  
 Виши, умники!.. Ну, погулялъ!  
 Вѣдь, на свое!... не на чужое!  
 Что, Климъ Кузьмичъ, каковъ рысакъ?  
 Съ запаломъ?.. Ну, впередъ — наука!  
 На то, къ примѣру, въ морѣ щука,  
 Чтобъ не дремаль карась... Да, такъ!  
 Ты вѣрилъ на-слово... И ладно!  
 Выходитъ дѣло, ты и глупъ!  
 А мнѣ-то что?.. Мнѣ не накладно,  
 Мнѣ благо, что купецъ не скупъ. —  
 Э!.. А собаку-то, пріятель?..  
 Молчишь... Сердитъ за рысака...  
 Да! ты теперь не покупатель...  
 И не нуждаюся пока!  
 Да гдѣ я?.. Чтобъ за чертовщина!  
 Постой-ка осмотрюсь кругомъ...

Я помню, отъ угла мой домъ  
 Четвертый... Экая причина!  
 Дай, сосчитаю... вотъ одинъ,  
 Другой, и третій... больше нѣту...  
 Тутъ пустошь и какой-то тынъ...  
 Да какъ-же прежде пустошь эту  
 Я здѣсь ни разу не видалъ?  
 А! понимаю... догадался!  
 Я въ улицу не ту попалъ,  
 Выходитъ дѣло, заплутался...“

Добравшись до дому съ трудомъ,  
 Лукичъ на лавку опустился,  
 И крупной бранью разразился,  
 Объ столь удара кулакомъ:  
 — Стой! Смирно! Эй, Арина!  
 Постель готовъ мнѣ на полу...  
 Ты, дочка, чтобъ стоишь въ углу!  
 Картина, стало, а? Картина?  
 Ты, значитъ, дочь! Должна разуть!  
 Вотъ-такъ... не рви! ослабь маленько...  
 А сапоги-то не забудь  
 Помазать саломъ хорошенъко. —

## VII.

Веселый день сіялъ давно,  
 Когда Кулакъ отъ мухъ проснулся;  
 Зѣвнулъ, лѣниво потянулся  
 И настежь отворилъ окно.  
 Старушка, стоя передъ печкой,  
 Рубила свеклу острой сѣчкой  
 Въ корытцѣ. Желтый самоваръ,  
 Подъ потолокъ пуская паръ,  
 При свѣтѣ солнца красовался.

Передъ окномъ среди стола  
 И, грѣя чайникъ, потѣшался:  
 То, какъ рабочая пчела,  
 Жужжалъ, минуты не смолкая,  
 То, будто жукъ, гудѣлъ баскомъ  
 Сердито. Чашки вытирая,  
 Сидѣла Саша за столомъ...

Старикъ припоминалъ неясно,  
 Что бунтовалъ вчера напрасно;  
 Водою освѣжилъ лицо  
 И плонулъ: „экое виндо!  
 Тошнить! Вчера я поздно  
 Пришелъ?“

— Да! — молвила жена. —  
 „А смиро легъ?  
 — Такой-то грозный!  
 Шумѣлъ, шумѣлъ... „Подай вина!“  
 Тутъ Саша на глаза попалась...  
 Бѣда! наслушались всего...  
 Спасибо въ садъ она прокралась,  
 Не то... —

„Не помню ничего...  
 Молитесь съ Сашею-то Богу:  
 Къ намъ сваха, можетъ быть, придетъ“.  
 — Опять на старую дорогу!  
 Ты видишь, дѣвка слезы льетъ,  
 И-ихъ, старикъ!

„И-ихъ старуха!  
 Не забывается сосѣдъ...  
 Вѣдь, я сказалъ, къ примѣру, нѣтъ!  
 Ну, — плеть не перебьетъ обуха, —  
 И кончено!“

— Они давно  
 Другъ другу нравятся... —

„Вѣстимо!

Ты съ дочкой-то своей родимой  
На всѣ проказы за одно“.

„Неправда, Саша отвѣчала,  
И нѣть, и не было проказъ:  
Въ тюрьмѣ росла-то, да отъ васъ  
То въ садъ съ постели убѣгала,  
То забиралась на чердакъ,  
Вотъ вся и радость!“

„Такъ-то такъ...“

Выходитъ — узель не развязанъ:  
Кто уступить кому обязанъ?  
Ты умница, отецъ дуракъ,  
За то, что кормитъ...“

Дочь молчала  
И плакала.

— Твой чай простыль,  
Старушка дочери сказала.  
— Пей, Сашенька! —

„Ей чай не милъ.  
Сгубилъ сосѣдъ твою голубку,  
Поплачь и ты: оно подъ стать“.  
И не спѣша набиль онъ трубку,  
Потомъ огонь сталъ высѣкать.

„Посмѣйтесь, весело покуда!“  
Сквозь слезы говорила дочь:  
„Когда, я вырвуся отсюда?  
Не жизнь тутъ: каторга, точь-вѣточъ!  
Взяла-бы вотъ глаза закрыла,  
Да, смерть, знать, горькую, забыла“.

„Гм... гдѣ это табакъ лежалъ?  
Отецъ спокойно отвѣчалъ:  
Сырой какой-то...“ — Я не знаю. —  
„Слыши, — дочкѣ-то не до того,

Подай хоть ты, старуха, чаю.  
 Жиденекъ, ну, да ничего".  
 — И-ихъ, старики! побойся Бога!  
 Сосѣдъ не пьяница, не мотъ,  
 Работникъ, и семьи немного,  
 А въ церковь-то когда придетъ..."  
 И вдругъ старушка потерялась,  
 Какъ будто грома испугалась.  
 „Чтобъ тамъ?" промолвилъ мужъ.

— Ну такъ!

Я нынѣ въ церковь-то сходила,  
 А просвиру и позабыла  
 Съѣсть передъ чаемъ, натощакъ... —  
 „Тыфу ты, къ примѣру? Ну, Арина,  
 Я думалъ... просто, — вонъ изъ рукъ..."  
 — Зачѣмъ плюешь-то, старичина? —  
 „Не видишь? — духъ нейдетъ въ чубукъ...  
 Стой! кто-то въ ворота стучится...  
 Ужъ не жидовка-ли опять  
 Сюда съ бѣлыми ташится? —  
 Вотъ я ей!.."

— Шерестань кричать!

Пусти, — я выгляну въ окошко,  
 Не сваха-ли твоя, Лукичъ...  
 Ой, сваха! Некому опричь!  
 Прибрать бы горенку немножко...  
 Бѣда... Все валится изъ рукъ.  
 Старики! надѣнь скорѣй сюртукъ...  
 И горя нѣть: стоитъ, ни съ мѣста! —  
 „Ну, струсила. Вотъ пусть невѣста  
 Уйдетъ на-время... это такъ,  
 А я не попаду въ просакъ".

---

## VIII.

Дверь заскрипѣла, отворилась,  
 И гостья, кашляя, вошла,  
 Святымъ иконамъ помолилась,  
 И чуть не въ поясь отдала  
 Поклонъ хозяину съ хозяйкой.  
 На гостьѣ былъ нарядъ простой:  
 Покрытый синею китайкой  
 Шушунъ, кокошникъ золотой,  
 Подарокъ бабушки богатой,  
 Да сарафанъ, съ кого-то взятый  
 За сватанье. Широкій нось  
 Украшенъ острою горбиной;  
 Взглядъ смѣтливый и ястребиный;  
 На красныхъ вѣкахъ капли слезъ;  
 (Старушка головой страдала,  
 И вѣчно, клѣтчатымъ платкомъ,  
 Глаза больные протирала).

„Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!  
 Здоровы-ли, мои родные?  
 Ну, жарь! На-си-илу доплелась!  
 Да пыль отъ вѣтра поднялась,  
 Изму-училася, золотые!“  
 — Садись-ка, матушка, садись!

Сказалъ Лукичъ: вотъ чашка чаю... —  
 „Давай, родной! уста спеклись;  
 Шестой десятокъ доживаю,  
 Насилу бродишь... ну и жа-арь!“

— Долей, Арина, самоваръ,  
 Привѣтимъ гостю дорогую,  
 Чѣмъ Богъ послалъ. —

„И-и, родной!

Привѣтъ хоть ласкою одной,  
 Да потрудись на рѣчъ простую  
 Мнѣ, глупой бабѣ, отвѣтать!—  
 — Изволь! послушаемъ, въ чёмъ дѣло...—  
 — „Кажись, вамъ времячко приспѣло  
 Живой товаръ свой съ рукъ сбывать...  
 Есть у меня купецъ,—не знаю,  
 Хорошъ-ли будетъ онъ для васъ?..“  
 — А, понимаю, понимаю,  
 Товаръ, къ примѣру, есть у насъ,  
 Да кто купецъ-то?

„Таракановъ...“

Такъ! отъ него-то я и ждалъ!  
 Лукичъ подумалъ и смолчалъ.  
 „Пенькой торгуетъ въ балаганахъ,  
 Мукою, батюшка, овсомъ.  
 Имѣетъ, знаешь ты, свой домъ...  
 А ужъ, красавецъ!.. И бровями,  
 И свѣтлорусыми кудрями,  
 Всѣмъ взялъ, хоть въ рамку, золотой!“  
 — Намъ красотой не любоваться,  
 А быль бы съ умной головой,  
 Умѣлъ бы дѣломъ заниматься,—  
 Вотъ это лучше красоты!—

„Охъ, батюшка, ума палата!

А домъ-атъ, поглядѣлъ бы ты,  
 Ужъ нечего, не наша хата...  
 Пять комнатъ, батюшка, просторъ!  
 На окнахъ, сударь мой, гардины,.  
 Въ простѣнкахъ разныя картины,  
 А дворъ-то, что это за дворъ!  
 Кругомъ дубовые амбары,  
 И лѣсь старинный, прочный лѣсь!  
 Въ одномъ углу большой навѣсъ...“

Въ амбарахъ всякие товары:  
 Что, золотой, и говорить,  
 Добра возами не свозить!“

— Ну, тутъ прикрасы не у мѣста,  
 Ты о приданомъ рѣчъ веди.—  
 „Рѣчъ о приданомъ впереди:  
 Для жениха нужна невѣста.  
 Ее онъ видѣлъ гдѣ-то разъ,  
 Да на—вотъ! Кругомъ закружился!  
 И хлѣба, золотой, лишился,  
 И ночью не смыкаеть глазъ,—  
 Все ею грезитъ. Да и мнѣ-то  
 Совсѣмъ покою не даетъ:  
 Тутъ мочи нѣть, а онъ придетъ,  
 Все умоляетъ: какъ-бы это  
 Сходила ты къ невѣстѣ въ домъ,  
 Поговорить съ ея отцомъ“.

— Ну, да однако, чтѣ же надо?—  
 „Такъ, что-нибудь, хоть для обряда:  
 Четыре головныхъ платка,  
 Ну-съ—три, четыре перстенька,  
 На шею жемчугу три нитки,  
 (Да, золотой мой, безъ поднizки!)  
 Салопъ на бѣличьемъ мѣху,  
 Сукна на чуйку жениху,  
 Три шали, восемь платьевъ новыхъ,  
 Кровать, комодъ и самоваръ,  
 Ну-съ... чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ  
 И денегъ, сударь, сто цѣлковыхъ.“

— Выходитъ дѣло, не взыщи:  
 Съ приданымъ этакимъ, гдѣ знаешь,  
 Иную дѣвушку иши.—  
 „И, золотой, ты обижашь!  
 Дай намъ невѣstu поглядѣть,

А тамъ рѣшенѣе женихово:  
 Онъ можетъ свой разсчетъ имѣть...  
 А то, вошла, сказалъ, — „здраво“,  
 Присѣла,—и отказъ готовъ.  
 — Ну, да! Вотъ эта рѣчъ умнѣе...  
 Не постоимъ изъ пустяковъ.  
 Смотрушки завтра. Попозднѣе  
 Прошу покорно вечеркомъ  
 Пожаловать къ намъ съ женихомъ.—  
 „Всенепремѣнно. Ваши гости...  
 Повѣришь-ли, что я скажу:  
 Состарѣлись мои всѣ кости,  
 Лѣтъ тридцать свахою хожу,  
 И счетъ-то свадьбамъ потеряла,  
 А и доселѣ, мой родной,  
 Всѣ, для кого я хлопотала,  
 Осталися довольны мной...  
 Кому какой таланъ отъ Бога!  
 За то, куда, вѣдь, не придешь,  
 И ласку, и хлѣбъ-соль найдешь...  
 Однимъ нехорошо немногого:  
 Иные выжиги за трудъ  
 По уговору не даютъ...  
 Ну, имъ и достается горько!  
 Начнешь по городу звонить,  
 То тѣмъ, то семь ихъ обносить,  
 И свадьба врозвъ... Да мнѣ-то сколько  
 Отъ нихъ, проклятыхъ, барыша“.  
 — Охъ, свашенъка, моя душа,  
 Хозяйка, сморщившись, сказала:  
 Не грѣхъ отъ этакихъ затѣй?—  
 „И, нѣтъ, родная! Я слыхала:  
 (Старшой мой сын-атъ грамотѣй,  
 Надъ библіей и засыпаетъ!)“

За око—око! Вотъ, вѣдь, чтоб!  
Коли тебя обидѣлъ кто,  
Не кланяйся,—не подобаетъ!“

— Виши, мать моя! Ну, мой старики—  
На рынкѣ, знаешь, все хлопочеть,  
Вонъ святцы есть,—читать не хочетъ:  
Я къ дѣлу, говорить, привыкъ,  
Отъ книгъ намъ прибыли немногого.  
Такое горе! Отъ того  
И я не знаю ничего,  
И согрѣшаю противъ Бога...  
Порою случай припадетъ  
Чтоб сдѣлать доброе,—боюся:  
А ну-ка, моль, я ошибуся—  
И это къ худу поведетъ...  
Вотъ тутъ ума и не приставишь:  
Подумаешь, да все оставилъ.—

Лукичъ любилъ потолковать,  
И у него, вплоть до обѣда,  
Со свахой длилася бесѣда:  
Дочь замужъ надо выдавать  
Умно, дескать; смотри тутъ въ оба,  
Тутъ думай думу не шутя:  
Не шапка,—кровное дитя;  
Дашь промахъ разъ,—бѣда до гроба..  
Но сваха не была плоха:  
Да, да! рассказывай, моль, сказки!  
И не жалѣла яркой краски,  
Рисуя бойко жениха.

## IX.

Рѣчь свахи даромъ не пропала:  
Ей дочь хозяйская внимала,

Въ съняхъ за дверью притаясь,  
 Едва дыша, не шевелясь.  
 Подслушивать—дурное дѣло!  
 Все это пошло, устарѣло,  
 Наружу вызвано давно,  
 Разъ тысячу повторено;  
 Но пошлость, видно, плодовита:  
 Не вырвешь съ корнемъ, все растетъ!  
 Приносить тайно и открыто,  
 Налитый ядомъ, горькій плодъ;  
 Бича насмѣшки не боится,  
 Ты шагъ впередъ—она у ногъ,  
 И гадиною шевелится...  
 Зачѣмъ? Откуда Видитъ Богъ?  
 Тутъ Саша не подозрѣвала  
 Дурнаго ровно ничего,—  
 Къ двери-ли ухо прикладала,  
 Иль сплетничала про кого.  
 Кому какое было дѣло  
 Ей съ малолѣтства докучать:  
 Вотъ это черно, это бѣло...  
 И для чего? ну, чтобъ за стать!  
 Сидѣть за варежкой, шить платье,  
 Да понимать въ стряпнѣ разсчетъ—  
 Вотъ были важныя занятъя,  
 Предметъ родительскихъ заботъ.  
 — Рости, дитя, на волю Божью!—  
 Созрѣеть дикій кустъ травы...  
 Посмотришь,—и холодной дрожью  
 Охватитъ съ ногъ до головы...

Ну, что ты, бѣдное созданье,  
 Въ съняхъ украдкою стоишь?  
 Твой домъ—тюрьма, житъе—страданье,

Сама безъ умолку твердишь.  
 Женихъ хорошъ, живеть исправно,  
 Ты будешь вдоволь ёсть и спать,  
 Сидѣть въ теплѣ, ходить нарядно,—  
 За чѣ же сваху проклинать?  
 Сосѣда любишь, горе мучить?  
 Отецъ упрямъ, отецъ разлучить..  
 Тоска въ груди гнѣздо совѣтъ,  
 Съ ума безсонница сведетъ...

Не оскорбляй святыни сердца!  
 Любовь свята: не оскорбляй!  
 Въ лицѣ—весна, душа младенца,  
 Въ крови огонь, во взглядѣ рай.  
 Она идетъ, —и небомъ вѣтъ,  
 Нечистый помыслъ прочь бѣжитъ,  
 Сырой тюрьмы окно свѣтлѣеть,  
 Среди зимы тепло стоять.  
 Въ груди, въ минуты сладкой муки,  
 Живой воды ключи кипятъ,  
 И свѣтъ, и тѣнь, цвѣты и звуки  
 Понятно сердцу говорятъ.  
 Нѣтъ, смыслъ иной въ твоей печали,  
 Инымъ ты вѣчно занята.  
 И въ міръ любви тебѣ едва-ли  
 Отворить время ворота.

„Вотъ жениха-то отыскала:  
 За дверью Саша горевала;  
 Ну, сваха! Онъ, дескать, богачъ! ..  
 Вотъ и молчи тутъ, и не плачь...  
 Уродъ какой-нибудь, да скряга,  
 Ёсть лукъ, да тюрю по постамъ...  
 А! Таракановы!.. Тѣфу, ты, срамъ!

И видно дрянь! Сосѣдъ-бѣдняга  
Хоть изъ себя-то молодецъ...  
У батюшки своя, вишь, думка,  
А дочь, моль, чтоб!.. Дороже рюмка...  
Все называется отецъ<sup>4</sup>.

И поль скрипучій проклиная,  
На цыпочкахъ переступая,  
Она прокралась по сѣнямъ  
Къ крыльцу, съ крыльца на дворъ, а тамъ  
Въ зеленый садъ.

Въ саду прохлада  
И шумъ. Кусты поразрослись,  
Поспутались, переплелись,  
Непроницаемой оградой  
Нависла надо рвомъ сирень,  
Кидая на дорожки тѣнь.  
Какъ снѣгомъ, бѣлыми цвѣтами,  
Усыпанъ вишеникъ густой.  
Тутъ яблони, тамъ, подъ плетнями,  
Бурьянъ, покрытый воробьями,  
Тропинка межъ травы густой.  
Вонъ стволъ березы серебрится,  
Она прямая и высока,  
Отъ вѣтра шапка шевелится,  
И въ даль протянута рука.  
Въ травѣ кузнечикамъ забота—  
Звенятъ, безъ устали куютъ,  
Богъ-вѣсть, желѣзо гдѣ берутъ;  
Тутъ по цвѣтамъ у пчель работа,  
Тамъ, смотришь, дятель прилетитъ,  
Объ иву носомъ застучить.

Но вотъ и Саша... Торопливо

Къ плетню сосѣдскому идетъ,  
 Сама рукой нетерпѣливой  
 То сломить вѣтвь, то отведеть.  
 Упрямы вѣтви! не пускаютъ:  
 За платье, за плечи хватаютъ,  
 И бьютъ, чуть въ слухъ не говорять:  
 „Куда! куда! — ступай назадъ!  
 Изъ-за чего заторопилась?“  
 Плетень все ближе. Онъ увитъ  
 Весь хмѣлемъ. Саша наклонилась  
 И хмѣль раздвинула,—глядитъ:  
 Дворъ пустъ, и только по срединѣ  
 Блеститъ стекло на желтой глинѣ...  
 Одна насѣдка подъ крыльцомъ  
 Усердно дѣломъ занималась:  
 Въ сору съ цыплятами копалась,  
 Да хрюкалъ боровъ подъ плетнемъ...  
 — Знать, подождать сосѣда надо...—  
 Она подумала съ досадой  
 И опустилась на траву...  
 Глядѣла долго на листву,  
 Вокругъ ромашку обрывала  
 И на послѣдокъ задремала.

## X.

Кулакъ на рынкѣ. Тихъ весь домъ.  
 Отъ мухъ покрытая платкомъ,  
 Старушка крѣпко почиваетъ,  
 И котъ съ ней рядомъ на полу;  
 Одна пчела не умолкаетъ,  
 Скользя по гладкому стеклу.  
 Тоскуетъ Саша,— ей не спится:  
 Сосѣда нѣть, пока, не ждать,

Работать,—праздникъ, не годится;  
 Въ окно прохожихъ наблюдать?  
 Оно пріятно и не трудно,  
 Да не теперь: кругомъ безлюдно.  
 Одинъ исходъ помочь тоскѣ—  
 Пройтися за водой къ рѣкѣ.

Прогулка скучная, конечно,  
 Когда въ водѣ и нужды нѣть,  
 Но надоѣсть и дома вѣчно  
 Глядѣть въ окно на бѣлый свѣтъ.  
 У бѣдной дѣвушки-мѣщанки  
 Не весель праздничный денекъ.  
 Порою зимней, у лежанки,  
 Смотря на яркій огонекъ,  
 Она на картахъ погадаетъ,  
 Сѣменъ подсолнечныхъ возьметъ,  
 Пошелушитъ,—и день смеркаетъ,  
 Обычный ужинъ настаетъ.  
 Но время лѣтомъ страшно длится!  
 Подруги въ гости къ ней нейдутъ,  
 Заснуть приляжетъ,—ей не спится,  
 То жарь, то мухи не даютъ.  
 Идетъ бѣдняжка за водою,  
 Подругу встрѣтить на пути,  
 Ну, какъ тутъ рѣчи не найти!  
 Знакомый лавочникъ порою  
 Отвѣсить поясной поклонъ,  
 И день отрадно проведенъ.

Полдневный воздухъ жаромъ пышетъ,  
 На небѣ нѣть ни облачка;  
 Съ открытой грудью спить—не дышеть  
 Въ постели свѣтлая рѣка;

На берегу бѣлѣтъ камень,  
 Онъ бѣль, какъ снѣгъ, горячъ, какъ пламень;  
 За бѣлымъ камнемъ грачъ сидитъ,  
 Крыло повисло, клювъ раскрытъ.  
 Подъ пылью пестрою толпою  
 Идутъ коровы къ водопою;  
 Усталый, щелкая кнутомъ,  
 Пастухъ тащится босикомъ.  
 Приладивъ пузыри подъ мышки,  
 Шумя, купаются мальчишки,  
 И брызги въ стороны летятъ,  
 Отъ солнца искрами горятъ;  
 А вѣрно мать ихъ, въ юбкѣ красной,  
 Оттерла самоваръ пескомъ  
 И смотритъ: вонъ, дескать, какъ ясно,  
 Блеститъ, какъ золотцо, кругомъ!..

Вотъ камень. Саша отдохнула.  
 Все нѣть подругъ! И тутъ тоска,  
 Песокъ, мальчишки, да рѣка...  
 Воды студеной почерпнула  
 И оглянулася: ну, вотъ!  
 Откуда онъ? Сосѣдъ идетъ.

Сосѣдъ-столяръ высокъ и строенъ,  
 Не очень смуглъ, не слишкомъ бѣль,  
 Веселый взглядъ его спокоенъ,  
 И простодушно-твердъ, и смѣль;  
 Опрятень казакинъ изъ нанки,  
 Рубашка красная чиста,  
 Не въ тяготу ему рубанки  
 И не въ кручину бѣднота.

„А! за водою приходила?  
 Ну, чтб отецъ?.. Бѣда прошла?

Обрадуй!.. Вѣрно упросила...“

— Я три часа тебя ждала...—

„Въ саду?... Да тутъ стариkъ скончался,  
За мной прислали чуть-лишь свѣтъ...“

Жена голоситъ: гроба нѣть!

Я приготовить обѣщался,

И посидѣль тамъ. Жаль до слезъ!

Спасибо, есть готовый тесъ...“

Такъ, стало, туча миновала?..“

— Ну, да!—И Саша рассказала

О свахѣ.

„Вѣсть не хороша!

Неужто все, моя душа,

Пропало?“

— Батюшка-то воленъ —

Не переспориць. Онъ сказалъ,

Чтобъ ты двора его не зналъ...—

„Вотъ человѣкъ! Упрямствомъ боленъ!

Вѣдь, за тобою у него

Не требую я ничего...“

Я бѣденъ: этого боится?

Такъ мой верстакъ не залежится,

Пока не высохнетъ рука,

Я не останусь безъ куска...“

Проси его!.. Авось уступитъ?..“

— Да какъ просить-то? Чѣмъ помочь?..—

„Какъ Бога умоляй! Ты дочь...“

Другой на рынкѣ онъ не купить...“

Ты знаешь, я не говорунъ,

Божиться - не божусь: не лгунъ,

А будешь ты моей женою,

Не то что за тебя вѣнчану,

Или на трудъ ночной порою,—

Я прямо вѣ полымя пойду“.

У Саши щеки запылали,—  
 Богъ знаетъ, глубоко-ль запали  
 Ей въ душу рѣчи бѣдняка,  
 Или, какъ говоръ вѣтерка,  
 По соннымъ листьямъ пробѣжали,  
 И снова листья сонъ объяль,  
 Какъ скоро вѣтеръ замолчалъ...  
 Она стыдливо отвернулась,  
 Слезу отерла, улыбнулась,  
 И отвѣчала: „что умретъ,  
 А за другаго не пойдетъ“.

## XI.

Смеркалось. Съ трубкой закуренной  
 И разгорѣвшимся лицомъ,  
 Упрямствомъ Саши разсерженный,  
 Кулакъ сидѣлъ передъ окномъ,  
 И думаль луму. Дочь металась  
 Въ постели, вся въ жару, въ тоскѣ;  
 Старушка, съ рюмкою въ рукѣ.  
 Къ больной тревожно наклонялась  
 И говорила: „Перестань!  
 Ну, полно охать-то! привстань!  
 Вотъ уксусъ. Дай-ка, я немнogo  
 Тебѣ затылокъ помочу“,—  
 — Не приставайте, ради Бога!—  
 Дочь отвѣчала—не хочу!—  
 „Вотъ закоснѣлое упрямство!“  
 Сказалъ отецъ: „не въ мочь терпѣть!  
 Иль встать? и я найду лѣкарство —  
 Ременную, витую плеть“.  
 — Богъ съ вами! Я вамъ надоѣла...  
 Вамъ Таракановъ дорогъ...—  
 Да!—

Вонъ мѣтитъ лѣвка-то куда,  
 Не такъ, къ примѣру, заболѣла!  
 Ты постыдилась бы людей!  
 Или отецъ-атъ твой злодѣй?  
 Иль я со зла тебя морочу?  
 Ну, для кого я хлопочу, .  
 Кому свое добро-то прочу?..  
 Да что тутъ!.. Лучше замолчу.  
 Нѣть, съ бабами не сладишь скоро,  
 Съ досадою онъ разсуждалъ:  
 Какъ на пожарѣ я кричалъ,  
 Поди, вѣдь, не окончилъ спора;  
 За косы взяться? визгъ пойдетъ,  
 И жаль! Постой — я знаю средство,  
 Оно вреда не принесетъ,—  
 Эхъ-ма достался мнѣ въ наслѣдство  
 Отъ батюшки таланъ худой!  
 Промолвилъ онъ, махнувъ рукой...  
 И самъ-то радости не видѣлъ,  
 И дочери, знать, въ горѣ жить...  
 Ну, Саша! послѣ не тужить!  
 Не говорить — „старикъ обидѣлъ“.  
 Ты — умница, ну, такъ-и-такъ,  
 Выходитъ лѣло, — я дуракъ.  
 Не буду спорить, Богъ съ тобою!  
 А вспомнишь всѣ мои слова,  
 Когда пойдешь ходить съ сумою,  
 Разумная ты голова“.

— У васъ всегда однѣ догадки...  
 Мнѣ къ бѣдности не привыкать:  
 Я стану шить, вязать перчатки...—

„А мужъ начнетъ пилить, стругать,

Тамъ явятся, глядишь, дѣтишки,  
И дѣвочки, и ребятишки,  
И повалится въ домъ казна!  
Живи, какъ въ маслѣ сыръ катайся!  
Капустой, мисой толокна  
Въ семьѣ, какъ хочешь, подѣляйся,  
Одежда и въ разсчетъ нейдетъ:  
Она къ вамъ съ неба упадеть".

— Вамъ только!.. смѣйтесь надо мною...  
Вотъ участъ-то! Въ углу родномъ  
Живу постылой сиротою:  
Не скажутъ слова мнѣ добромъ!  
Молитву-то читать учили,  
Не такъ читала,—розгой били!..  
Я отъ чужаго не таюсь,  
Съ отцемъ поговорить боюсь,  
Я приласкаться къ вамъ не смѣю...—  
„Какъ быть-то! я не виноватъ,  
Что нравомъ крутъ... я самъ не радъ:  
Вѣдь, я люблю тебя, жалѣю...  
Мнѣ развѣ хочется кричать!  
Тутъ, кажется, ослу понятно,  
Ну что-жъ, къ примѣру, мнѣ пріятно  
За нищаго тебя отдать?  
У столяра одна избенка,  
Казны ни гроша; мать—бабенка  
Сварливая, всегда ворчить,  
Ей и святой не угодить.  
А Таракановъ—смѣтливъ, ловокъ,  
Богатъ, торговый человѣкъ;  
Онъ надарить тебѣ обновокъ  
До свадьбы-то на цѣлый вѣкъ!  
Теперь коня, вишь, покупаетъ,

Для молодой, дескать, жены,  
Не тронь,—катается, гуляетъ...  
Не знаешь людямъ-то цѣны,  
Да вдзориши... Вотъ она причина!“

„Ахъ Саша!“ молвила Арина:

„Не спорь, дружочекъ, съ старикомъ:  
Я принуждать—не принуждаю,  
Да по себѣ сужу, и знаю,  
Какъ тошно жить за бѣднякомъ: .  
И ослушаться грѣхъ и стыдно;  
Я дочерью сама была  
И по приказу замужъ шла,  
Такъ стало надо...“

„Нынѣ видно,

Родителямъ-то старикамъ  
Почеть, какъ старымъ сапогамъ...“

Старушка снова продолжала:

„Послушайся, моя душа!  
У насъ ты рукъ не покладала,—  
Женихъ богатъ, ты хороша,  
Ты будешь куколкой рядиться,  
Въ саняхъ и дрожкахъ разъѣзжать.  
Въ домахъ богатыхъ веселиться,  
Гостей почетныхъ принимать...  
Ты насъ порадуешь подъ старость,  
Ты наша дочка, наша кровь!  
Надежда ты моя и радость,  
Послушайся, не прекословь!..“

И Сашу крѣпко обнимала  
Старушка добрая. Она  
Была теперь убѣждена,  
Что дѣвушка не понимала,  
Какъ мало ждетъ ее добра  
Подъ бѣдной кровлей столяра.

„Идите сами на смотрушки,  
Не покажусь я никому“,  
Дочь отвѣчала: „я съ подушки  
Вотъ головы не подыму“.  
И Саша, охала, крѣпилась,  
Больной до полночи была,  
Потомъ старушку обняла,  
Заплакала—и согласилась.—  
„Давно бы такъ!“ сказалъ отецъ:  
„Вотъ и не спорю, и конецъ!“

## XII.

Мерцаютъ звѣзды. Городъ сонный  
Какъ-будто вымеръ, такъ онъ тихъ.  
Сквозь сумракъ камни мостовыхъ  
Бѣлѣютъ смутно. Мѣсяцъ полный  
Плыветъ. Онъ волю даль лучамъ:  
По крышамъ лазятъ, по стѣнамъ;  
Одинъ въ окно слезу подмѣтить,  
Другой, какъ хитрый чародѣй,  
Въ тюрьму проникнетъ безъ ключей  
И цѣпь колодника освѣтить;  
Неслышно церковь навѣстить,  
Окладъ иконъ посеребрить.  
Не зная страха и запрета,  
Войдетъ въ алтарь, осмотритъ поль  
И скорбный ликъ Владыки свѣта,  
И дерзко ляжетъ на престолъ.  
Иль въ чашу сада проберется,  
По темной зелени блеснетъ,  
Росинку на листѣ найдетъ,  
Росинка искрою зажжется.  
А городъ спитъ-себѣ, да спитъ...

Порой по улицѣ широкой  
 Пройдется сторожъ, постучить;  
 Идетъ онъ молча, одиноко,  
 А тѣнь, сзади, на мостовой  
 Махнетъ, какъ и онъ, рукой.  
 Иль царской службой занесенный  
 Въ урочный часъ подъ небеса,  
 Спросонокъ, инвалидъ смиренный  
 Протреть на каланчѣ глаза  
 И съ разстановкой, отъ бездѣлья,  
 Посвищеть въ дудку... Вонъ окно  
 Вдали огнемъ освѣщено,  
 Кто тамъ не спить?.. Разгуль веселья,  
 Любовь-ли, горе, иль порокъ,—  
 То знаетъ ночь одна, да Богъ

И ты, столяръ, въ свой постели  
 Не успокоился доселѣ!  
 Лежитъ онъ подлѣ верстака,  
 Отдѣлкой гроба утомленный;  
 Подушка — локоть обнаженный,  
 Подъ локтемъ — жесткая доска.  
 Печально смотритъ мастерская;  
 Смолистый запахъ изливая,  
 Бѣлѣютъ стружки на полу,  
 Сосновый гробъ стоитъ въ углу,  
 Топоръ въ березовый отрубокъ  
 Воткнулся носомъ; на стѣнѣ  
 Чернѣетъ старый полушибокъ,  
 Пила блистаетъ при огнѣ.  
 Подъ образами, на скамейкѣ,  
 Въ потертой желтой душегрѣйкѣ  
 Сидитъ дородная вдова,  
 Семыи сварливая глава,

И молча карты раскладаетъ...  
 Про сынинь бракъ она гадаетъ:  
 Но сбивчивъ глупый ихъ отвѣтъ:  
 То выйдетъ—да, то выйдетъ—нѣтъ,—  
 Вотъ, напримѣръ: печаль, дорога,  
 Постель, больная, интересъ...  
 Да тутъ и навыкъ не помога,  
 Богъ знаетъ, просто—темный лѣсъ,  
 Межъ-тѣмъ, съ гремушкою въ рученкѣ,  
 До вечера проспавшій днемъ,  
 Въ штанишкахъ, синей рубашенкѣ,  
 По стружкамъ скачеть босикомъ  
 Ея сынишка краснощекій.  
 И православныхъ избѣ жилецъ,  
 Извѣстный на Руси пѣвецъ,  
 Сверчокъ стрекочетъ одиноко  
 Подъ печью.

„Вотъ“, сказала мать:  
 „Вотъ пиковый король... постылый!  
 Онъ твой злодѣй, мой Вася милый!  
 Посмотришь, свадьбѣ не бывать,  
 Ни, ни!.. я прежде это знала:  
 Намедни, помнится, во снѣ  
 Жемчугъ да биссеръ я низала,—  
 И доведется плакать мнѣ“.

Сынъ улыбнулся беззаботно,  
 Провелъ рукой по волосамъ  
 И промолчаль. Не вѣря снамъ,  
 Онъ вѣриль Сашѣ безотчетно.  
 Конечно, вѣра—все для нась:  
 Въ ней золь святое примиренье,  
 Да разувѣришься подъ часъ!  
 Порой разумное творенье,

Бываетъ такъ измельчено,  
 Запачкано, искажено,  
 Что, право, надобно полвѣка  
 Его съ любовью изучать  
 За тѣмъ, чтобы душу человѣка  
 Подъ этой грязью отыскать.  
 Столляръ избѣгъ подобной встрѣчи:  
 Онъ ростъ въ нуждѣ, пилиль, стругаль,  
 Не человѣка наблюдалъ;  
 Но помнилъ онъ отцовы рѣчи  
 И выросъ съ вѣрою въ добро:  
 „Вотъ видишь, это серебро“,  
 Ему отецъ, бывало, скажетъ,  
 И въ головѣ свой сѣдой  
 На кудри жесткія покажетъ:  
 „Отъ нуждѣ и горя, мой родной,  
 Все это нажито до срока;  
 Да, коли честно ты живешь,  
 И нѣтъ на совѣсти упрека, —  
 Все хорошо! И свѣтъ хорошъ,  
 И будетъ ласковъ людъ съ тобою:  
 Коли обидятъ, — промолчи,  
 Не гнѣвайся! Не будь судьею!  
 Ты пуще вотъ себя учи...“

Не такъ-себѣ, для наставленья,  
 Твердилъ о совѣсти старикъ,  
 То не были и строки книгъ,  
 Плоды избитаго ученья:  
 Живою книгой самъ онъ былъ.  
 Изъ жизни слово выносилъ.  
 Зародышъ книга уронила,  
 Смерть навсегда ее закрыла,  
 И въ ящикѣ она лежитъ,

Надъ нею крестъ святой стоитъ.  
 Но сынъ окрѣпъ. Съ нуждою злую,  
 Какъ умный мужъ съ дурной женою,  
 Безъ шума ладить онъ умѣль,  
 Безъ щей оставитъ, — все терпѣль  
 Не тутъ ты выростъ, лубъ тѣнистый!  
 Могучей силѣ, какъ твоя,  
 Просторъ бы нуженъ, воздухъ чистый,  
 Не эта крыша и семья;  
 И не съ твоей душой и мочью,  
 О Сашѣ думать темной ночью,  
 Да глуши кругомъ, да въ сердцѣ жаръ...  
 Эхъ, бѣдный, бѣдный мой столяръ!

„Мнѣ то досадно, мать сказала,  
 Что Кулаку я уважала!  
 Давно-ль жена его у насъ  
 Брала утюгъ, дескать, на часъ,  
 Три дня держала, — я ни слова!..  
 Я подѣлиться, моль, готова  
 Съ сосѣдомъ. Сальную, свѣчу,  
 Въ заемъ, на „красной горкѣ“ взяли,  
 И до сихъ поръ не отдавали...  
 Ништб... покуда помолчу,  
 А если насъ онъ одурачить,  
 Я за себя не поручусь,  
 Ни, ни! я такъ съ нимъ расплачусь,  
 Что любо!“

— Это скора, значитъ,  
 Отвѣтиль сынъ: изъ-за чего?  
 Безъ шума дѣло обойдется. —  
 „Какъ свистнешь, такъ и отзовется...  
 Я не боюся никого!  
 Мнѣ эдакъ дорогъ твой Кулакъ,

Чтò вонъ немытая тряпица...  
 Ну, Саша, точно не въ него,  
 Скромна, работать мастерица,  
 Умомъ-то... правда, ничего.  
 Ахъ, Вася! я и не спросила.  
 За гробъ-атъ много-ли ты взялъ?“  
 — Да такъ-себѣ... Не въ этомъ сила,  
 Покойника-то я, вѣдь, зналъ.  
 Чудакъ! Онъ жилъ въ своемъ домишкѣ,  
 Такъ въ старой мазанкѣ. Ходилъ  
 Зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ,  
 Щегловъ, чижей, синицъ ловилъ...  
 Бывало, раннею зарею  
 Въ лѣсь проберется съ западнею  
 Да съ сѣтью, — холодъ ни-почемъ!  
 Разставитъ сѣть, а съ птицей клѣтку  
 Повѣсить, знаешь ты, на вѣтку,  
 И на-сторожѣ за кустомъ  
 Дрожитъ въ снѣгу... Одну заботу,  
 Покуда кончился, имѣль:  
 „Охъ-ма! не въ пору заболѣль!  
 Теперь — вотъ въ лѣсъ-бы.. па охоту...“  
 Кончаться сталь, какъ закричитъ:  
 „Жена! пусти на волю дѣтокъ!“  
 — Какихъ тамъ дѣтокъ? говоритъ. —  
 „Моихъ-то вотъ, моихъ... изъ клѣтокъ!“  
  
 „Какихъ на свѣтѣ нѣтъ людей!  
 И твой отецъ чудилъ не мало:  
 Да скоро бросиль. Все, бывало,  
 Шестомъ гоняетъ голубей.  
 Тѣ, знаешь, съ крыши встрепенутся,  
 Куда! подъ облака взовьются...  
 Ему-то радость! Вверхъ глядить,

А самъ свистить, а самъ свистить!<sup>“</sup>

— Охота не укоръ. Намъ стыдно  
Тревожить кости старика...

Слыши, Ваня, хочешь молока? —  
„Нѣтъ, братецъ...“

— Покормили видно.

Ну, хорошо. Сюда поди;  
Игрушку брось. Пора молиться.  
Смотри-же, братъ, не торопиться.  
Ты крестъ, какъ надобно, клади. —

И вотъ дитя перекрестилось,  
Огонь головку освѣтилъ:  
Мать позади остановилась,  
Столяръ молитву говорилъ:

Прости, Господи,  
Меня грѣшнаго  
И весь міръ прости!  
Вразуми меня  
Своей мудростью,  
Научи меня  
Всему добруму.  
Помяни мою  
Мать-кормилицу.  
Помоги въ нуждѣ  
Брату бѣдному,  
И родителю,  
Рабу Пимену,  
Мѣсто свѣтлое  
И покойное  
Уготовь. — Аминь.

— Ну, вотъ спасибо! братъ сказалъ,  
И на руки ребенка взялъ.  
Со мною ляжешь спать? —

„Съ тобою“.

— А съ матушкою? —

„Не хочу!“

И крѣпко розовой щекою  
Припалъ онъ къ братину плечу.

### XIII.

Смотрушки искони — забота, —  
Хозяйки съ трепетомъ ихъ ждутъ:  
Чуть не весь день кипитъ работа,  
Метутъ, и моютъ, и скребутъ.  
Едва блеснувшій лучъ разсвѣта  
Засталъ Арину на ногахъ,  
Она была совсѣмъ одѣта  
И грѣла воду въ чугунахъ.  
Старушка ставней не открыла  
И въ горенкѣ, какъ тѣнь, ходила,  
Тревожить шумомъ не хотя  
Всю ночь не спавшее дитя.  
Вотъ утро. Саша не гуляетъ,  
Нѣмой тоской подавлена,  
И молчалива и блѣдна,  
Она посуду вытираетъ.  
Сборъ разныхъ чашекъ, пузырьковъ,  
Графины, рюмки и бутыли  
Изъ царства темноты и пыли  
Пришли омыться отъ грѣховъ.  
Звенять они, другъ-дружкѣ вторятъ:  
Ну, что, моль, если невзначай  
Изъ рукъ, да на полъ нась уронять?  
И шкафъ, и мы на-вѣкъ прощай!  
Теперь поламъ пора мученья:  
Водой облитые кругомъ  
Они выходятъ изъ терпѣнья,  
Скрипятъ подъ краснымъ кирпичемъ.

А подъ окномъ, на вѣткахъ ивы  
И крикъ, и споръ нетерпѣливый  
У любопытныхъ воробьевъ.  
„Смотрите, молъ, мытье половъ,  
Возня, тревога... дѣло худо!  
И котъ вонъ тутъ! Скорѣй отсюда!“  
И птицы дружно поднялись,  
И вдаль въ испугѣ понеслись.

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:  
Всталъ рано, чутъ не на зарѣ,  
Замѣтилъ, что заборъ не проченъ,  
Двѣ щепки поднялъ на дворѣ  
И въ кухню отдалъ на топливо, —  
Хозяйствомъ грѣхъ пренебрегать.  
Онъ зналъ, что надо терпѣливо  
И неусыпно собирать  
Добро домашнее. Бывало,  
Когда домой идетъ не пьянъ,  
Чтѣ подъ ноги ему попало —  
Подкова, гвоздикъ, — все въ карманъ.  
Прошелся по саду отъ скуки,  
На яблони червей сыскаль  
И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:  
„Ахъ, вы, анаемскія штуки,  
Не давитесь чужимъ добромъ!..“  
И, наконецъ, покинулъ домъ.  
На перекресткѣ помолился  
На церковь. Нищѣй поклонился...  
Откуда, чья она — спросилъ  
И грошъ ей въ чашку положилъ,  
Не по любви и состраданью  
Къ подобному себѣ созданью,  
Онъ просто вѣрилъ, что Господь

За подаяніе святое  
 Ему сторицею пошлетъ.  
 Желанье, кажется, благое  
 И не убыточный разсчетъ?  
 Купилъ на площади торговой  
 Осенней шерсти два мѣшка  
 У горемыки-мужика;  
 О всходѣ ржи и гречи новой  
 Потолковалъ съ нимъ напередъ  
 И крѣпко побратилъ господъ:  
 „Народъ, моль, да! работай втрое,  
 Изъ жилъ тянись, имъ все не въ честь!..“  
 Мужикъ быль тронутъ за живое,  
 Заговорилъ, забыль про шерсть:  
 Вотъ тб, дескать, и тб... и въ праздникъ...  
 „Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумажникъ“  
 Лукичъ нахмуряясь отвѣчалъ  
 И, вѣся шерсть, на рубль укралъ.  
 Домой пришелъ съ двумя узлами;  
 Тамъ были булки съ кренделями,  
 Орѣхи, сладкіе стручки,  
 Изюмъ и Сашѣ башмачки.  
 „Вотъ, Саша, на... Ты поскромнѣе  
 При женихѣ себя веди,  
 Чтѣ спросятъ, отвѣчай умнѣе, —  
 Болваномъ, значитъ, не сиди“.

Всѣ стулья заняты гостями:  
 Смотрушки въ горенкѣ давно.  
 Румяный, съ русыми кудрями,  
 Женихъ сидитъ подъ образами,  
 И говоромъ оживлено  
 Собранье. Женщины толкуютъ,  
 Что оплошалъ гостиный рядъ,

Товары завалю глядять,  
 Купцы безсовѣстно плутуютъ,  
 На шляпахъ мало пестроты,  
 На ситцахъ блѣдные цвѣты.  
 Дѣвѣ-три старушки вспоминаютъ  
 О сарафанахъ съ галуномъ,  
 О серыгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,  
 И прихоть моды обвиняютъ.  
 Хозяинъ судить съ женихомъ  
 О разныхъ отрасляхъ торговли,  
 О недостаткѣ рыбной ловли  
 Въ ихъ городѣ, и сознаетъ,  
 Что Таракановъ рѣчъ ведеть  
 Разумно. Скромная невѣста  
 Два раза поднималась съ мѣста  
 Гостей сластями обносить  
 И свой нарядъ перемѣнить.  
 Женихъ и мать его съ роднею  
 Переглянулись межъ собою,  
 Привстали чинно, не спѣша,  
 И молча потянулись въ сѣни  
 Для приговора и суждений —  
 Была-ль невѣста хороша?  
 Кулакъ въ углу шепталъ съ женою,  
 Съ дороднымъ кумомъ и кумою,  
 Дочь высадаль въ кухню напередъ;  
 Теперь, моль, торгъ у насъ пойдетъ.  
 Но вотъ съ гостями сваха входитъ,  
 Поклонъ, другой — и рѣчъ заводить:  
 „Ну, батюшка, товаръ хорошъ!  
 Купца похвалишь-ли, не знаемъ“.  
 — Ты честь товару отдаешь, —  
 И мы купца не обижаемъ.  
 Разсчетъ въ приданомъ? —

„И, — родной!  
Не просимъ лишняго“.

— Постой!

Твой разговоръ, къ примѣру, красенъ...  
Ты слушай вотъ что: я согласенъ  
Салопъ и все... а жемчугу  
И денегъ дать я не могу...

Безъ жемчуга дойдетъ до дома...  
Онъ думалъ: трудно безъ заема. —  
„Нѣтъ, нѣтъ! копѣчки одной  
Мы не уступимъ, золотой“!  
— А я и нитки не прибавлю... —  
И закипѣлъ упрямый споръ.

„Пустѣйшій, значитъ, разговоръ“,  
Сказаль женихъ: „я все поправлю!  
Дочь ваша, смѣю доложить,  
Не то что, да-сь!... Ей-ей, безъ лести!  
Извольте нась благословить,  
Когда я нравлюсь ихней чести...  
А деньги — пыль-съ...“

— Выходитъ рокъ...  
Жена! утирку и платокъ! —

Старушка, плача, сутилась,  
Невѣста снова появилась,  
Подносъ у матери взяла  
И жениху, съ боязни тайной,  
На немъ подарокъ обручальный,  
Глаза потупивъ, подала.  
Женихъ утерся имъ легонько,  
Невѣстѣ молча возвратилъ.  
Утерлась и она.

„Ну, только,  
Теперь Господь васъ съединилъ“,

Съ поклономъ сваха имъ сказала  
 И поцѣлуемъ приказала  
 Обрядъ закончить, рядомъ сѣсть,  
 И полюбовно рѣчи весть:

Подруги Саши не лѣнились,  
 Пришли на зовъ, и въ тишинѣ  
 Гостямъ, краснѣя, поклонились;  
 Краснѣя, сѣли въ сторонѣ  
 И пѣли пѣсни, не смолкали,  
 Пока слезами не согнали  
 Румянца яркаго со щекъ...  
 И скажутъ — слезы не порокъ!

Бесѣда весело кипѣла,  
 Женихъ невѣсту цѣловалъ.  
 Вино лилось. Кулакъ плясалъ,  
 Его жена помолодѣла:  
 Покачивая головой,  
 Она въ ладони ударяла  
 И мѣрно топала ногой.  
 Невѣста молча разсуждала,  
 Что Таракановъ очень милъ:  
 Одѣтъ пестро, лицемъ пріятенъ  
 И въ обхожденьи деликатенъ...  
 Межъ тѣмъ женихъ ей говорилъ:  
 „Вы танцы любите?“

— Танцую,  
 А вы? —

„Да какъ-бы вамъ сказать,  
 Ногами вензеля писать  
 Мнѣ некогда-сь. Вѣдь, я торгую“.  
 — Вы курите? —

„Ни — Боже мой!

И не къ чему-съ. Расходъ пустой“.

— Зимой катаетесь? —

„Бываетъ,

На сырной... это ничего-съ;  
Вотъ жалко, вздорожалъ овесь,  
Конь, знаете, не понимаетъ,  
Чтоб жерновъ — мелеть Божій даръ“.

— Скажите! —

„Да-съ! Вотъ самоваръ

Въ семействѣ нуженъ. Не скрываю:  
Съ ребячества привыкъ я къ чаю,  
Сначала просто пью, потомъ  
Употребляю съ молокомъ,  
Есть, знаете, своя корова...  
Вы вяжете чулки?“

— Вяжу,

И шью, и бисеромъ нижу. —

„Позвольте, это нездороно,  
О бисерѣ я говорю.

Низать не хорошо для зрѣнья“.

— Я кошелекъ вамъ подарю... —

„Своей работы?“

— Безъ сомнѣнья. —

„Чувствительно благодарю“.

Усердной пляской утомленный.

Кулакъ забился въ уголъ темный

И, шурясь, бормоталь сквозь сонъ:

„Не надо! Убирайтесь вонъ...“

— Прощайте, батенька, прощайте! —

Женихъ съ улыбкой отвѣчалъ

И руку Лукичу пожалъ.

„Ты что за птица?“

— Угадайте! —

„Подай свѣчу... Вотъ такъ... не знаю,  
 Столляръ что-ль? Нѣть, онъ не таковъ...“  
 — Я Таракановъ, Глѣбъ Петровъ. —  
 „А вспомнилъ, вспомнилъ, понимаю...  
 Ну, поцѣлуй меня... вотъ такъ!...  
 А я ей-Богу не дуракъ,  
 И Саша вотъ дитя родное...  
 Мнѣ, значитъ, жаль... Продумалъ ночь...  
 И столяры, и все такое.  
 А ты, вѣдь, можешь мнѣ помочь?..  
 На совѣсть, честно поторгую!  
 И ты, выходитъ, чуть сплутую...“  
 Женихъ за дверью былъ давно,  
 Не замолкалъ Кулакъ равно.

## XIV.

Бѣлѣеть утро. Надъ домами  
 Дымъ коромыслами встаетъ.  
 Со всклоченными волосами  
 Выходитъ дворникъ изъ воротъ,  
 Зѣвая, чешетъ грудь, затылокъ,  
 И лѣзетъ ставни открывать.  
 Бѣжитъ бѣгомъ съ ключемъ на рынокъ  
 Мальчишка-лавочникъ, а мать  
 Въ окно кричитъ ему спросонокъ:  
 „Не ъшь ты дыни, пострѣленокъ,  
 Побереги ты свой животъ“.  
 Плетется ницій стороною,  
 На костыляхъ, съ пустой сумою;  
 А вотъ семинаристъ идетъ:  
 Ротъ калачомъ набить, подъ мышкой  
 Тетрадь съ изорванною книжкой.  
 — Постой, кутейникъ, погоди! —  
 Голосить баба позади,

Таша баранину сырью:  
 Вотъ я-те, я-те, поворую,  
 Я дамъ тебѣ, какъ лазить въ садъ! —  
 Торговка, трубочистъ, солдатъ,  
 Купецъ корысти недоступный,  
 Маляръ, чиновникъ неподкупный,  
 Снуютъ, встрѣчаются, спѣшать.  
 Пойдетъ обычная работа!  
 Иной и не успѣлъ уснуть:  
 Всю ночь промучила забота—  
 Получше ближняго надуть.

Столяръ сидитъ съ нѣмой тоскою,  
 Поникъ кудрявой головою,  
 И не поетъ его пила:  
 Кручиня руки отняла.  
 Шубенкой матери покрытый,  
 Его братишка, какъ убитый,  
 Лицомъ къ стѣнѣ на лавкѣ спить,  
 И неразлучная игрушка,  
 Его любимая гремушка,  
 У ногъ забытая лежитъ.  
 Дверь настежь,—и вдова вбѣжала,  
 Съ усилиемъ духъ перевела,  
 Руками бойко развела  
 И крикнула: „не угадала!  
 Нѣтъ, карты, батюшка, не лгутъ...  
 Вотъ твой Лукичъ-то! Вотъ онъ, плутъ!  
 О-охъ, родимые, усталы!  
 Дай сяду... Охъ, терпѣнья нѣтъ!  
 Отдѣлали! Хорошъ сосѣдъ!“  
 — Нельзя-ли, матушка, безъ шуму?  
 Не весело и безъ того.—  
 „Ну, славно, славно! ничего,

Сиди вотъ сиднемъ, думай луму,  
А Сашка-то изподтишка  
Вонъ подцѣпила женишкa...  
Сейчасъ съ нимъ у воротъ прощалась,  
Ужъ цѣловалась, цѣловалась!..  
Ну, ну! Безстыжie глаза!  
Да чтб, вѣдь: на меня взглянула  
И головою не кивнула,  
А! каково! не чудеса!..“  
— Да ладно! Мнѣ-то что за дѣло? —  
„Благодарю, благодарю!  
Ну, извини, что надоѣла  
И не у мѣста говорю.  
Нѣтъ дѣла! Думаешь не шутка...  
Съ тобою матери-то мука:  
Дѣвченкой, дурой проведенъ!  
Понравилась! околдовала!  
Вишь роза! гдѣ и разцвѣтала!“  
И мать съ досады вышла вонъ...

Ей нужды было очень мало,  
Что сыпъ невѣсту потерялъ,  
Да самолюбіе страдало:  
Сосѣдъ, бѣднякъ — и отказалъ!  
Обидно — главная причина.  
И оскорблennая вдова  
Сердилась на себя, на сына,  
На цѣлый свѣтъ. Она едва  
Кота полѣномъ не убила  
За то, что въ кухнѣ захватила  
Его надъ чашкою съ водой;  
Котъ замяукalъ, какъ шальной,  
Шаражнулся на дворъ, оттуда  
Въ садъ Лукича, и тамъ пропалъ.

Вражды сосѣдственной покуда  
Несчастный котъ не понималъ.

Услышавъ вечеромъ случайно  
У Лукича напѣвъ печальный,  
Столяръ провелъ безъ сна всю ночь.  
Кого винить? Отца, иль дочь?  
Въ догадкахъ темныхъ онъ терялся,  
Сидѣлъ, ходилъ по мастерской,  
Бродилъ и по двору: порой  
Въ постелю жесткую кидался  
И вскакивалъ, или на мигъ  
Безъ нужды зажигалъ ночникъ.  
Неужто Саша не любила?..  
Женихъ богатъ... ее просила,  
Быть можетъ, на колѣняхъ мать,—  
И дочь не смѣла отказать;  
Отцу, быть можетъ, покорилась:  
Старикъ проклятьемъ угрожалъ,  
Не разъ прибиль, съ двора сгонялъ...  
Но истина теперь открылась:  
Онъ мелькомъ видѣлъ изъ окна,—  
Его сосѣдка не грустна.  
— Такъ вотъ какъ ты меня любила,  
Шутила шутки надо мной,  
Отца упрямаго винила!  
А я и вѣрилъ всей душой!..  
Эхъ, Саша, Саша!..—

И тоскливо

Глядѣлъ онъ на широкій дворъ,  
Поросшій жгучею крапивой,  
На кровли, на чужой заборъ,  
И смутно передъ нимъ мелькали  
Его прожитыя лѣта,

Шеренесенные печали,  
 Съизмала трудъ и нищета,  
 О домѣ, о семье забота,  
 О Сашѣ думы по ночамъ,  
 Бесѣды съ ней по вечерамъ,  
 Отца тяжелая работа  
 За верстакомъ по смертный часъ,  
 И при смерти его наказъ—  
 Жить мирно, честно, помнить Бога...  
 Вся обыденная тревога,  
 Все, чтб давно ужь пронеслось,  
 Закопошилось, поднялось,  
 Клещами за сердце схватило  
 И свѣтъ туманомъ позакрыло ..  
 Столляръ промолвилъ: „экой вздоръ!“  
 И кулакомъ глаза утеръ,  
 И со двора пошелъ безъ цѣли.  
 Погода ясная была.  
 Дуль вѣтерокъ. Колокола  
 Неумолкаемо гудѣли:  
 То церковь-мать дѣтей звала...  
 Столляръ на церковь помолился,  
 Подумалъ, твердою ногой  
 Переступилъ порогъ святой  
 И у столба остановился.  
 Народу нѣтъ. Окладъ иконъ  
 Лучами солнца освѣщенъ.  
 Нѣмые лики смотрять строго,  
 Свѣчей затеплено немнogo;  
 Подъ сводомъ сумерки лежатъ,  
 Двѣ люстры на цѣпяхъ блестятъ;  
 Сѣдой священникъ у престола,  
 Молясь, чело склонилъ до пола;  
 Поютъ о Богѣ голоса...

Но видять столяра глаза  
 Одно: съ простертymi руками,  
 Прибитый острыми гвоздями,  
 Нагой, съ поникшою главой,  
 Колючимъ терномъ увитой,  
 Недвижный, кровью истекая,  
 Весь правда и любовь святая,  
 Посланникъ Божій, въ высотѣ,  
 Къ отцу отходитъ на крестѣ.  
 Бѣднякъ весь вздрогнулъ, страха полный;  
 Какъ затихающія волны,  
 Смолкала въ немъ души печаль;  
 Міръ уходилъ куда-то вдалъ,  
 Огонь охватывалъ все тѣло,  
 И вдругъ на крестъ взглянуль онъ смѣло,  
 Забылъ сосѣдку, мать и домъ,—  
 И слезы хлынули ручьемъ.

## XV.

Со дня помолвки измѣнился  
 Невѣсты скромный уголокъ;  
 Въ немъ съ утра до ночи тѣснился  
 Веселыхъ дѣвушекъ кружокъ.  
 Ихъ занимало на досугѣ  
 Шитье приданаго подругѣ,  
 Мелькнувшій мимо пѣшеходъ,  
 Подъ вечеръ пѣсни у воротъ,  
 Порою сновъ истолкованье,  
 Чужая жизнь—бѣда и грѣхъ,  
 Въ саду горѣлки и гулянье,  
 Но больше смѣхъ, невинный смѣхъ!  
 Такъ онъ однажды разразился,  
 Когда, измоченный дождемъ,  
 Въ лохмотьяхъ грязныхъ подъ окномъ

Калѣка-нищій появился  
 И милостыни попросилъ  
 Разбитымъ голосомъ. Случалось,  
 И вечеринка собиралась, —  
 Вотъ тутъ-то тратилось бѣлиль,  
 Румянъ, и мыла, и помады!  
 Тутъ было въ домѣ хлопотни,  
 Веселыхъ шутокъ, бѣготни,  
 Невольной зависти, досады!  
 Но трудъ не даромъ пропадалъ:  
 Съ иными гость потанцоваль  
 И, продавая рукавицы,  
 Толкуя утромъ съ мужикомъ,  
 Воображаль другія лица  
 И думалъ вовсе о другомъ.  
 „Зѣвай, зѣвай!.. Смотри порядкомъ!  
 А нынче гдѣ ты ночевалъ?“  
 Кричалъ хозяинъ за прилавкомъ.  
 — Чего-съ? На сѣновалѣ спалъ. —  
 Двѣ скрыпки, въ домѣ освѣщенье,  
 Конфекты, стукъ отъ каблуковъ,  
 Учивый говоръ молодцовъ:  
 „На счетъ того-съ... мое почтенье...  
 Вы роза, да-съ! Ей-ей! Богъ святъ!“  
 Вотъ вечеринка.—Виноватъ...—  
 Порой веселые зѣваки  
 Сквозь стекла съ улицы глядятъ,  
 Хохочутъ и гостей бранятъ;  
 Межъ тѣмъ,сосѣдня собаки  
 Бѣгутъ въ тревогѣ къ воротамъ  
 И поднимаются страшный гамъ.

Быть можетъ, Саша и грустила  
 О столярѣ въ иные дни,

Но, къ счастью, минули они;  
Она разумно разсудила,  
Что глупо о пустомъ жалѣть,  
Не мудрено и заболѣть,  
И крѣпко на себя сердилась  
За то, что встрѣтиться стыдилась  
Съ сосѣдомъ. Чтб, дескать мнѣ онъ?  
И стыдъ былъ скоро подавленъ.  
Она обновки примѣряла,  
Или по городу гуляла  
Съ подругами и женихомъ.  
Однажды сумасшедшіхъ домъ —  
Большое каменное зданье —  
Къ себѣ привлекъ ея вниманье.  
„Огромный домъ-съ“, сказалъ женихъ:  
„Войдемте; взглянемъ на больныхъ;  
Оно, пріятно, ради скуки“.  
И Саша съ робостью вошла,  
Но долго быть тамъ не могла.  
— Смѣшно, молъ, очень. Что за штуки! —  
Твердила лѣвушка потомъ:  
— Кто связанъ, эдакъ-вотъ, ремнемъ,  
Да чушь-то, чушь-то какъ городятъ! —  
„Нѣтъ-съ“, Таракановъ отвѣчалъ,  
„Я сумасшедшаго знавалъ, —  
Тотъ все угадывалъ отлично...  
Бывало, дичь несетъ, несетъ,  
Подъ-часъ и слушать неприлично,  
Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,  
Что просто... да-съ! ей-ей, чудесно!  
Даръ, значитъ,— все ему извѣстно“.

Бѣда! раздумывалъ Кулакъ:  
Вотъ остается четвертакъ,

Да грошъ... Заемъ не удается;  
 Ну, если свадьба разойдется?  
 Родится-жъ этакой народъ, —  
 И подъ залогъ никто не вѣритъ!  
 Изъ-за чего онъ только лжетъ,  
 Идетъ на подлость, лицемѣритъ..  
 Сказалъ бы прямо: деньги есть,  
 Не про твою, къ примѣру, честь,—  
 Такъ нѣтъ! И щедрымъ притворится,  
 И на слова не поскупится...

— Помочь я радъ, дескать, душой...  
 Поводить за носъ день-другой,  
 Помучить болтовней, распросомъ:  
 Ну, что молъ?.. и отправить съ носомъ:  
 Свои де нужды, извини... —  
 „Вотъ богачи то! Вотъ они!  
 Чортъ знаетъ... или попытаться  
 Пойти къ Скобѣеву?.. Вѣдь, жидъ,  
 Просить не стоитъ... и сердить.  
 Мнѣ, правда, чтб! — равно шататься...  
 Уважитъ — ладно, поклонюсь;  
 Толкнетъ — по-свойски разочтусъ“.  
 И черезъ часъ, проситель скромный,  
 Онъ у Скобѣева въ приемной  
 Съ лакеемъ-мальчикомъ шепталъ:  
 „Что дома баринъ?“

— Тсс... не всталъ. —  
 „А скоро, думаешь, проснется?“  
 — Вотъ-вотъ... не кашляй! —  
 „Отчего?“  
 — У насъ за это достается. —  
 „Такъ! Этотъ завтракъ для него?“  
 — Да, колбасу ъесть передъ чаемъ. —  
 „Всегда?

— Случается, — балыкъ  
И ветчину. Вишь, такъ привыкъ;  
Здорово, стало. —

„Понимаемъ.

Ну, а жена его смиRNA?“

— Ништо. Да какъ-то все больна;  
Тоскуетъ, книжки все читаетъ,  
Поетъ, да грустно таково,  
А баринъ этимъ попрекаетъ.

„Дѣтишки есть?“

— Ни одного. —

„А вонъ въ гостиной чья дѣвица?“

— Да самъ-атъ говорить — сестрица,  
А дворня говоритъ... ой, ой!..  
Проснулся, братъ! потише стой! —  
Пока Скобѣевъ всталъ, умылся,  
За колбасою посидѣль,  
Сигару выкуриль, обрился  
И кончилъ чай, — Кулакъ глядѣль  
На кресла, зеркала, картины,  
На свѣтлый, выкрашенный полъ,  
На складки бѣлой парусины,  
Одѣвшей люстру, и на столъ  
Съ часами въ бронзовой отдѣлкѣ,  
И думаль: виши понакупилъ!  
Выходитъ, быль въ своей тарелкѣ,  
Когда въ комиссіи служилъ.

„А, грубянъ! зачѣмъ явился?“

Входя, Скобѣевъ забасилъ  
И на диванъ развалился...  
„Эй, Васька! Трубку! Ну, зачѣмъ?  
— Что, сударь, обнищалъ совсѣмъ.  
Просваталь дочь, нужна помога,  
Цѣлковыхъ этакъ сто въ заемъ;

Я заложилъ бы вамъ свой домъ...  
 Не откажите, ради Бога! —  
 „Просваталъ дочь... а что она  
 Молоденькая, недурна?“  
 И плотный баринъ улыбнулся.  
 — Вы все изволите шутить;  
 Тутъ горе, смѣю доложить. —  
 „Да врешь! когда вашъ братъ горюетъ?  
 Привыкъ къ бездѣлью, пьетъ вино,  
 Да ёсть и спить, или плутуетъ,  
 И только. Знаю васъ давно“.  
 — Всѣ люди грѣшные, конечно...  
 Я заплачу вамъ черезъ годъ,  
 Проценты вычтите впередъ...  
 Ей-ей, васъ не забуду вѣчно! —  
 „Процентовъ на сто — двадцать пять!..“  
 — Да это, сударь, разоренъ! —  
 „Ха, ха! я думалъ одолженье!  
 Шучу, дуракъ! Я рукъ марать  
 Не стану“.

— То-есть просять мало? —  
 „Ну, да! и просить-то Кулакъ“.  
 — Смекаемъ, сударь... низко стало...  
 Одѣть, къ примѣру, я не такъ;  
 Не то — вы крикнули-бъ, я знаю,  
 Эй, Васька, принеси имъ чаю! —  
 „А хочется!“ — Три раза пиль,  
 Въ четвертый васъ я-бъ угостилъ,  
 Да не пойдете: горды больно. —  
 „Дуракъ!.. Пошелъ!..“  
 — Пойдемъ. —

„Довольно,  
 Ступай-же!..“

— Выйду, говорю...

За рысака-то вамъ дарю,  
Раздайте нишимъ... —

„Это видишь?“

— Чубукъ хорошъ. —

„Ну, скоро выйдешь?..“

— Съ двумя концами... —

„Такъ держись!“

— Семенъ Ивановичъ пришли-сь! —

Сказалъ лакей.

„Прости, чертенокъ!“

Нашелъ докладывать о комъ,

Негодный!.. Одурѣль спросонокъ?“

И баринъ стукнулъ каблукомъ,

Вскочилъ съ дивана, трубку кинулъ,

Дверь кабинета отворилъ,

Къ столу два кресла пододвинулъ,

Усѣлся съ гостемъ и спросилъ:

„Вы изъ Коммиссіи?

— Оттуда. —

„Ну, что идетъ-ли нашъ подрядъ? —

— Да подвигается покуда,

Подмазать надо, говорятъ... —

„А, знаю... очень, молъ, пріятно...“

На вещи цѣну-то того...

Вы понимаете?“

— Понятно. —

„Да не опасно-ль?“

— Ничего! —

„А по бумагамъ безусловно

Въ подрядѣ вы: я подъ судомъ“. —

— Какъ ваше дѣло въ уголовной? —

„Все, — слава Богу, — подъ сукномъ.

Жаль, нѣтъ войны: подряды мелки,

Отъ мира мало намъ добра...“

— Нельзя сказать... —

„Все вздоръ, бездѣлки!  
Нѣть, батюшка, не та пора“.

Кулакъ не очень торопился:  
Тутъ разговоръ. Онъ соблазнился;  
Его забыли. Кабинетъ  
Едва припертъ, лакея нѣть...  
Чего-же лучше? Слушать можно,  
И онъ подслушалъ осторожно:  
„Держися, матушка-казна!  
Подрядъ, вишь, плохъ, нужна война...  
А гость-то!... Царь ты мой небесный!  
Недавно въ кабакахъ сидѣль,  
Носилъ отрепье, плутъ извѣстный, —  
Теперь подрядчикъ, фракъ надѣль...  
Вотъ кулаки-то!..“

Выль буйный вѣтеръ; дождь ливнѣмъ лился  
И громъ гремѣль. Лукичъ промокъ  
До нитки, посинѣль, продрогъ,  
На грязь и непогодь сердился  
И пробирался стороной,  
Согнувшись, въ обуви худой.  
На перекресткѣ онъ столкнулся  
Съ торговкой, чтѣ-то проворчалъ,  
Посторонился, поскользнулся  
И чуть-чуть въ лужу не упалъ.  
Старуха, шамшая, сказала:  
„Хрѣнку, родимый, не возьмешь?  
— Ну, ну, проваливай, пристала...  
Безъ хрѣну горько не въ терпежъ. —  
Межъ тѣмъ, по улицѣ широкой  
Куда-то гнали въ путь далекой,  
Въ халатахъ сѣраго сукна,

Толпу преступниковъ. Она  
 Шла медленно, гремя цѣпями,  
 Конвой съ примкнутыми штыками  
 Ее угрюмо окружаль,  
 И барабанъ не умолкалъ.  
 Пошелъ народецъ на работку!  
 Лукичъ подумалъ: да, ступай!  
 Поройся тамъ руды въ охотку  
 И не въ охотку покопай.  
 Добруль съизмала не учили,  
 Подросъ-ли, люди соблазнили,  
 Далъ волѣ-матушкѣ разгуль,  
 Въ разгульѣ голову свернуль...  
 Есть грошъ, достать на подаянье...  
 Поди, Скобѣевы живутъ,  
 Ихъ въ кандалы не закуютъ,  
 Не отведутъ на покаянье...  
 Ну, вотъ тебѣ и взялъ въ заемъ!  
 Постой, постой!.. Вѣдь, этотъ домъ  
 Купца Пучкова... Э, почтенный,  
 Я про тебя и позабылъ!  
 Пучковъ... да, я ему служилъ.  
 Святоша, человѣкъ смиренный,  
 Мукой, къ прииѣру, торговалъ,  
 Парчей, свѣчами восковыми...  
 Ну, такъ! руками-то моими  
 Частенько жаръ онъ загребалъ...  
 Зайти къ нему.

## XVI.

Угрюмъ и проченъ  
 Пучкова домъ. На кровлѣ тесь  
 Зеленої плѣсенью поросъ;  
 Досками крѣпко заколоченъ

Сосновый ставень кладовой.  
 Косматый сторожъ, песъ цѣпной,  
 Въ конурѣ дремлетъ у забора;  
 Амбары въ сторонѣ стоятъ,  
 Ихъ двери отъ ночнаго вора  
 Замки тяжелые хранять.  
 Едва глядятъ лучи дневные  
 Сквозь окна въ комнаты пустыя,  
 Хозянъ не имѣлъ дѣтей  
 И рѣдко принималъ гостей,  
 Но спальня съ желтыми стѣнами  
 Свѣтла, опрятно убрана;  
 Весь уголъ занятъ образами,  
 Лампада вѣчно зажжена,  
 Кровать накрыта простынею,  
 И полонъ шкафъ церковныхъ книгъ, —  
 Иныхъ терпѣть не могъ старикъ  
 И называлъ ихъ чепухою.  
 Въ простѣнкѣ, трудъ давнищихъ лѣтъ,  
 Виситъ на гвоздикѣ портретъ  
 Монаха съ черной бородою,  
 Съ рукой, поднятой къ небесамъ,  
 И надписью надъ головою:  
 „Воспомяни, чтоб узришь тамъ“.  
 Проникнуть думою святою,  
 Во очкахъ, за Библіей большою  
 Пучковъ, нахмутившись, сидить.  
 Сюrtукъ мерлушками подбитъ,  
 Подстрижены усы сѣдые,  
 Бородка жидкая длинна.  
 Скулы торчатъ, глаза косые,  
 Какъ мѣсяцъ лысина ясна.  
 Онъ жилъ въ ребячествѣ трудами,  
 Водилъ по ярмаркамъ слѣпцовъ,

Ходилъ искусно вверхъ ногами  
 За крендели эѣвакъ-купцовъ;  
 Нѣмымъ, калѣкой притворялся;  
 Для нищей браты по ночамъ  
 За „Еруслана“ принимался.  
 (Читать онъ выучился самъ).  
 Одинъ добрякъ, стариkъ бездѣтный,  
 Полубольной и безотвѣтный,  
 Его за бойкость полюбилъ,  
 Одѣль и въ лавку посадилъ.  
 Мальчишка взросъ, и за услугу  
 Оставилъ нищимъ старика;  
 Купецъ спился отъ горя съ кругу  
 И умеръ подлѣ кабака,  
 Полночной выюгою отпѣтый,—  
 То былъ простой, но горькій плачъ;  
 А трупъ, въ больницѣ отогрѣтый,  
 Разсѣкъ ножемъ ученый врачъ.  
 Чужаго золота наслѣдникъ,  
 Пучковъ себя не уронилъ:  
 Глядѣль смиренникомъ и былъ  
 О чести строгій проповѣдникъ;  
 Не кушалъ рыбы по постамъ,  
 Молился долго по ночамъ,  
 Передъ нетлѣнными мощами  
 Въ слезахъ колѣни преклонялъ,  
 На церковь подавалъ грошами  
 И грабилъ бѣдныхъ наповалъ.  
 И странно! Плутъ не лицемѣрилъ:  
 Онъ искренно въ святыню вѣрилъ;  
 Вѣдь, совѣсть надо очищать,—  
 Чтѣ дѣлать! Страшно умирать!  
 Пучковъ обѣ адѣ начитался,  
 И какъ же онъ чертей боялся!

На полчаса вздремнуть не могъ,  
 Три раза „Да воскреснетъ Богъ“  
 Не прочитавъ. Теперь, подъ старость,  
 Оплакивалъ онъ грѣшный міръ,  
 И говорилъ: вотъ наша радость!  
 Указывая на Псалтирь  
 И Библію, хотя ни мало  
 То и другое не мѣшало  
 Ему язвить изподтишка  
 И умнаго, и дурака.

Кулакъ вошелъ. Сказалъ учтиво:  
 Погода, молъ, дурна-съ, промокъ!  
 Прибавилъ: грязно съ! И умолкъ.  
 Хозяинъ поглядѣлъ пытливо,  
 Закладкой книгу заложилъ,  
 Зѣвнуль, молитву сотворилъ  
 И отвѣчалъ: „да, дождь сегодня:  
 Все хорошо, все власть Господня...  
 Ты здѣшній“.

— Да-съ. Я мѣщанинъ,  
 Слуга вашъ бывшій, Карпъ Лукинъ. —  
 „Какъ будто-бы припоминаю.  
 А, впрочемъ, нѣтъ... едва ли такъ“.  
 — Я вотъ на дняхъ просваталъ дочь... —  
 И рассказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло.  
 Гмм... жаль, что не могу помочь!  
 Мое богатство улетѣло,  
 Какъ дымъ въ трубу: все разошлось  
 По добрымъ людямъ, да авось  
 Промаюсь. Старъ... гляжу въ могилу,  
 И время... Господи помилуй!“  
 — Нельзя-ли, сударь, пожалѣть?  
 Вѣдь, вы не вѣрите, извѣстно...  
 Вотъ образъ, — заплачу вамъ честно!

Безъ покаянья умереть,  
Коли солгу! —

„Зачѣмъ божиться?“

— Да тошно! Кажется, готовъ  
Сквозь землю лучше-бѣ провалиться.  
Чѣмъ этакъ — вотъ изъ пустяковъ  
Просить, да мучиться напрасно... —  
„Охъ, милый! Вѣрить-то опасно!  
Иного ссудишь, да не радъ:  
Уплаты нѣтъ, — я виноватъ,  
Терпи, да жди... Прійдетъ, голоситъ,  
А не послушаешь, — поноситъ;  
Да вытянешь процентъ едва,  
Вотъ нынѣ правда какова!“

Кулакъ и тѣломъ, и душою  
Божился честно заплатить, —  
Не могъ Пучкова убѣдить:  
Онъ морщился, махалъ рукою:  
„Нѣтъ не могу! Закладъ не тотъ:  
Твой домъ не каменный... нейдетъ“.  
— Несытая твоя утроба!  
Ну, стало, голову мнѣ снять  
И подъ закладъ тебѣ отдать?!  
Вѣль, ты вотъ-вотъ подъ крышку гроба...  
Кому казну-то ты копиши? —  
„Опомнись! съ кѣмъ ты говоришь?“  
— Съ тобою, старый песъ! съ тобою!  
Ты вмѣстѣ воровалъ со мною,  
Клади мнѣ денежки на столъ,  
Дѣлись! Я вотъ зачѣмъ пришелъ! —  
Пучковъ вскочилъ.  
„И ты мнѣ смѣешь?..“  
— Кто, я-то?.. Ты не подходи  
И въ грѣхъ, къ примѣру, не вводи,

Убью! Вотъ тутъ и околѣешь! —  
 Купецъ позеленѣлъ. Нѣмой,  
 Грязя приподнятой рукой,  
 Онъ въ мрачное изваянье  
 Вдругъ превратился. Есть одно  
 Востока чудное сказанье,  
 Руси знакомое давно:  
 Въ глухи таинственная сила  
 Три дива на горѣ хранила.  
 Столбомъ надъ почвою сухой,  
 Вставалъ ключъ влаги золотой,  
 Разумно птица говорила,  
 И пѣло дерево. Межъ скалъ  
 Завѣтный путь туда лежалъ,  
 Въ глушь не одинъ пройти пытался,  
 Но по пятамъ текла гроза —  
 Гремѣли громомъ голоса,  
 Весь воздухъ кличемъ наполнялся,  
 Смѣльчакъ запреть позабывалъ:  
 Лицо въ испугѣ обращалъ  
 Назадъ, — и камнемъ оставался.  
 На мигъ едва-ли не таковъ  
 Въ бессильномъ гнѣвѣ былъ Пучковъ.  
 Кулакъ захочоталь. „Ну что-жъ?  
 Ударь, попробуй!“

— Вонъ, злодѣй! —  
 „Пойду, святоша... правый Боже!  
 И терпишь Ты такихъ людей!  
 Прощай! Садись опять за книги,  
 Копи казну, надѣнь вериги —  
 Все, значитъ, о душѣ печаль...  
 А жаль тебя, ей-Богу, жаль!“  
 Привель Господь считать пороги!  
 Кулакъ дорогой горевалъ  
 И потъ холодный отиралъ.

Пойду. Дождешься тутъ помоги!  
 Гм... Кулаку, лескать, дадимъ!  
 И говорить-то стыдно съ нимъ!  
 Ну, а вотъ эти, стало, святы?  
 Набыть сундукъ чужимъ добромъ  
 И вдругъ — банкроты, не при-чемъ!  
 И этотъ чистъ, крючекъ проклятый —  
 Ограбить матушку-казну,  
 Деревню купить на жену?  
 И тотъ, къ примѣру, помнить Бога  
 И судъ по совѣсти творить;  
 Съ перомъ присядеть, поскрипить, —  
 Богатый выйдетъ изъ острога,  
 Бѣднякъ — въ невидимой винѣ,  
 И плеть засвищетъ по спинѣ?  
 И тотъ вонъ не торгуетъ честью:  
 Межъ знатныхъ трется съ подлой лестью,  
 Мѣшаетъ съ грязью мужиковъ...  
 Да мало-ли насъ, кулаковъ!  
 Кулакъ въ енотѣ, въ полушибкѣ,  
 При саблѣ, въ золотѣ и юбкѣ,  
 Гдѣ и не думаешь, онъ — тутъ.  
 Не мелочь, не грошовый плутъ,  
 Не намъ чета — подниметъ плечи,  
 Прикрикнетъ, — не найдешь и рѣчи,  
 Рубашку сниметъ, — все молчи...  
 Господь суди васъ, палачи!  
 А ты, къ примѣру, въ горькой долѣ  
 На грошъ обманешь по неволѣ, —  
 Тебя согнутъ въ бараній рогъ,  
 Бранять, и бьють-то, и смѣются...  
 А разживись я, — видѣть Богъ,  
 Въ пріятели всѣ назовутся;  
 Сплутую, — скажутъ: не порокъ...  
 Тьфу! гадость!

## XVII.

Туча миновала;  
 Прошла тревога Кулака:  
 Онъ отыскалъ ростовщика...  
 Все благо! Саша промѣняла  
 Родимый домъ на кровъ чужой,  
 Она прощальною слезой,  
 Его, какъ водится, почтила,  
 Какъ водится и позабыла.  
 Веселой свадьбы пиръ умолкъ,  
 Утихъ о ней сосѣдей толкъ,  
 Угомонились пересуды,  
 Въ свояси гости разбрелись;  
 Переколоченной посуды  
 Въ домахъ осколки убрались.  
 Кулакъ покоенъ: дни позора  
 Онъ прожиль. Полно плутовать!  
 Ему поможетъ добрый зять, —  
 Зятя надежная опора.  
 Одна Арина у окна  
 Сидитъ за варежкой грустна:  
 Безъ Саши горенка скучнѣе,  
 И время тянется длиннѣе,  
 И котъ тоскуетъ: спить въ углу,  
 Не поиграетъ на полу  
 Клубкомъ старушки. Чуть смеркаеть,  
 Она калитку запираетъ  
 И съ робостью обходитъ дворъ, —  
 Не притаился-ли глѣ воръ,  
 И мужа ждетъ. И спицы снова  
 Звенятъ, безъ умолку звенятъ.  
 Межъ-тѣмъ все къ ужину готово,  
 Ужъ ложки на столѣ лежатъ.

Въ грозу закроетъ боязливо  
 Трубу, всѣ окна, и платкомъ  
 Завяжетъ уши торопливо, —  
 Все, дескать меныше слышенъ громъ;  
 Затѣплеть свѣчу во сковую  
 И Бога на помочь зоветъ,  
 Покуда тучу громовую  
 Далеко вѣтеръ унесетъ.  
 Порою, у воротъ отъ скуки  
 Съ глухой кумой поговорить  
 О томъ, что грудь ея болитъ  
 И ломятъ отчего-то руки,  
 Что не горитъ щепа въ печи,  
 Сырая, вѣрно, хоть кричи;  
 Сегодня каша не упрѣла;  
 Что посадить она хотѣла  
 Вчера насѣдку, но едва-ль  
 Не поздно, да и яица жаль;  
 Что у сосѣда, Шестакова,  
 Намедни гусь зажаренъ быль,  
 Да мужъ женѣ платокъ купилъ,  
 И отелилася корова, —  
 Вотъ счастье-то! А дочь придетъ,  
 Старушкѣ бѣдной тьма заботъ!  
 „Ахъ, наша гостья дорогая!  
 Здоровы-ли? Присядь, присядь!  
 Здоровы-ль? повторяетъ мать,  
 Съ улыбкой слезы утирая:  
 Насилу Богъ тебя принесъ...“  
 И начинается допросъ:  
 Живетъ-ли съ нею мужъ согласно,  
 Привѣтливъ онъ, или сердитъ?  
 Не скорится-ль когда напрасно,  
 Не часто-ли свекровь ворчитъ?

О всякой мелочи ничтожной  
Поразузнаетъ осторожно,  
И трудовой пятакъ возьметъ,  
Спѣшитъ къ богатому сосѣду,  
И въ кринкѣ молока къ обѣду  
Любимой гостьѣ принесетъ.  
Свой садъ Арина позабыла:  
Мать столяра ей досадила  
Упрекомъ, бранью каждый разъ,  
Сквозь наклонившійся плетень:  
„Здорова, мать! Въ саду гуляешь!  
Хозяйка, яблоки считаешь!...  
Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,  
Поймаю, прямо подъ топоръ;  
Да, зять богатъ! Передъ тобою!  
Звоню я, матушка, про вაсь...  
Умна ты съ дочкою своею,  
Хотѣла одурачить насъ...  
Тыфу, вотъ вамъ! Вотъ народъ продажный!  
Возьмите!..“ И махоръ бумажный  
Леталъ на колпакѣ вдовы  
Отъ потрясенья головы.

Настала осень, скученъ городъ.  
Дожди, туманы, рѣзкій холодъ,  
На сумерки похожій день...  
И по нуждѣ покинуть лѣнъ  
Свой теплый уголь. Мостовыя  
Покрыты грязью. Пѣшеходъ  
Съ досадой нехотя бредетъ.  
Слезами капли дождевыя  
Текутъ по кровлямъ, по стѣнамъ,  
По окнамъ и по воротамъ.  
Другъ-другу грустные поклоны  
Въ садахъ деревья отдаются,

Ихъ шапки на землѣ гніютъ  
 По вечерамъ кричатъ вороны,  
 Въ лѣса сбираясь на ночлегъ.  
 Порой — нежданный, мокрый снѣгъ,  
 Какъ туча бѣлыхъ мухъ, кружится;  
 Минута — ливнемъ онъ смѣнится...  
 Вотъ время! Двери на крючекъ,  
 Зажги веселый огонекъ,  
 Бесѣдуй съ другомъ цѣлый вечеръ.  
 Пусть льется дождь, голоситъ вѣтеръ, —  
 Тепло въ затворенномъ углѣ,  
 За самоваромъ на столѣ.  
 Но каково сидѣть съ тоскою  
 И одному, и въ заперти?  
 Пошелъ бы, — не къ кому пойти,  
 Читалъ бы, — нечего порою;  
 Заснуть — счастливъ, кто можетъ спать,  
 Не то, хоть петлю надѣвать!  
 Кулакъ, съ досадой молчаливой,  
 Поглядывалъ нетерпѣливо  
 На небо, снѣга поджидалъ  
 И непогоду проклиналъ.  
 На рынкѣ нечѣмъ поживиться,  
 Дороги плохи... нѣтъ крестьянъ;  
 Ходи, глотай сырой туманъ,  
 Пришлось хоть воздухомъ кормиться,  
 А между-тѣмъ кругомъ нужда:  
 Лежанка въ горенкѣ худа,  
 Подъ матицей кряхтить подставка,  
 Въ окошкахъ стеколь недочетъ;  
 Тамъ крыша кое-гдѣ течеть;  
 Тутъ сапогамъ нужна отставка,  
 Сюрукъ заплатами покрытъ,  
 А гастухъ въ ключья истаскался,

И какъ стариkъ ни ухитрялся  
Его сложить, но все на видъ  
Не кстати бахрома виситъ.  
На рынкѣ, просто, нѣтъ прохода.  
Придеть на бѣдняка невзгода!  
Какой-нибудь молокосось  
Людей и Бога не боится,  
Какъ надъ шутомъ, надъ нимъ глумится:  
„Ну, что, Лукичъ, повѣсиль носъ?  
Охота здѣсь тебѣ таскаться  
И хлѣбъ обманомъ добывать,  
Подъ старость скверно воровать,  
Ей-ей, безгрѣшный побираться;  
Сидѣль бы съ чашкой гдѣ-нибудь,  
Трудъ, значитъ, легкій, стариakovской,  
Да благо и сюртукъ таковской,  
Виць — любо-дорого смотрѣть!..“

Мнѣ, видно, зять не довѣряетъ,  
Кулакъ подумалъ: не поймешь...  
И чаемъ вдоволь угощаетъ,  
И листитъ, а толку ни на грошъ.  
Я говорю, къ примѣру, буду  
Тебѣ въ торговлѣ помогать,  
Чужихъ, равно, моль, наниматъ!  
— Извольте-съ! я васъ не забуду...  
У насъ торговый оборотъ  
Зимою-съ... Вотъ зима придетъ... —  
Гмм... путь, того и жди, настанетъ...  
Ну, если онъ меня обманетъ,  
И я останусь въ дуракахъ,  
Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?  
За что же такъ!.. Дитя родное  
Принудилъ... Самъ теперь въ долгу...  
Покоя ждалъ, — и вдругъ... Пустое!

Нельзя! Повѣрить не могу!  
Дождь каплетъ. Синими клоками  
Плынутъ на сѣверъ облака.  
Не весель домикъ Кулака  
Съ его измокшими стѣнами;  
Въ болото обратился дворъ,  
По серединѣ: кучи, соръ.  
Но садъ грустнѣй: вокругъ молчанье,  
Замолкло птичекъ щебетанье.  
Огнемъ онъ точно обожженъ,  
Весь почернѣлъ и обнаженъ.  
Покинутыя колыбели,  
На ивахъ гнѣзда опустѣли, —  
Жильцы разсѣялись. Мертвa  
Къ землѣ припавшая трава,  
И съ непокрытою макушкой,  
Забытой горькою старушкой,  
Въ измокшой бѣлой простынѣ  
Стоитъ береза въ сторонѣ.

Кулакъ въ саду. Онъ на топливо  
Деревья взглядомъ выбиралъ,  
Топоръ подъ мышкою держалъ.  
Но что рубить? Подъ этой ивой  
Вздремнуть, бывало, онъ любилъ  
На свѣжей травкѣ, въ полдень знойный;  
Иная самъ отецъ покойный  
Ему на память посадилъ.  
И жаль, и дровъ нѣть ни полѣна...  
Вонъ, правда, есть пока замѣна...  
И засучилъ онъ рукава:  
Пошла береза на дрова...  
Старушка печку затопила,  
Кулакъ на коникѣ прилегъ.  
„О чёмъ грустишь?..“ жена спросила.

— Такъ... Что то мочи нѣть, продрогъ. —  
„Что зять-то, какъ?“

— Смотри за щами:  
Мужское дѣло — не твое... —  
„Я все про Сашино житье...  
Богъ знаетъ, и за богачами  
Живутъ, да мучатся...“

— Опять!  
Нельзя, къ примѣру, помолчать? —

Дверь отворилась, и горбатый  
Курчавый рыжій мужичекъ,  
Въ халатѣ, съ палкой суковатой,  
Сказалъ съ поклономъ: „Встань, дружокъ,  
Хозяинъ умный, тароватый!  
Явился гость,— и ты не радъ,  
И я, соколь, не виноватъ“.

— Мы, погодя, побалагуримъ...  
Ты кто? Зачѣмъ? —

„Да встань-ка, встань,  
Не погоняй, кнута не любимъ...  
Теперь подушное достань“...

— Ты, знать, отъ старости... разсыльный... —  
„Узналь, сударикъ мой, узналь!“  
— Присядь, ты, кажется, усталъ.  
А что морозъ сегодня сильный?  
Я, знаешь! все въ избѣ сижу,  
На дворъ, къ примѣру, не хожу:  
Нога болитъ. —

„Да, да! Проказникъ!  
Испилъ воды на свѣтлый праздникъ,  
Болитъ съ похмѣля голова...  
Хитеръ на красныя слова!“  
— Чего! Ей-ей болитъ, безъ шутокъ!  
Вотъ видишь... охъ, не наступлю! —

„Хе, хе, сударикъ мой, люблю;  
 Нужда горька безъ прибаутокъ...  
 Достань-ка деньги-то, родной,  
 Инь — къ старостѣ пойдемъ со мной“.  
 — Да какъ же быть?.. недугъ проклятый!..  
 Чѣмъ дѣлать? —

„Деньги заплатить!

Я вотъ, сударикъ, самъ девятый

Живу. Плачу... не стать тужить...

Шесть душъ дѣтей, жена седьмая,

Да я съ горбомъ... Пойдемъ, пойдемъ,

Какая тамъ нога больная!

— Скажи, что дома не засталъ,

Ушелъ, молъ, ленъ скупить въ деревни...—

И гостю гривенникъ послѣдній

Изъ кошелька Кулакъ досталъ.

„Оно ништо... да маловато...“

— Ей-Богу, гроша больше нѣть! —

„Ну, за тобою... дѣло свято!

Прощай покудова, мой свѣтъ...“

Теперь на хлѣбъ добудь,—гдѣ знаешь?

Кулакъ подумалъ и вздохнулъ

И кошелекъ на столь швырнуль:

„Не радъ хромать, да захромаешь“;

Попробуй-ка пожить вотъ-такъ!..

А вѣдь, кричать: кулакъ! кулакъ!..“

## XVIII.

Зима стоитъ. Трещатъ морозы.  
 Пошли съ товарами обозы  
 По Руси-матушкѣ гулять,  
 Слѣды въ сугробахъ прокладать!  
 Ползеть, скрипить дубовый полозъ,  
 Рѣка, болото,— всюду мостъ

За тысячу и за двѣ верстъ...  
На мужичкѣ бѣлѣетъ волосъ,  
Но веселье онъ! идетъ — кряхтитъ,  
Казну на подати копитъ.  
Посвистывай теперь на волѣ,  
Холодный вѣтеръ въ чистомъ полѣ,  
Кружись, сердитая метель,  
Стелись, пуховая постель!

Кому путекъ, кому дорога,  
Аринѣ дома дѣла много:  
Вставая раннею зарей,  
Она ходила за водой,  
Порой бѣлье чужое мыла,  
Дескать, работа не порокъ,  
Все будетъ хлѣбушка кусокъ;  
Порою и дрова рубила,  
Когда Кулакъ на печкѣ спалъ,  
Похмѣлье храпомъ выгонялъ;  
Отъ стужи кашляла, терпѣла,  
И напослѣдокъ заболѣла.  
Лежитъ недѣлю, легче нѣть,  
Ознобъ и жаръ ее объемлетъ;  
Едва забудется, задремлетъ, —  
Живемъ изъ мрака прежнихъ лѣтъ  
Встаютъ нежданныя видѣнья...  
Вотъ вспомнилась съ грозою ночь, —  
Въ густомъ саду шумятъ деревья  
Изъ теплой колыбели дочь  
Головку въ страхѣ поднимаетъ  
И громко плачетъ, и дрожитъ,  
А мужъ неистово кричитъ  
И стулъ, шатаясь, разбиваетъ,  
Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ —  
Малютка, убранный цвѣтами,

Покоится подъ образами;  
Блеститъ въ лампадѣ огонекъ,  
Въ углу кадильница дымится,  
Столъ бѣлой скатертью накрытъ,  
Подъ кисеей младенецъ спитъ,  
Она отъ вѣтра шевелится,  
И солнце въ горенку глядитъ,  
На трупѣ весело играя...  
И мечется въ жару больная.  
Въ ушахъ звенитъ, въ глазахъ темно,  
И слезы градомъ льются, льются...  
Межъ тѣмъ, какъ съ улицы въ окно  
Къ ней звуки музыки несутся:  
Тамъ, свадьбу празднуя, идетъ  
Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сбродъ.  
Въ борьбѣ съ мучительнымъ недугомъ,  
Смотря безсмыслено кругомъ,  
Старушка встанетъ и потомъ,  
Вся потрясенная испугомъ,  
Со стономъ снова упадетъ  
И дочь въ безпамятствѣ зоветъ.

Снѣгъ падаль хлопьями. Былъ вечеръ.  
Порывистый сердитый вѣтеръ  
Въ трубѣ печально завывалъ.  
Лукичъ встревоженный стоялъ  
У ногъ Арины. Дочь глядѣла  
На умирающую мать,  
И слезы удержать хотѣла.  
Старушка стала умолкать  
И постепенно холодѣла,  
И судороги ногъ и рукъ,  
Послѣдній признакъ тяжкихъ мукъ,  
Слабѣли.

„Матушка, родная!

Благослови!..“ сказала дочь,  
Въ слезахъ, колѣни преклоняя.  
— Отецъ... Онъ нищій... ты помочь  
Ему... нашъ домъ... — и рѣчъ осталась  
Не конченной. Невнятный крикъ,  
Раздавшись, замеръ, и языкъ  
Умолкъ. Развязка приближалась.  
Въ тоскѣ подъятая рука,  
Какъ плеть, упала. Грудь слегка  
Приподнялась и опустилась,  
Взоръ неподвижный угасаль,  
По тѣлу трепетъ пробѣжалъ —  
И стихло все... Не умолкалъ  
Лишь бури вой.

„Одинъ остался,  
Одинъ, какъ перстъ!“ Лукичъ сказалъ,  
Закрылъ лицо и зарыдалъ.

Уснуло доброе созданье!  
Жизнь кончена, итогъ сведенъ,  
Посмотримъ, чтѣ-то скажетъ онъ?  
Немного. Скромное желанье  
Безъ хлѣба завтра не пробыть;  
Возня съ горшками, да съ насѣдкой,  
Вязанье варегъ день и ночь,  
Отъ скуки разговоръ съ сосѣдкой,  
Тревога, что тоскуетъ дочь,  
На пьянство мужа тайный ропотъ,  
Порой побой отъ него,  
Про бытъ чужой невинный шопотъ,  
Да слезы, — больше ничего!  
И эта мелочь мозгъ сушила,  
Изъ жилъ по каплѣ кровь пила!  
Страшна ты — роковая сила —

Нужды и мелочного зла!  
 Ты не убьешь, какъ громъ, мгновенно,  
 Войдешь ты,—поль не заскрипитъ,  
 И душишь, душишь постепенно,  
 Покуда жертва захрипитъ.

Съ разсвѣтомъ буря замолчала  
 Арина на столѣ лежала.  
 Въ лампадѣ огонекъ сіялъ;  
 Онъ какъ-то странно освѣщалъ  
 Лицо покойницы старушки  
 И неподвижной, и нѣмой,  
 И бѣлые углы подушки,  
 Измятой мертввой головой.  
 Убитый горемъ и тоскою,  
 Передъ иконою святою  
 Лукичъ всю ночь Псалтирь читалъ.  
 Унылъ и тихъ его былъ голосъ,  
 Отъ страха жесткій, черный волосъ  
 На головѣ не разъ вставалъ...  
 Казалось, строго и сурово  
 Глядѣла бѣдная жена;  
 Раба доселѣ, съ жизнью новой  
 Вдругъ измѣнилася она...  
 Свою печаль припоминала  
 И мужу казнью угрожала...  
 Старикъ внимательнѣй читалъ —  
 И ничего не понималъ...  
 Всѣ буквы, мнилось, оживали:  
 То замыкались въ кругъ порой,  
 То расходились, выростали,  
 Плясали черною толпой...  
 Межъ-тѣмъ, сосѣдки понемногу  
 Набились въ горенкѣ. Однѣ  
 Вздыхали и молились Богу,  
 Другія, въ грустной тишинѣ;

Съ тяжелой думою стояли,  
 Иль объ усопшей толковали,  
 Что вотъ-де каковы дѣла:  
 Жила, жила, да умерла.  
 Мать столяра въ недоумѣни  
 Покачивала головой,  
 Въ углу бесѣдуя съ кумой:  
 „Вотъ срамъ-то! Просто, удивленье!  
 Вѣдь, на покойницѣ платокъ,  
 Чтобъ тряпка... ай-да, муженекъ!  
 Убралъ жену, Кулакъ проклятый!  
 О платьѣ я не говорю:  
 Я вчужѣ отъ стыда горю, —  
 Съ заплатой, милая, съ заплатой!  
 А дочки горя нѣтъ... сидитъ,  
 Одной слезы не уронить.  
 Ахъ, я тебѣ и не сказала!  
 Она за сына моего  
 Хотѣла выйти... каково!  
 Да я-то шишь ей показала!  
 И мать-то, помянуть не тѣмъ,  
 Глупа была, глупа совсѣмъ!“

Сосѣдки вышли. Саша плачетъ,  
 Отецъ печально говоритъ:  
 „Не позабудь! я ништій, значитъ...  
 Ты дочь, вонъ мать твоя лежитъ,  
 Похорони!“

— Да не грустите!

Пойдемте къ намъ. Вы попросите  
 Здѣсь посидѣть кого-нибудь...  
 Вамъ не мѣшало-бѣ и заснуть:  
 Виши, вы стоите черезъ силу... —  
 „Идти просить, на гробъ просить,  
 На свѣчи, Саша, на могилу!“

— Да гдѣ же взять-то? Какъ же быть!

## XIX.

Зять Кулака сидѣлъ въ рубашкѣ,  
 Расходъ въ тетрадку заносиль,  
 О чемъ-то съ Сашей говорилъ  
 И морщился. Въ граненой чашкѣ  
 Чай на подносѣ остывалъ,  
 И сахару кусокъ лежалъ.  
 Покоенъ взглядъ его и ясенъ,  
 И густъ румянецъ полныхъ щекъ,  
 Подстриженный затылокъ красенъ,  
 Мясистыхъ плечъ размѣръ широкъ.  
 Софа, комодъ, горшокъ съ цвѣтами,  
 Часы съ кукушкой на стѣнѣ,  
 Пять стульевъ съ мѣдными гвоздями,  
 Пеньки образчикъ на окнѣ,  
 Двѣ кучки ржи, одна пшеницы,  
 Въ чулкѣ оставленныя спицы,  
 Вотъ комната, — гдѣ онъ писаль.

Лукичъ вошелъ, перекрестился,  
 Сказалъ, что умерла жена,  
 Что погребенья ждетъ она;  
 И зятю въ поясъ поклонился.

„Извольте-съ, отъ добра не прочь...

Зачѣмъ родному не помочь...

А жаль: я думаю, простуда?“

— Богъ знаетъ что, да умерла. —

„Я полагаю-съ — смерть пришла...

Вотъ выпейте чайку покуда“.

— Благодарю, не до того. —

„Напрасно-съ! Это не мѣшаеть:

Онъ эдакъ грудь разогрѣваетъ“.

— Да я не зябну, ничего...

Не позабудь, къ примѣру, въ горѣ... —

„Вотъ ключъ позвольте отыскать...“

Я много не могу вамъ дать,  
 Не то что, да-съ... нѣтъ денегъ въ сборѣ<sup>4</sup>.  
 — Не добивай, я такъ убить! —  
 „О томъ никто не говорить.  
 На счетъ того-съ, оно, конечно,  
 Родню позабывать грѣшно,  
 Да, вѣдь, грѣшно и жить беспечно...  
 Да-съ! поскольку знетесь неравно!  
 На васъ вотъ тулушишка рваный,  
 Да пальцы изъ сапогъ торчатъ,  
 А вы, намедни, были пьяны...  
 Выходитъ, кто же виноватъ?<sup>4</sup>  
 — Да знаю, другъ мой, все я знаю!  
 Неволя пьеть-то иногда;  
 Ты думаешь, мнѣ нѣтъ стыда,  
 Что плутовствомъ я промышляю,  
 Щъмъ хлѣбъ чужой, какъ подлый воръ?... —  
 „Да, да! Для васъ, то-есть позоръ...  
 Все это пустяки — и только!  
 Торговли — круговой обманъ.  
 Вамъ горько лѣзть въ чужой карманъ,  
 Ну, а просить теперь не горько?...<sup>4</sup>  
 — Вѣстимо. Если-бы ты зналъ!  
 Осмѣянъ всѣми, обнищалъ,  
 Туть совѣсть не даетъ покою...  
 Зять, не пусти меня съ сумою!  
 Дай мнѣ подъ старость отдохнуть,  
 Поставь меня на честный путь,  
 Дай дѣло мнѣ! Господъ порука,  
 Не буду пить и плутовать! —  
 „Привыкли-съ! Трудно перестать!  
 Вотъ, значитъ, вамъ впередъ наука.. .  
 На похороны помогу,  
 На счетъ другаго-съ — не могу!<sup>4</sup>  
 — И съ бородою посѣдѣлой

Опять мнѣ грабить мужичковъ?..  
 Пойми, мое-ли это дѣло!  
 Неужто воръ я изъ воровъ!  
 Мнѣ стыдно! Богомъ умоляю,  
 Подумай, выручи!.. —

„Опять!

Охота вамъ слова терять...  
 Нельзя-сь! По чести завѣряю...  
 Рубль серебра извольте — дамъ...“  
 — Такъ я, выходитъ, по домамъ  
 На тѣло мертвое сбираю...  
 Къ чему ты говоришь про честь?  
 Вѣдь, я не ницій, я твой тестъ,  
 Вѣдь, я прошу не подаянья;  
 Въ заемъ, ты слышишь, или нѣтъ?..  
 „А я даю изъ состраданья,  
 Не то что, да-сь! И мой совѣтъ —  
 Не надо брезгать...“

Саша встала,

Въ другую комнату пошла,  
 Тихонько мужа позвала  
 И на ухо ему сказала:  
 „На похороны надо дать:  
 Насъ, душка, будутъ осуждать,  
 Что вотъ, дескать, зятёкъ богатый .,“  
 — Не дамъ я. Пьяница проклятый!  
 Вотъ навязалася родня! —  
 „Да, ну! Уважь хоть для меня!  
 Старикъ тамъ разному народу  
 Пойдетъ — расскажетъ...“  
 — Съ камнемъ въ воду!  
 Пускай! Намъ всѣхъ похоронять, —  
 Суму придется надѣвать. —  
 „Ну, вотъ что: помнишь, въ воскресенье  
 Ты далъ мнѣ деньги на платокъ?“

— Нѣтъ, въ пятницу... —

„Возьми, дружокъ.

Назадъ...<sup>4</sup>

— Назадъ! Вотъ это удивленье! —

„Отдай ихъ, душка, старику:

Ты видишь — онъ вдался въ тоску,

И мнѣ-то, знаешь, съ нимъ оступа...<sup>4</sup>

Мужъ головою покачалъ,

Затылокъ жирный почесаль

И согласился.

„Вотъ-съ, покуда<sup>4</sup>,

Съ досадой тестю онъ сказалъ:

„Извольте! Это Богъ послалъ,

Вотъ Саша сжалась надъ вами...<sup>4</sup>

Тесть поклонился, покраснѣлъ,

Благодарить онъ не съумѣлъ,

Пошевелилъ слегка губами,

На зятя кинулъ мутный взоръ

И крупный потъ на лбу утеръ.

„Вамъ, батенька, теперь не радость,

Сказала дочь: пора того...

Оно для васъ-то ничего,

А для родныхъ выходитъ гадость...

Пойдете тамъ по кабакамъ,

На улицѣ васъ встрѣтить срамъ...<sup>4</sup>

— Пора-съ, пора за умъ приняться, —

Прибавилъ зять: — вы не чужой,

Не то что, да съ! Вы нашъ родной,

А съ пьянымъ не хочу я знаться! —

Старикъ молчалъ и вышелъ вонъ.

О чемъ, бѣдняга, думалъ онъ?

А вѣрно думою печальной

Быль оглушенъ; на рынокъ шелъ,

И, Богъ вѣсть, почему забрель

Въ какой-то переулокъ дальний:

Опомнившись, взглянулъ кругомъ  
И назвалъ зятя подлецомъ.

## XX.

Добычи рыночный остатокъ,  
Давно кулакъ рублей десятокъ  
Въ жилетѣ плисовомъ берегъ,  
Теперь вотъ зять ему помогъ,  
На все достало, слава Богу!  
Купиль онъ меду, калачей,  
Вина, говядины, свѣчай,  
Муки, конечно, понемногу,  
Поденщиковъ приговорилъ  
Могилу рыть, и гробъ купиль.  
Принесъ его въ свою избушку,  
Перекрестился, крышку снялъ,  
Солому въ немъ и холстъ постлалъ,  
Съ молитвой положилъ старушку,  
Съ молитвою свѣчу зажегъ  
И сѣль на лавку въ уголокъ,  
Скрестивши руки... Бѣлый иней  
Сверкалъ отъ солнца на стеклѣ;  
Дымился ладонъ на столѣ  
Въ курильницѣ,— то, струйкой синей  
Колеблясь, къ верху поднимался, —  
То въ кольца тихо завивался.  
„Вотъ, думалъ онъ, вотъ жизнь-то наша!  
И правда, говорятъ, чтобъ цвѣтъ:  
Ногою смялъ — его и нѣтъ.  
Умру и я, умретъ и Саша,  
И ни одна душа потомъ  
Меня не вспомнитъ... Боже, Боже!  
А, вѣдь, и я трудился тоже,  
Весь вѣкъ и худомъ, и добромъ  
Сбивалъ копѣйку... Зной и холодъ,

Укоры, брань, побои, голодъ,  
 Насмѣшки — все переносиль!  
 Изъ-за чего? Ну, чтѣ нажиль?  
 Тулупъ остался, да рубаха,  
 А краль безъ совѣсти и страха:  
 Охъ, горе, горе! Вѣдь, метла  
 Годится въ дѣло! Чтоб-же я-то?  
 Чтоб я-то сдѣлалъ, кромѣ зла?  
 Вотъ свѣчи, гробъ!.. Гдѣ это взято?  
 Крестьянинъ, мужичекъ-бѣднякъ,  
 На пашнѣ пѣтомъ обливался  
 И продалъ рожь... А я, Кулакъ,  
 Я, пьяница, не побоялся, —  
 Не постыдился никого,  
 Ограбилъ, осмѣялъ его,  
 Не додалъ денегъ и обмѣрилъ,  
 Да смертной клятвою увѣрилъ,  
 Что я не плутъ!.. Все терпитъ Богъ!  
 Вотъ, зять, какъ нищему, помогъ!..  
 Въ глазахъ мутилось, сердце ныло, —  
 Я въ поясъ кланялся, просилъ!  
 А, вѣдь, и я добро любилъ.  
 Оно, вѣдь, дорого мнѣ было!  
 Со мной, къ примѣру, было разъ,  
 Давно ужъ... раннею весною  
 Я утопающаго спасъ.  
 Когда онъ съ мокрой головою  
 Нагой на берегу лежалъ,  
 Открылъ глаза, пошевелился  
 И крѣпко руку мнѣ пожалъ,  
 Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ  
 И радостно перекрестился...  
 И все пропало, все забылъ!“  
 И голову онъ опустилъ...  
 Чтѣ думалъ, Богъ про это вѣдалъ.

Насталъ обѣдъ, онъ не обѣдалъ,  
И въ два часа, пока сидѣлъ,  
Двумя годами постарѣль.

Бѣднякъ! бѣднякъ! печальной доли  
Тебя урокъ не вразумилъ!  
Своихъ цѣпей ты не разбилъ,  
Послушный рабъ безсильной воли!  
Ты понималъ, что честный трудъ  
И путь тебѣ иной возможенъ,  
Что ты, добра живой сосудъ,  
Не совершенно уничтоженъ;  
Ты плакалъ, ты на помощь звалъ;  
Нужды подхваченный волнами,  
Въ послѣдній разъ взмахнулъ руками, —  
И въ грязномъ омутѣ пропалъ!

Въ семьѣ чужой нашла-ли Саша  
Любовь и счастье? Какъ сказать!..  
И чтѣ намъ счастьемъ здѣсь назвать?  
Вопросъ мудреныи, воля ваша!  
Есть люди (благодатный родъ)!  
Цѣль и граница ихъ желанья —  
Спокойный ходъ существованья  
Безъ слезъ, сомнѣній и заботъ.  
Какъ свѣтъ и воздухъ, имъ лишь нужны —  
Здоровье, сонъ, обѣдъ и ужинъ:  
И вѣрютъ они всему,  
И счастливы по-своему.  
Есть родъ иной: его отрада —  
Большая дворня, блескъ палатъ,  
Причуды моднаго наряда, —  
И это счастье — говорятъ!  
И есть созданья: нѣтъ покою  
Для ихъ души; имъ нуженъ шумъ,  
Ихъ сила крѣпнетъ подъ грозою, —  
И постоянно борьбою

Неутомимый занять умъ.  
 Движенья мысли, жажды знанья,  
 Науки торжество и плодъ,  
 Стремленье вѣчное впередъ, —  
 Вотъ все ихъ счастье и призванье!  
 На жизнь у всякаго свой взглядъ...  
 Кто правъ, Богъ вѣсть, когда рѣшать.  
 У Саши былъ свой міръ любимый:  
 Мечты завѣтныя, печаль,  
 Сережки, зонтикъ, или шаль,  
 Или салопъ необходиный  
 Съ пушистымъ мѣхомъ изъ лисицъ,  
 Да изъ купеческаго круга,  
 Для болтовни, въ часы досуга,  
 Пять или шесть знакомыхъ лицъ.  
 Надежды скромныя съ годами  
 Осуществятся, можетъ быть,  
 Не то легко ихъ замѣнить  
 Разнообразными трудами:  
 Она въ домашней тишинѣ  
 Привыкнетъ къ кухонной стряпнѣ,  
 Отъ скуки самоваръ согреТЬ,  
 Отъ скуки сладостно заснетъ,  
 И постепенно растолстѣеть,  
 И вѣкъ безъ горя проведетъ.  
 Мужъ, человѣкъ неприхотливый,  
 Ее и нѣжилъ, и любилъ:  
 Икрой и сельдями кормилъ  
 Тайкомъ отъ матери строптивой;  
 (Ея бояться сынъ не могъ,  
 А просто денежки берегъ).  
 Съ жены не взыскивалъ онъ много,  
 Одно наказывая строго:  
 По дому хлопотать съ утра,  
 Беречь посуду, ложки, чашки,

Доить корову, шить рубашки,  
Безъ спросу не ходить съ двора.

## XXI.

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли,  
Чредѣ обычной нѣтъ конца:  
Кричитъ младенецъ въ колыбели,  
Несутъ въ могилу мертвѣца.  
Живи, трудись, людское племя,  
Вопросы мудрые рѣшай,  
Сырую землю удобряй  
Свою плотью!... Время, время!  
Когда твоя устанеть мочь!  
Какъ страшный жерновъ, день и ночь,  
Вращаясь силою незримой,  
Работаешь неудержимо  
Ты въ Божьемъ мірѣ. Дѣла нѣть  
Тебѣ до нашихъ слезъ и бѣдъ,  
Ты ихъ не видишь и не знаешь,  
Даешь веселью краткій срокъ,  
И тихо, медленно стираешь  
Людскія кости въ порошокъ!

Прошло два года.

Народъ дождался торжества:  
Заутра праздникъ Рождества,  
Желудкамъ полная свобода...  
Отмстить за постъ голодный людъ!  
На рынкѣ безъ метлы метуть  
Добро съѣстное. Поросята,  
Индѣйки, мерзлые цыплята  
И туши жирныхъ свиней...  
Прохода нѣтъ между саней!  
Вотъ боровъ съ опаленной мордой  
Вверхъ брюхомъ на возу лежитъ;  
Вотъ гусь живой, онъ смотритъ гордо,

На покупателей шипитъ.  
 Вотъ крикнулъ селезень. Чиновникъ  
 Его суеть въ мѣшокъ пустой:  
 Поди-ка, моль, сюда, разбойникъ!..  
 Эхъ, любять на Руси святой  
 Поѣсть и выпить! Намъ не вредны  
 Излишки. Все на столъ мечи!  
 Быть можетъ, въ чемъ другомъ мы бѣдны,  
 Желудкомъ — просто силачи!

Въ тулуpѣ, нанкою покрытомъ,  
 Косматомъ и просторно сшитомъ,  
 Между возвозъ столяръ идетъ.  
 Онъ веселъ. Поросять несетъ.  
 Съ нимъ женщина. Она смѣется,  
 У ней шубейка на плечахъ  
 Нѣтъ-нѣтъ отъ вѣтра распахнется...  
 И что за доброта въ глазахъ!

А въ сторонѣ былъ громкій хохотъ  
 И безтолковый споръ и ропотъ;  
 Толпу внимательныхъ зѣвакъ  
 Тамъ тѣшилъ, не-хотя, Кулакъ.  
 Мужикъ съ курчавой бородою,  
 Съ широкимъ лбомъ, аршинъ въ плечахъ,  
 Въ тулуpѣ, шапкѣ и лаптяхъ,  
 Вѣбѣшенный, лѣвою рукою  
 Его за шиворотъ держалъ.  
 „Вотъ-эдакъ-вотъ! Вотъ-эдакъ съ вами!..“  
 Старикъ постукивалъ зубами.  
 Халатъ съ разорванной полой  
 Сзади на воздухѣ мотался,  
 И кровь на бородѣ сѣдой  
 Застыла каплями.

„Попался!“

Кричаль народъ: „тряхни его!  
 Тряхни, получше... ничего!“

— Не бей по шапкѣ! одурѣеть! —  
 „Не смѣеть бить,—на это судъ,  
 Расправа, значитъ, бить не смѣеть...“

— Валай! тамъ послѣ разберутъ! —  
 Но вдругъ столяръ рукою смѣлой  
 Толпу развинулъ: „стой, за чтоб?“

— А не обвѣшивай... за то! —  
 Мужикъ отвѣтилъ: — наше дѣло!  
 Я продаль шерсть, а онъ того...  
 Обвѣсиль, вонъ — що!... —

„Брось его!

Не то, ей-ей, въ тюрьму запрячемъ,  
 Сейчасъ солдата позовемъ!..

Чего ты, Карпъ Лукичъ? пойдемъ!..“

— Проваливай, мы не заплачемъ...  
 Вотъ, не замай, онъ покряхтитъ:  
 Въ бокахъ-то у него лежитъ! —

„Эхъ, съ этимъ не дошло до драки!“

Жалѣли, расходясь зѣваки.

„А въ нанковомъ куда — горячъ!  
 И статенъ, то-то, чай, силачъ!“

„Сосѣдъ, ну, какъ тебѣ не стыдно!“

Столяръ дорогой говорилъ:

„Весь помертвѣлъ, лица не видно...  
 Чтѣ завтра? Вспомни!“

— Согрѣшилъ...

Обвѣсиль... не во что одѣться...  
 Озябъ... и нечѣмъ разговѣться. —

„А зять?“

— Мошенникъ!.. Охъ, продрогъ! —

„Ну, Саша?“

— Саша помогаетъ...

Попреки... водкой попрекаетъ...  
 Ой, больно! заломило бокъ! —

„Бѣдняга! Выгнали изъ дома...“

Да ты идешь едва-едва:  
Квартира гдѣ?“

— У Покрова.

Привыкъ, къ примѣру... Грязь, солома...  
Полтинникъ въ мѣсяцъ... Охъ, продрогъ!  
Зимой безъ шубы, безъ перчатокъ! —  
„Слыши, Карпъ Лукичъ! вотъ есть остатокъ,  
Возьми на праздникъ... Видитъ Богъ,  
Даю изъ дружества. Вѣдь, хуже  
Обманывать... дрожать на стужѣ...  
Возьми, пожалуйста, сосѣдъ,  
Ну, хоть въ заемъ, какъ знаешь...“

— Нѣтъ!..

Я виноватъ передъ тобою...  
Ты дочь мою... —

„Пустякъ, пустякъ!

Угодно было Богу такъ...  
Возьми! Ты, слыши, не спорь со мною,  
Въ карманъ насильно положу,  
Вотъ-на!.. И руки подержу...“

— Покинь! мнѣ стыдно! —

„Знаю, знаю!  
А ты не вынимай назадъ...“

Я чтоб родному помогаю,  
Не то что, значитъ... Чѣмъ богатъ!..

Утри-ка лучше кровь полою.

Не ловко? Вотъ сюда пойдемъ.

Да, кстати? Ты, вѣдь, незнакомъ  
Съ мою Танею, съ женою?

Люби и жалуй — вотъ она“.

— А ты женатъ уже? —

„Недавно;

Живемъ ништо... покуда ладно.

Взялъ сироту. Однимъ дурна:

Я ей обновку покупаю,

Она свое: купи лотокъ,  
 Чугунъ, жаровню, да горшокъ...“  
 — Права: затѣмъ не уступаю! —  
 Со смѣхомъ молвила жена:  
 — Обновка тоже не нужна. —  
 „Ну; вотъ изволь тутъ... Не досада?  
 И съ матушкою такова:  
 Найдетъ разумныя слова,  
 Безъ шума сдѣлаетъ, чтѣ надо...  
 Сосѣдъ, да полно горевать!“  
 — Я такъ, къ примѣру, грустно стало...  
 Ты къ намъ, чтобъ сынъ родной, бывало,  
 Прійдешь, сидишь... Теперь мой зять...  
 Прости!..—

„Я даромъ не прощаю!

Ты посѣтишь нашъ уголокъ,  
 Поговоримъ, напьемся чаю,  
 Разрѣжемъ эдакой пирогъ!..“  
 И весело, въ толпу густую,  
 Столляръ отправился съ женой;  
 Вотъ сняль онъ шапку мѣховую  
 И... Нѣтъ, не видно за толпой!  
 Кулакъ съ разорванной полою  
 Побрелъ одинъ. Взглянуль кругомъ, —  
 Знакомыхъ нѣтъ... Махнулъ рукою  
 И завернуль въ питейный домъ.

Прошай, Кулакъ! Не разъ съ тобою,  
 Когда мой домъ обятьть былъ сномъ,  
 Я при свѣчѣ, ночной порою,  
 Сидѣлъ въ раздумья за столомъ.  
 Несчастный братъ! мнѣ было больно  
 За твой позоръ, за твой порокъ,  
 И не одну слезу невольно

На эти строки ты извлекъ.  
 Я понималъ твои страданья,  
 И язвы смѣло осязалъ,  
 Въ моихъ глазахъ ты угасаль  
 Одинъ, въ грязи, безъ врачеванья.  
 А горько! Вѣрно и теперь,  
 Едва перешагну за дверь,  
 Инаго Кулака я встрѣчу  
 И, можетъ быть, на немъ опять  
 Порока страшную печать  
 И язвы новыя замѣчу...  
 Бѣднякъ! Взглянувши на тебя,  
 Не каждый сердцемъ содрогнется;  
 Пройдетъ, быть можетъ, посмѣется,  
 Потѣху пошлую любя.  
 Кому нужна твоя утрата!  
 Васть много! Тысячи кругомъ,  
 Какъ ты, погибли подъ ярмомъ  
 Нужды, невѣжества, разврата!  
 Прийдетъ-ли, наконецъ, пора,  
 Когда блеснутъ лучи разсвѣта,  
 Когда зародыши добра  
 На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,  
 Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ  
 И принесутъ сторицей плодъ?  
 Когда минетъ проказа вѣка,  
 И воцарится честный трудъ,  
 Когда увидимъ человѣка —  
 Добра божественный сосудъ!

1854 октябрь.

1856 сентябрь.



II.

## ВОСПОМИНАНИЕ О НИКИТИНѢ.



## Воспоминаніе объ И. С. Никитинѣ. \*)



(А. А. ШКЛЯРЕВСКАГО).

нѣ было тогда семнадцать лѣтъ и я пріѣхалъ въ Воронежъ держать экзаменъ на званіе учителя. Имя Ивана Саввича Никитина гремѣло, стихотворенія его читались молодежью съ жаромъ, переписывались и твердились наизусть. Я быль однимъ изъ величайшихъ поклонниковъ Никитина и, пріѣхавъ въ Воронежъ, старался во что бы то ни стало видѣть Ивана Саввича, но это мнѣ не удавалось, къ тому же говорили, что онъ боленъ. Между тѣмъ, экзаменъ быль выдержанъ и мнѣ нужно было уѣзжать изъ Воронежа въ г. Валуйки, гдѣ отецъ мой служилъ учителемъ русскаго языка. Наканунѣ отѣзда я шель по главной улицѣ въ Воронежѣ, „Большой Дворянской“, вмѣстѣ съ однимъ семинаристомъ, валуйчаниномъ, у котораго я квартироваль. Вдругъ вниманіе мое было привлечено какимъ-то господиномъ, разсматривавшимъ вывѣску оптическаго магазина, съ нарисованными на ней инструментами, въ черной шинели съ нахлобученнымъ

\*) Этотъ краткій, но живой разсказъ о единственномъ свиданіи автора съ Никитинымъ, происходившемъ въ 1854 году, заимствуемъ изъ брошюры, изданной въ 1882 году, въ Петербургѣ, подъ названіемъ „Русская Библіотека Уголовной Хроники“ (выпускъ I-й). Авторъ разсказа (уже умершій), не разъ упоминая о пишущемъ эти строки и весьма благосклонно относясь къ нему, заподозриваетъ нась однакоже въ искаженіи стихотвореній Никитина, изданныхъ послѣ смерти поэта. Такое подозрѣніе было бы очень тяжелымъ, если бы оно не было комичнымъ. Оказывается, что авторъ воспоминанія не видаль ни одного изъ посмертныхъ изданій стихотвореній Никитина и считалъ такимъ изданіе Кокоревское (1859)! Не найдя въ послѣднемъ стихотворенія „Болѣсть“, выброшенного

воротникомъ и въ картузѣ. Онъ показался мнѣ незаурядною личностью, и я хотѣлъ было спросить своего спутника, не знаетъ ли онъ, кто это?

Но семинаристъ самъ остановилъ меня и спросилъ:

— Ты знаешь, кто это?

— Нѣтъ.

— Иванъ Саввичъ Никитинъ, котораго ты хотѣлъ видѣть.

— Быть не можетъ!

— Ей-Богу, правда.

Я бросиль своего спутника и ринулся къ поэту. (То-то молодость! говорю же, мнѣ было 17 лѣтъ, а Никитину лѣтъ 28).

— Вы Иванъ Саввичъ Никитинъ? спросилъ я у него.

— Я, отвѣчаль онъ, взглянувъ на меня не совсѣмъ ласково, и сталъ продолжать свой путь далѣе по направленію къ Щепной площади. Но я былъ не изъ тѣхъ, отъ которыхъ легко можно было было отѣлаться.

— Это вы написали:

\*  
По утру вчера дождь  
Въ стекла оконъ стучалъ;  
Надъ землею туманъ  
Облаками вставалъ... \*)

И т. д., и т. д., я прочелъ все стихотвореніе до конца. Тогда я декламировалъ недурно.

— Да, сказалъ Никитинъ.

— А это?.. И я пошелъ отваливать его стихотворенія одно за другимъ.

— Вы кто такой! спросилъ, наконецъ, у меня Никитинъ:— семинаристъ?..

изъ этого изданія самимъ Никитинымъ, авторъ разсказа вообразилъ себѣ, что эту операцию непремѣнно сдѣлали мы! По этой причинѣ, а также изъ болѣзни (*sic*) увидѣть въ искаженномъ видѣ любимаго имъ поэта авторъ разсказа даже не заглянулъ въ Михайловское изданіе, гдѣ стихотвореніе „Болѣсть“ красуется на 343—347 страницахъ 1-го тома!!..

Прилагаемый разсказъ хотя и подписанъ буквами А. Л., но намъ достовѣрно и извѣстно, что онъ принадлежитъ перу автора беллетристического разсказа („Воинская повинность, или у гроба самоубийцы“), помѣщенного въ томъ же выпускѣ названной брошюры,— А. А. Шкляревскому.

Ред.

\*) См. стихотвореніе „Встрѣча зимы“ (1-й т., стр. 148).

— Нѣтъ, отвѣчалъ я ему:—я воспитывался въ Харьковской гимназіи, но я, такъ же, какъ и вы, мѣщанинъ. Хотя мой отецъ теперь учитель и имѣть чины, но я родился въ то время, когда мой отецъ не поступалъ еще на службу, а онъ изъ мѣщанъ. Я даже занимался одной съ вами профессіей, былъ отъ 6 до 9 лѣтъ дворникомъ у своей бабушки, содер-жавшей постоянный дворъ въ городѣ Лубнахъ, Полтавской губерніи, и зазывалъ проѣзжихъ богомольцевъ въ Кіевъ и на поклоненіе святителю Аѳанасию Лубенскому. Да какъ лихо!.. Другіе дворники не могли противъ меня ничего подѣлать... Всѣхъ проѣзжихъ отобью... Мѣщанская косточка, *à la Кольцовъ*, шибай!..

Угрюмый, и какъ видно, не со всѣми сообщительный, Никитинъ улынулся и проронилъ:

— Что же вы тутъ дѣлаете, въ Воронежѣ?..

Я разговаривая обѣ экзаменахъ, мы дошли до Московской улицы и до лучшаго въ то время въ г. Воронежѣ трактира купца Колыбихина, подъ названіемъ: „Московскій трактиръ“.

— Зайдемъ, выпьемъ чаю, предложилъ Никитинъ.  
— Съ вами, съ удовольствиемъ.

Въ трактире Иванъ Саввичъ избралъ вторую, менѣе роскошно меблированную, комнату, въ которой не было ни души посѣтителей, и приказалъ половому, почтительно поклонившемуся ему, подать двѣ пары чая.—Разговоръ продолжался все обѣ учительствѣ.

— Не легкую обязанность вы на себя приняли, замѣтилъ Никитинъ.

— Да, отвѣчалъ я необдуманно:—трудись-трудись, а впереди никакой карьеры... Всякій писецъ надѣется быть столоначальникомъ, секретаремъ, совѣтникомъ, а учитель...

---

\*) Догадка автора не имѣть никакого достаточнаго основанія; любознательность Никитина объясняется простымъ вниманіемъ къ своему собесѣднику. О педагогической дѣятельности Никитинъ никогда и не думалъ, тѣмъ болѣе—въ пору своей извѣстности, да она была совсѣмъ и не по его характеру, не по его натурѣ.

*Ред.*

— Я не о карьерѣ говорю, прервалъ меня Никитинъ, потирая лобъ:—а о томъ: доступно ли на этой должности сдѣлать столько хорошаго, сколько желаешь?..

Я стушевался и ничего не могъ отвѣтить на этотъ вопросъ.

Мы выпили по второму стакану чая. Случайно, или по привычкѣ (я не знаю), Никитинъ, выпилъ чай, повернуль и поставилъ на блюдечко стаканъ вверхъ дномъ. Знакомый съ мѣшанскими этикетами, я понялъ, что Никитинъ болѣе чаю не хочетъ и собирается уходить.

Иванъ Саввичъ! обратился я къ нему: — дайте мнѣ, ради Бога, хоть строчку своей рукописи о себѣ на память... Я васъ не выпущу безъ этого. (Сборника стихотвореній И. С. Никитина тогда не было).

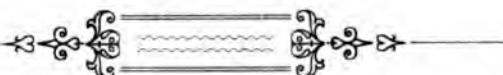
Я былъ изъ такихъ взбаломученныхъ, что готовъ былъ броситься передъ Никитинымъ на колѣна, цѣловать ему руки, или, выражаясь прямѣе, подъ видомъ овации, само-собою разумѣется, безъ злаго умысла, сдѣлать скандалъ и скомпрометировать его.

— Чѣдѣ же я вамъ дамъ?... Ахъ! у меня есть стихи черновые... хотите?..

— И вы спрашиваете!.. съ укоризной произнесъ я.

Иванъ Саввичъ порылся въ боковомъ карманѣ сюртука и между разными бумагами нашелъ листъ бумаги, исписанный стихами. Это была „Больсть“.

Я чуть не вырвалъ ее у него изъ рукъ. Моимъ благодарностямъ конца-краю не было... Съ ними я вышелъ съ Никитинымъ изъ трактира и, къ душевному прискорбію своему, болѣе мнѣ не пришлось видѣть Ивана Саввича, потому что, когда я былъ переведенъ въ 1893 году въ Воронежъ учителемъ, его уже не существовало и мнѣ пришла грустная доля быть зрителемъ при открытии ему памятника... \*).



\*) На могилѣ.